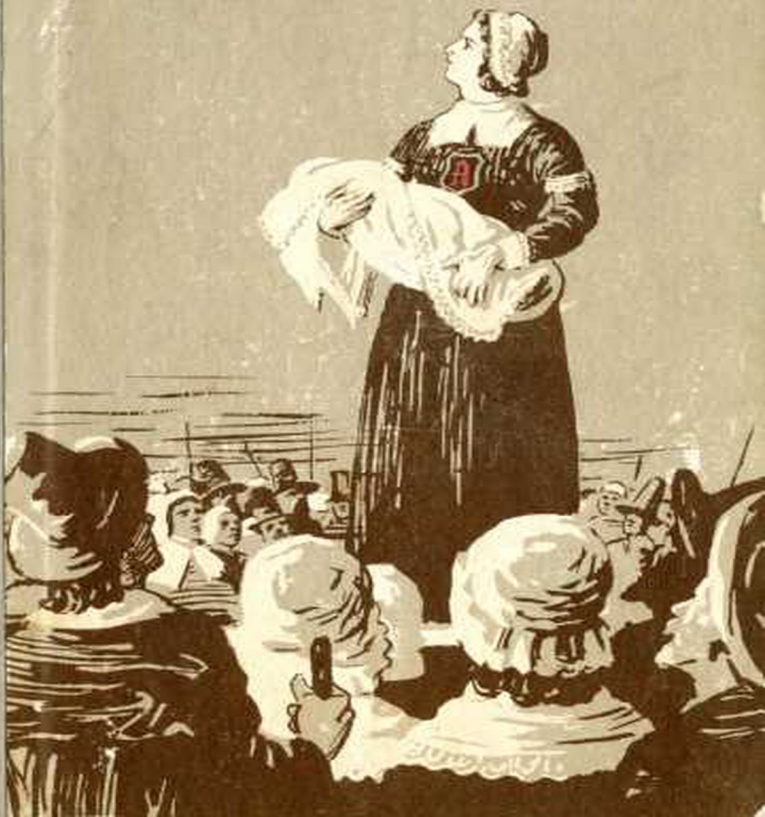
Н. ГОТОРН

АЛАЯ БУКВА



Алая буква

Натаниель Готорн

Аннотация
Натаниель Готорн. АЛАЯ БУКВА
Натаниель Готорн и его роман «Алая буква»
Алая буква
ТАМОЖНЯ
Глава I. ДВЕРИ ТЮРЬМЫ
Глава II. РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
Глава III. ВСТРЕЧА
Глава IV. СВИДАНИЕ
Глава V. ГЕСТЕР ЗА РУКОДЕЛИЕМ
Глава VI. ПЕРЛ
Глава VII. У ГУБЕРНАТОРА
Глава VIII. ЭЛЬФ И ПАСТОР
Глава IX. ВРАЧ
Глава X. ВРАЧ И БОЛЬНОЙ
Глава XI. ТАЙНИКИ СЕРДЦА
Глава XII. ПАСТОР НЕ СПИТ
Глава XIII. ЕЩЕ РАЗ ГЕСТЕР
Глава XIV. ГЕСТЕР И ВРАЧ
Глава XV. ГЕСТЕР И ПЕРЛ
Глава XVI. ПРОГУЛКА В ЛЕСУ
Глава XVII. ПАСТОР И ПРИХОЖАНКА

Глава XVIII. ПОТОК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
Глава XIX. РЕБЕНОК У РУЧЬЯ
Глава XX. ПАСТОР В СМЯТЕНИИ
Глава XXI. ПРАЗДНИК В НОВОЙ АНГЛИИ
Глава XXII. ШЕСТВИЕ
Глава XXIII. ТАЙНА АЛОЙ БУКВЫ
Глава XXIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аннотация

Взаимосвязь прошлого и настоящего, взаимопроникновение реальности и фантастики, романтический пафос и подробное бытописательство, сатирический гротеск образуют идейно-художественное своеобразие романа Натаниеля Готорна «Алая буква».

Натаниель Готорн

АЛАЯ БУКВА

НАТАНИЕЛЬ ГОТОРН

АЛАЯ БУКВА



16217

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1
им. В. И. Ленина
г. Харькова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Натаниель Готорн и его роман «Алая буква»



Автор романа «Алая буква» Натаниель Готорн родился в 1804 году в маленьком американском

городке Салеме, в штате Массачусетс. В далеком прошлом город этот был твердыней пуританской нетерпимости. Именно здесь в 1691–1692 годах происходил знаменитый «ведовской процесс», повлекший за собой казнь девятнадцати женщин по обвинению в колдовстве и в сношениях с дьяволом. Раньше предки Готорна играли видную роль в теократической общине пуританского Салема, но затем постепенно семья его утратила свое былое положение. Отец Готорна, скромный морской капитан, плавал на чужих судах и умер в Суринаме, когда Натаниелю было всего четыре года. Мать Готорна после смерти мужа вела замкнутый образ жизни — никогда не обедала вместе с семьей и все время проводила взаперти в своей комнате.

Детство будущего писателя, проведенное в духовном обособлении от сверстников, определило ту черту характера Готорна, которую он сам называл «адской привычкой к одиночеству». Уже в детстве он предпочитал любому обществу уединенные лесные игры, охоту на белок и книги с фантастическим уклоном. Годы, проведенные им в Боудойнском колледже, несколько смягчили его замкнутость и создали ему некоторые знакомства в литературной и деловой среде. Тем не

менее и после колледжа он не отличается особой общительностью. Он снова поселяется в Салеме и сотрудничает в некоторых литературных журналах. Готорн пишет новеллы и небольшие очерки (скетчи), которые еще не привлекают внимания публики. Ему трудно живется в материальном отношении, пока, наконец, друзья не помогают ему устроиться на государственную службу, таможенным чиновником в Бостоне. В этот же период приятель Готорна, Гораций Бридж, собирает ранее печатавшиеся в журналах новеллы Готорна и тайком от своего друга выпускает их в виде сборника «Дважды рассказанные истории» (1837). Бридж принял на себя все издержки по изданию новелл и предоставил Готорну весь доход от продажи книги.

В этом издании новеллы Готорна обрели как бы второе рождение, чем и объясняется название сборника. Собранные воедино новеллы показали публике своеобразную литературную манеру Готорна и его огромный талант. Восторженная рецензия Лонгфелло еще более усилила интерес к новому автору. С этого момента Готорн становится известным писателем. Он входит в литературные круги, знакомится с крупнейшим литератором того времени Ральфом Уолдо

Эмерсоном и группировавшимися вокруг него членами «Трансцендентального клуба». Сближению Готорна с Эмерсоном помогла его дружба с семейством Пибоди из Салема. Сестры Пибоди — Элизабет, Мэри и София — вошли в историю американской литературы. Их дом был своеобразным литературным салоном, где встречались такие знаменитости того времени, как Эмерсон, Торо, Маргарет Фуллер, Олькот и многие другие. Старшая из сестер, Элизабет Пибоди, держала книжный магазин и типографию, где печатались книги ее литературных друзей и выходил центральный орган «Трансцендентального клуба» журнал «Дайэл». Готорн очень уважал Элизабет, разносторонне образованную женщину, автора ряда литературных статей и блестящую собеседницу, а младшая из сестер, София, в 1842 году стала его женой.

Готорн тесно сблизился с писателями, бывавшими в доме Пибоди. Их споры и борьба мнений не могли не привлечь его пытливый ум. Хотя он и не причислял себя к школе Эмерсона, идеи трансценденталистов оказали на него большое влияние и отразились на всем его творчестве.

Трансцендентализм был специфически американским явлением. Он возникал из потребностей

дальнейшего развития незавершенной буржуазной революции и, несмотря на всю свою идейную незрелость и порой наивность, отражал благородную неудовлетворенность теми общественными отношениями, которые сложились в Соединенных Штатах Америки.

Америка в эти годы была «страной неограниченных возможностей». Девственные земли нового материка, изобилующие железом, углем, нефтью, были отвоеваны у коренных хозяев страны — индейских племен — и попали в цепкие руки янки. Английское господство было успешно сломлено, и главная помеха экономическому развитию страны исчезла. Здесь не было ни феодальной аристократии, ни полицейско-бюрократического аппарата, ни власти католического духовенства — словом, тех главных реакционных сил, которые стесняли буржуазный прогресс в странах Старого Света. Поэтому десятки миллионов иммигрантов — мужественных и работящих людей, искавших в Америке то счастье, которого они не нашли у себя на родине, переплывали океан и вливались в ряды американцев. Их неиссякаемая энергия становилась одним из главных факторов прогресса. «Со своими неисчерпаемыми природными богатствами, огромными

залежами угля и железной руды, с беспримерным изобилием водяной силы и судоходных рек, но в особенности со своим энергичным и деятельным населением… Америка менее чем в десять лет создала промышленность, конкурирующую уже теперь с Англией своими более грубыми хлопчатобумажными изделиями…»[1] Таким образом, Америка обладала благоприятными материальными условиями для того, чтобы жизнь ее народа стала зажиточной. Но все необъятные богатства страны в лесах, на полях и в недрах и даже живые люди, населявшие страну, стали объектом неслыханного грабежа, захватов и самой безудержной эксплуатации.

> «Это была оргия „свободного предпринимательства“, и над всем господствовал закон джунглей. Капиталисты грызлись между собой, как изголодавшиеся тигры над богатой добычей; их добычей были промышленность, природные ресурсы и народ Соединенных Штатов. Без зазрения совести они крали друг у друга железные дороги и посылали вооруженные банды

[1] Примечания: 1
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. III, стр. 570.

для уничтожения нефтеперегонных заводов конкурента; они наводнили рынок обесцененными акциями, оптом покупали и продавали законодателей».[2]

Весь этот хищный мир воспевался в официальной прессе как лучший из всех возможных миров, и далеко за пределы страны проникла легенда о заокеанском «земном рае», где ловкому человеку ничего не стоит за несколько лет из чистильщика сапог стать миллионером.

Но были в Америке люди, которые, не умея разобраться в сущности капиталистического варварства, все же подняли в эту эпоху свой протестующий голос. В тихих провинциальных городах Бостоне и Конкорде горстка литераторов-трансценденталистов, среди которых было несколько бывших священников и школьных учителей, подвергала сомнению буржуазные порядки. В то время как повсюду, в Европе и в Америке, апологеты буржуазного прогресса пели хвалу молодой процветающей республике, называли ее страной неограниченных возможностей и толковали об американском земном рае, Эмер-

[2] Примечания: 2

Фостер Уильям З. Очерк политической истории Америки. М. Изд. Иностранной литературы, 1953, стр. 15.

сон и его друзья утверждали, что американское общество жестоко и несправедливо, что оно испорчено узким практицизмом, беспринципной погоней за прибылью. Они считали, что человека нельзя превращать в «машину, добывающую деньги», в «придаток к имуществу», что уродливое разделение труда не должно отнимать у людей все пленительное разнообразие жизни, что извращенная ложная этика не должна коверкать человеческую душу. По их мнению, над человеком властвует одичавшее аморальное общество с его ложными традиционными нормами поведения и историческими предрассудками. Надо освободить человека от этих предрассудков. Собственная природа человека прекрасна. Пусть он «доверится самому себе» и ищет в самом себе высший моральный закон. Это был индивидуалистический бунт против общества, построенного на индивидуалистической основе. Поэтому, несмотря на весь антибуржуазный пафос критики Эмерсона, его положительная программа была насквозь буржуазной. Когда впоследствии, в результате гражданской войны Севера с Югом, задачи буржуазной революции были осуществлены, идеи Эмерсона утратили все свое боевое острие, и сам он превратился в заурядного бур-

жуазного либерала. Его концепция «доверия к себе» была взята на вооружение декадентами для оправдания их собственной безнравственности и аморализма. Но это было уже много позже, а в сороковые годы, когда еще в порядке дня стояло развитие буржуазной демократии, философия Эмерсона была явлением прогрессивным. Его критика общественного аморализма бросала вызов самодовольству буржуазных дельцов и бессердечных плантаторов, отстаивала «интеллектуальную свободу» человека и привлекала внимание к вопросам морали. В устах Эмерсона и некоторых его учеников лозунг «доверия к себе» (self-reliance) означал поиски путей к «хорошей, правильной жизни» в одиночку, не надеясь на общество, которое погрязло в хищнической борьбе за прибыль. Под влиянием этой доктрины прекраснодушный и наивный Генри Торо уходит в лесное затворничество Уолдена, пытаясь в одиночестве укрыться от разлагающего влияния «неправедных» норм буржуазной общественной жизни. Другой ученик Эмерсона, Амос Олькот (отец известной детской писательницы Луизы Олькот), в одиночку пытается осуществить реформу школьного образования. Однако были и такие трансценденталисты, которые мечтали

о коллективных усилиях многих людей по переделке общества Маргарет Фуллср принимает участие в итальянской революции 1849 года. Орест Браунсон приходит к мысли о необходимости и неизбежности социальной революции в США.

Многие из трансценденталистов были близки к идеям утопического социализма Фурье. Они проповедовали «социальный прогресс» и предприняли попытку практически осуществить идею фаланстера.

Трансценденталист Джордж Рипли с товарищами по клубу организовал фурьеристскую сельскохозяйственную общину Брук Фарм, которая должна была стать одной из ячеек будущего общества, построенного на новых, неэгоистических началах. Готорн также принял участие в деятельности Брук Фарм, поместил в ее акции весь свой небольшой капитал и некоторое время активно работал на ферме. Позже в «Романе о Блайтдейле» он опишет этот период своей жизни и расскажет о том, как жили члены фурьеристской колонии.

Строго говоря, Готорн не был трансценденталистом. Он был солидарен с ними в их моралистических инвективах против современного

общества, он в своих произведениях ставил те же «проклятые вопросы», что и они, но отвечал он на эти вопросы по-другому. Если трансценденталисты верили в то, что их рецепты могут исправить человечество, то Готорн был более скептичен. Он не верил ни в целительный характер «моральной автономии», ни в фурьеристские опыты своих друзей. Он не мог не принять участия в Брук Фарм, — уж очень благородной казалась цель, которую ставили перед собой его друзья, — но он не видел, каким образом даже процветающая ферма — а Брук Фарм далеко не процветала в финансовом отношении, — может изменить общественный строй Америки. Когда же он почувствовал, что тяжелый физический труд земледельца отвлекает его от литературного творчества, он махнул рукой на все это утопическое предприятие, несмотря на вложенные в него деньги. В 1841 году он выходит из общины и, поселившись в небольшом городке Конкорде, в старой заброшенной усадьбе, возвращается к привычному для него затворничеству. Вдвоем с женой, изредка принимая у себя Эмерсона, Торо или своего друга Чаннинга, он проводит свои дни, предаваясь размышлениям и творчеству. В этот период им создан сборник новелл «Легенды

Старой Усадьбы» (1846) и превосходная книга детских рассказов «Дедушкино кресло» (1841–1842).

Однако жизнь литератора-отшельника не могла доставить ему необходимые средства для содержания семьи. Нужда заставляет Готорна покинуть Конкорд и снова занять должность в таможне, на этот раз в Салеме. В предисловии к роману «Алая буква» он подробно останавливается на своей жизни в этот период. Прозаическая деятельность чиновника, доставившая ему обеспеченное положение, глушила его дарование писателя. Готорн почти с облегчением встречает свою вынужденную отставку, когда в 1849 году победившая на выборах враждебная ему политическая партия вигов поставила на его место «своего человека».

Уйдя из таможни, Готорн поселяется в Леноксе. Он находится теперь в расцвете своих творческих сил. За короткое время он создает свои самые значительные произведения. «Алая буква» (1850), «Дом о семи фронтонах» (1851) и «Роман о Блайтдейле» (1852), а также два сборника «Книги чудес», излагающие мифы античной Греции для детского читателя, написаны именно в этот период.

В романе «Дом о семи фронтонах» рассказы-

вается история вековой вражды двух семейств — разбогатевшего обманом и преступлениями рода Пинченов и бедной семьи Моулов, у которых Пинчены отняли землю для постройки дома о семи фронтонах. Вражда, переходящая от отцов к детям, оканчивается только в младшем поколении, свободном от алчности предков, когда молоденькая Феба Пинчен выходит замуж за последнего из Моулов, фотографа Холгрейва.

В другом произведении, «Роман о Блайтдейле», автор знакомит нас с деятельностью фурьеристской общины, в которой живут и действуют передовые люди Америки. Здесь же развивается романтическая история соперничества двух сестер, влюбленных в одного мужчину. Одна из этих сестер — красавица Зенобия, блестяще одаренная журналистка, напоминает трансценденталистскую писательницу Маргарет Фуллер, которая была редактором «Дайэл» и одним из столпов американской литературной критики. Ей противостоит кроткая женственная Присцилла, так же как и Зенобия влюбленная в Голлингуорса, сурового мечтателя, целиком увлеченного своей идеей исправления человечества путем перевоспитания преступников. Мучимая ревностью Зенобия, чтобы избавиться от сестры-соперницы,

предательски отдает ее в руки преследующего ее шарлатана-фокусника Уэстерфельта. Этот человек пытается подчинить себе волю молодой девушки и сделать из нее медиума в прибыльном аттракционе «Дама под вуалью». Однако Голлингуорс спасает Присциллу и женится на ней. Зенобия, утратив любимого человека, кончает с собой, бросившись в пруд. Голлингуорс и его друг Ковердейл, от лица которого ведется изложение, покидают колонию.

В этом романе большой интерес представляют страницы, рисующие жизнь фурьеристской общины Блайтдейл, а также многочисленные философские споры, помогающие нам воспроизвести идейную жизнь участников общины.

Кроме этих произведений, Готорн написал в 1852 году «предвыборную» биографию будущего президента США Франклина Пирса, который учился вместе с Готорном в Боудойнском колледже. Когда Пирс стал президентом, он не забыл своего старого приятеля. Готорн был вскоре назначен американским консулом в Ливерпуль. Это была доходная должность, не требовавшая особых хлопот. Поездка в Англию и последующее путешествие во Францию и в Италию послужили Готорну для создания романа «Мраморный фавн»

(1860); и книги очерков об Англии «Наша старая родина» (1863).

В романе «Мраморный фавн» большое место занимают описания итальянской скульптуры и живописи, архитектуры древнего Рима и других достопримечательностей Италии. Сюжет романа строится на частом у Готорна мотиве влияния совершенного преступления на последующую жизнь преступника. Юноша Донателло, похожий на ожившего фавна Праксителя, красивый, но по-животному примитивный, из любви к «роковой» женщине Мириам убивает преследующего ее незнакомца. Связанные с этим преступлением переживания — укоры совести, страх и раскаяние — дают толчок к его духовному развитию. Из полуживотного он становится духовно зрелым мужчиной.

Как и в «Романе о Блайтдейле», загадочной волевой Мириам противостоит ангелоподобная Гильда, хотя здесь они не соперничают в любви, а высказывают различные взгляды на жизнь. Безгрешная Гильда своим душевным спокойствием должна оттенить тревожное, мятущееся сознание Мириам, искаженное страданием и раскаянием. Готорна вообще больше интересовали сложные и загадочные натуры грешников, чем

уравновешенные души праведников. Он любил изучать внутренний мир потревоженной души человека и пытался в его переживаниях найти решение мучивших его моральных проблем.

По возвращении из Европы Готорн поселился в Конкорде, подчеркнуто отгораживаясь от окружающих. Он ничего не писал в эти годы и не участвовал в общественной деятельности. В 1864 году Готорн умер в Плимуте.

Имя Готорна в американской литературе окружено всеобщим уважением. Эдгар По считал его образцовым мастером новеллы и свою знаменитую теорию новеллы подкреплял материалами творчества Готорна. Лонгфелло, товарищ Готорна по Боудойнскому колледжу, называл его гением еще в пору выхода его первой книги. С большим интересом относились к его творчеству Эмерсон, Торо и другие трансценденталисты. С течением лет репутация Готорна еще более упрочилась. О нем был написан ряд монографических работ видными американскими литературоведами позднейшего времени. Все они считают Готорна выдающимся мастером американской прозы XIX века.

Еще при жизни писателя его успех перешагнул границы его родины. Готорна знали и высоко

ценили европейские читатели. В далекой России Чернышевский считал его «писателем великого таланта». Самый передовой русский журнал того времени — некрасовский «Современник» — опубликовал переводы главных романов Готорна и поместил на своих страницах благожелательную критическую статью о его творчестве.[3] В этой статье автор сравнивал Готорна с Бальзаком, говорил о содержательности романов американского писателя и о ценности его жизненных наблюдений. «Современник» проявлял тогда большой интерес к прогрессивной зарубежной литературе, и автор критической статьи почувствовал в книгах Готорна тот пафос морального обличения буржуазного общества, который составляет философскую основу всей деятельности Готорна.

Творчество Готорна, несомненно, отразило такие существенные стороны американской жизни, что даже в наши дни реакционная критика не может простить ему его разоблачений. Так, в журнале «Энкаунтер» современный критик Фидлер горестно восклицает: «Обо всех наших

[3] Примечания: 3

«Современник», 1860, т. 83, стр. 217–232. Статья за подписью «—*—», как это теперь установлено, принадлежала перу революционно-демократического поэта и переводчика М. Л. Михайлова.

недостатках [европейцы] узнали от нас самих… от таких американских романистов прошлого и нынешнего века… как Мелвил, Готорн, Драйзер, Шервуд Андерсон, Уильям Фолкнер».

Готорн не понимал социальной структуры общества, в котором он жил и о котором писал. Он, правда, различал в истории большие переломные эпохи, крупные политические перемены — в частности его интересовала жизнь ранних пуританских поселений в Северной Америке и период войны Соединенных Штатов за независимость, — но главный интерес был устремлен на отношения между людьми, а не между социальными группами людей. Этика, мораль, «вечные», «вневременные» проблемы волновали Готорна больше, чем конкретные исторические события его времени.

Его интересовали общие законы, по которым живет человек, сущность человеческого опыта. Отсюда — абстрактный метод изображения, склонность к аллегории, притче — философско-дидактический характер его новелл и романов. Готорн не просто описывает события. Он пытается раскрыть их моральный смысл, и ради этого морального вывода, казалось бы, только и описывается само событие. Как должен жить

человек в обществе? Как должно общество влиять на своих сочленов? — вот главные проблемы, волновавшие Готорна. Но ответ на эти вопросы он мог дать только в самом общем, предельно абстрактном плане, лишь инстинктивно чувствуя губительное влияние на человека индивидуалистического буржуазного строя.

Готорн видел, как мало почвы имел под собой казенный оптимизм американской прессы, упивавшейся успехами молодой буржуазной республики. Он чувствовал, насколько не соответствует установившийся общественный строй тем идеалам равенства, свободы и стремления к счастью, которые были названы в Декларации независимости неотъемлемыми правами человека. Для Готорна было ясно, что равенства и свободы в Америке нет, что стремление к счастью вылилось в эгоистическую страсть к накоплению, в беспринципную погоню за богатством, которая не останавливается перед нарушением счастья всех других людей и попирает законы совести и права.

В новелле «Молодой Браун» Готорн заставляет своего героя взглянуть «вещим взглядом» на тайные помыслы и тайные дела своих салемских сограждан. И вдруг выясняется, что под внеш-

ним слоем благопристойности и набожности скрывается всеобщая греховность, что все члены общины преданы дьяволу и что нет ни святости, ни добродетели, а есть лицемерие и всеобщая испорченность.

Готорн постоянно настаивает на том, что эта испорченность общества носит закономерный характер. В погоне за богатством, почестями, наслаждениями люди вступают между собой в ожесточенную борьбу. Они ненавидят и боятся друг друга. Они не стесняются в средствах, ибо в борьбе все средства хороши. Законы морали и совести отходят на задний план, и человек превращается в преступника и злодея. Процесс деморализации человека, превращения его из нравственного существа в существо безнравственное, из порядочного человека в преступника кажется Готорну неизбежным при том образе жизни, который избрало современное человечество.

Понятие «преступления» Готорн трактует очень широко. Кроме людей, за свои злодеяния несущих ответственность по суду, есть множество притворщиков, которые умеют искусно скрывать свой грех, используя слепоту правосудия и непроницательность окружающих. Так

и живут они в обществе с «пятном на душе», порой равнодушные к своему прошлому, а порой, подобно священнику Димсдейлу, терзаемые страхом разоблачения и укорами совести. А иной человек, может быть, даже и не совершил ничего незаконного, и все-таки в потенции он является преступником. Он «готов был» совершить преступление, и только недостаток решимости или неблагоприятная обстановка остановили его у края падения. Все дело в том, что внутренне человек давно уже «созрел для преступления», и поэтому, будучи формально невиновным, он по существу такой же злодей, как и те, кого преследует закон.

Поэтому Готорн говорит о сплошной аморальности современного ему общества, о «братстве людей во грехе», о тайной близости тех, кто в позоре искупает свое преступление, и тех, кто в богатстве и довольстве наслаждается своей безнаказанностью.

Правосудие — орган, который общество создало для наказания виновных, — как часто оно ослеплено предрассудками и несправедливо в своих решениях, порой даже служа орудием в руках подлеца. С помощью суда в романе «Дом о семи фронтонах» полковник Пинчен доказывает, что

его сосед Моул колдун, добивается его казни и, присвоив принадлежащую Моулу землю, строит на ней свой дом. С помощью суда его потомок упрячет на тридцать лет в тюрьму своего родственника Клиффорда, истинного наследника всех богатств рода Пинченов, и, уничтожив завещание, составленное в пользу Клиффорда, сам станет наследником рокового дома о семи фронтонах. В романе «Алая буква» судебный приговор магистрата разбивает всю жизнь Гестер Прин, обрекает ее на вечный позор, тогда как ее соучастник, священник Димсдейл, трусливо скрывший свою вину, остается во мнении ослепленных сограждан чуть ли не святым человеком в силу своего «праведного поведения».

Смысл критики Готорна заключается в том, что утрачен моральный импульс в жизни общества. Поэтому внешним принуждением — органами суда, тюрьмами и позорными карами — нельзя заставить человека быть моральным. Мораль должна быть заложена в душе человека, и наказание его должно заключаться в муках совести, а не в средствах внешнего принуждения. Если же человек утратил совесть, потерял возможность внутренним страданием искупить свою вину, то горе обществу, которое состоит из таких

сочленов.

Готорн презирает буржуазного самоуверенного искателя счастья, который, расталкивая локтями слабых, рвется к успеху, того мускулистого и беспринципного героя, которого до сих пор считают воплощением американского «здорового эгоизма». В новелле «Каменный лик» Готорн сравнивает разные типы человеческой деятельности. Большинство из них направлено на поиски успеха в обществе. Но Готорн считает, что успех дельца-финансиста или генерала, превратившего военное дело в средство личной карьеры, или ловкого политикана, нечистым путем пробивающего себе дорогу к власти, является мнимым успехом. Даже поэт, создатель прекрасных произведений искусства, все еще сохраняет много порочного индивидуализма и себялюбия, и только скромный юноша Эрнст, всю свою жизнь посвятивший служению людям, бескорыстно творящий добро, снискал расположение автора — ему он отдает предпочтение и его самоотверженный альтруизм провозглашает идеалом человеческой жизни.

В новелле «Поиски карбункула» он в аллегорической форме критикует поиски богатства, карьеры, наслаждения, несущие с собой смерть и

страдание, и наделяет счастьем простых, нетребовательных людей, которые нашли в себе силу отказаться от драгоценного камня.

Таким образом, отвергая эгоистическую буржуазную активность, Готорн прославляет альтруистическую активность, которая способна превратить царство борьбы всех против всех в дружественную общину людей, спаянных общей любовью. Именно альтруизм возвышает юношу Эрнста над дельцами и полководцами, точно так же как сочувственное отношение к людским страданиям делает Гестер Прин из отщепенки уважаемым лицом в городе, превращает ее из преступницы в подвижницу. Именно самоотверженная забота о людях, о человечестве возвышает простую фермерскую работу организаторов «Блайтдейл» до исторически значительного эксперимента.

Однако Готорн не слишком верит в то, что его рецепты перестройки человеческой нравственности имеют какую-нибудь реальную почву. Он сам сознает утопический характер своих рекомендаций. Отсюда пессимизм Готорна, угрюмо мрачный колорит большинства его новелл и романов.

Главный пафос творчества Готорна заключает-

ся в критике эгоистической погони за богатством, в котором он видит вредоносное начало, разлагающее и деморализующее людей. В новелле «Сокровище Питера Голдвейта» стремящийся к богатству старый Питер Голдвейт разрушает собственный дом, единственное свое достояние. Он ищет спрятанный его предками клад, и что же он находит? Сундук с обесцененными бумагами. Это некогда было сокровищем, но сейчас это только «труп сокровища», «подходящий материал для постройки воздушных замков». Счастье не дается в руки искателю богатства и успеха. Успех в жизни только манит человека своими соблазнами, но даже самые крайние жертвы не приближают человека к искомой цели. Тайные пружины бытия скрыты от людей. Общество живет по стихийным иррациональным законам, и самый проницательный человек не в силах управлять этими законами или даже проникнуть в те силы, которые определяют его судьбу. В новелле «Дэвид Суон» Готорн рассказывает о юноше клерке, который однажды прилег вздремнуть у фонтана. За то время, что он спал, произошли события, которые навсегда остались ему неизвестными. Богатый купец и его жена, бездетная супружеская пара, проходя мимо него, решили было усыновить его,

но потом ушли, не выполнив своего намерения. Молодая девушка ощутила в своем сердце зарождающееся чувство к красивому юноше, но не решилась разбудить его. Бандиты хотели убить и ограбить его, но испугались залаявшей собаки и пустились наутек. А когда Дэвид проснулся, он так и не узнал, что «тень богатства бросила золотой отблеск на фонтан, что тень любви вздохнула тайком по соседству с ним, что тень смерти чуть не обагрила чистоту фонтана его кровью — все за один час, что он спал». Таким образом, человек живет вслепую, не зная о тех событиях, которые могут изменить его судьбу. Но если это так, то какова цена всем его попыткам в борьбе за успех? Он строит замыслы и планы, но жизнь обманывает его и обрекает на неудачу именно потому, что он не знает ее тайных путей, определяющих его личную судьбу.

В новелле «Семеро путешественников» случайно встретившиеся на дороге люди собираются вместе поехать на ярмарку. Они делятся замыслами, говорят о том, как они проведут время на ярмарке, что они купят и что увидят там нового. Но вдруг мимо проезжает всадник и объявляет, что ярмарки не будет. Все расчеты путешественников рушатся.

В другой новелле, «Честолюбивый гость», люди, сидящие в хижине под горой, также строят обширные планы своей дальнейшей жизни, а через мгновение гора обрушивается на хижину и погребает под собой честолюбцев и их самоуверенные замыслы.

Таким образом, путь к успеху в жизни темен и труден, только безумец может верить в возможность достижения цели. Но ведь есть же счастливцы, которые все-таки добиваются успеха! Есть богачи-миллиоперы, есть важные чиновники, есть преуспевающие полководцы — какова их жизнь? Счастливы ли они наконец? Готорн сомневается и в этом. Все эти люди в любую минуту могут утратить свое благополучие. Над каждым из них занесен меч судьбы, и только близорукость этих людей позволяет им верить в прочность своего положения. В целом ряде новелл («Легенды губернаторского дома», «Седой заступник» и др.) Готорн показывает, как иллюзорно положение власть имущих, хотя они и не сознают этого. Надменную красавицу леди Элинор, презирающую народ и гордящуюся своей красотой и богатством, поражает черная оспа, таинственно связанная с той самой мантильей, которая составляла основу ее загадочного

очарования («Мантилья леди Элинор»). Гордые губернаторы деспотически угнетают народ и не видят, что дни их владычества сочтены. А между тем революция подточила основу их существования, и с тупым страхом смотрят они на таинственные знамения, которые предрекают им близость конца («Маскарад Хоу», «Седой заступник»).

Стоит ли так отчаянно бороться за успех, которого так трудно достичь и который так быстро ускользает из рук? Человек враждует с другими людьми, идет на преступление, коверкает свою душу жестокостью и враждой, и в результате он так же далек от счастья, как и в начале своего пути.

Поэтому лучше отказаться от «поисков карбункула», ограничить свои жизненные потребности и направить всю свою деятельность на любовь к людям, на служение добру, как это делает Гестер Прин в романе «Алая буква».

Обычно исследователи творчества Готорна эту моральную проповедь связывают с пуританством, считая, что фатализм и аскетизм кальвинистской доктрины сыграли решающую роль в мировоззрении писателя.

Какие-то элементы пуританизма, вероятно,

наличествуют у Готорна, но это странный пуританизм, без бога и дьявола, без мыслей о загробном воздаянии, без ужаса перед геенной огненной, то есть без всего того, что составляет самую основу пуританской религии. С другой стороны, и в личной жизни Готорн не склонен к особой религиозности. Живя в маленьком ханжеском городке, где все кичатся своей набожностью, Готорн почти не посещает церкви и терпеть не может разговоров на религиозные темы.

Готорн не был пуританином в полном смысле слова. Он был сыном своего скептического времени, и ортодоксальная доктрина пуританства была для него неприемлема. Пуритане XVII века, которых он постоянно выводит в своем творчестве, не вызывают у него особой симпатии. Он ценит их свободолюбие, их энергию пионеров — преобразователей природы, их могучий патриотизм, позволивший им успешно свергнуть английское иго, их внимание к вопросам морали, которого так не хватает его современникам. Пуританство для Готорна было и живописным антиподом бесцветной прозаической современности. Но при всем том он трезво оценивал узость пуританской морали, ту жестокую регламентацию, которую накладывала на своих членов теократическая

пуританская община. Он видел, что пуритане, которых преследовали в Англии, переплыв океан и основав в Америке свою общину, сами стали жестокими преследователями инакомыслящих.

Борьба пуритан за свободу естественна и оправдана. Готорн сочувствует гордому пуританину Эндикоту, разорвавшему английский флаг («Эндикот и красный крест»), но в другой новелле тот же Эндикот сам оказывается нетерпимым и тираническим правителем («Майский шест на Веселой горе»), В новелле «Кроткий мальчик» ненависть пуритан к религиозной секте квакеров выражается в убийствах и насилиях и приводит к гибели ни в чем не повинного мальчика Ибрагима.

Религиозная нетерпимость пуритан, человеконенавистнический эгоизм религиозной группы рассматривается Готорном как еще одно средство разобщить и без того разобщенное человечество, натравить одних людей на других. Готорн мечтал о всеобщем братстве людей, но видел вокруг себя дикую вражду всех против всех, и в своих исторических сюжетах он показал, что пуританской общине XVII века присущи такие же варварские предрассудки и такое же подавление свободы личности, какие свойственны и зрелому буржу-

азному обществу, хотя и в несколько иной форме. Таким образом, обращение к историческому прошлому давало известное философское обоснование опыту современного автору общества. В этом правдивость и актуальность его исторических сюжетов.

Сложное отношение Готорна к пуританству, с одной стороны, и современному ему обществу, с другой, получили свое наиболее полное воплощение в его романе «Алая буква».

Роман «Алая буква» не случайно открывается образами городской тюрьмы, этого «черного цветка цивилизованного общества», и розового куста перед ее порогом. В романтической образной системе автора эти символы многозначительны и говорят об основном конфликте романа, о конфликте между неумолимой моралью пуритан, опирающейся на тюрьму и на эшафот, как на основные средства внедрения добродетели, и ростком свободного чувства любви, которое выступает еще слабым и поруганным, но в свою очередь является символом свободы личности.

Пуритане Новой Англии связали свою общину железной дисциплиной. Нерадивый слуга, вызвавший раздражение хозяина, или сын, ослушавшийся родителей, наказывался плетьми у

позорного столба. Более же серьезные проступки карались клеймом и смертью. Поэтому когда обнаруживается, что героиня романа Гестер Прин изменила своему исчезнувшему старику мужу и оказалась матерью незаконного ребенка, пуритане шельмуют ее, выставив публично на эшафот и заставив всю жизнь носить на груди алую букву «А» — начало постыдного слова «Adulteress» (прелюбодейка). Соучастник, Гестер, священник Димсдейл, малодушно скрывает свою вину. Но общество карает и его. Общество, воспитав его, внушило ему такие моральные требования, которые превратились во внутренний закон его души. И когда священник преступил этот закон, его совесть осуществляет тайный суд над тайным грешником. На груди его под одеждой появляется такая же буква, как у Гестер. Невидная людям, она жжет ему сердце, и его муки еще сильней, чем муки его любовницы.

То, что двое хороших людей гибнут из-за общественной нетерпимости, так же возмущает читателя, как гибель маленького квакера в новелле «Кроткий мальчик». Но здесь отношение автора к героям гораздо сложней. Здесь герои *сами* осознают свою любовь как грех, и автор нигде их прямо не оправдывает. Только общий пафос

книги, независимо от убеждений героев, провозглашает право людей на свободное чувство. Тестер и Димсдейл героичны и привлекательны, несмотря на сзой грех, в то время как казнящее их общество жестоко и лицемерно в своем азарте возмездия.

Губернатор, судьи, генералы, священники — все эти импозантные правители общины, которым дано право носить обшитые золотом плащи, пышные воротники, тонкие кружева, богато расшитые перчатки — все то, что строжайше запрещалось носить одетым в черное платье простым горожанам, — рассматривают дело Гестер Прин как повод к устрашению всех потенциальных ослушников. Они заинтересованы в том, чтобы «их собственные жены и дочери не сбились с пути».

Добродетель женщины рисуется этим людям не как естественная потребность чистого нрава, а как принудительные узы, надетые обществом на человека. Эта добродетель держится только спасительным страхом перед казнью на земле и перед адскими муками на том свете. Поэтому так необходим Бостону позорный эшафот и нужна назидательная речь проповедника, который связывает алый знак с пламенем адской бездны.

Обдуманная суровость властей поддерживается жестокостью толпы горожан, среди которых выделяются женщины, завидующие красоте и достоинству Гестер. Чем уродливее кумушка, обсуждающая поведение Гестер, тем суровее ее приговор, тем больших страданий требует она для несчастной женщины. Та, что не имеет шансов быть порочной, мстит Гестер за то, что она прекрасна и желанна. Между тем осуждающие Гестер люди и сами не без греха. Магический алый знак помогает Гестер разгадывать среди проходящих мимо мужчин и женщин множество тайных грешников. Бостонские жители внешне подчиняются суровым законам общины, но втайне следуют голосу чувства. Так мстит природа за антиприродные установления пуританских магистратов.

Таким образом, романтик Готорн сталкивает пуританский закон, в котором он различает черты лицемерия и мелкой мстительности, со свободным естественным чувством любви, которое взрывает и оковы общественных запретов и те предрассудки, которые живут в сознании самих героев.

Создавая образ Гестер Прин, Готорн как бы попробовал испытать в реальных жизненных усло-

виях теоретический тезис Эмерсона о «доверии к себе». Сложный и противоречивый духовный мир Гестер подвергается анализу в тот критический момент, когда она приведена в конфликт со всем городом. Она инстинктивно чувствует свою правоту, свое право на любовь и счастье, которое всем окружающим представляется позорным нарушением нравственности. Гордый и независимый ум Гестер не хочет уступить шельмующей ее толпе. Она искусно вышивает алую букву, так что последняя выглядит украшением на богатом платье. Стоя на эшафоте, Гестер пытается выглядеть гордой и несломленной, хотя у нее и бывают минуты слабости и сомнений.

Но когда после этого страшного испытания тянутся годы изгнания и презрения, Гестер чувствует, как тяжело быть отщепенцем, удаленным из общества. Готорн вскрывает здесь главный порок теории Эмерсона. Будучи вырванным из общества, человек обрекается на трагическую изоляцию. Одиночество приводит его к невозможности реализовать те преимущества, которые дает ему его прогрессивное мировоззрение. Он выпадает из коллектива и тем самым становится бесполезным для него. Поэтому Гестер ощущает свое изгнание из городка как величай-

шую трагедию. Готорн показывает, как страдания и одиночество закаляют ум Гестер, как она приходит к зрелым самостоятельным выводам об угнетенном положении женщины в обществе, об иных нормах справедливости: казалось бы, она должна стать еще дальше от общества. Но нет, именно теперь приходит к ней сознание гибельности отрыва человека от других людей — его обязанностей по отношению к ним, и она становится помощницей всех страждущих, она делает добро тем самым людям, которые так свирепо расправились с ней и которые, даже принимая ее помощь, полны презрения к ней. Готорн как бы поверяет на конкретном случае возможность для человека оборвать связи с обществом и дает резко отрицательный ответ на рекомендации Эмерсона.

С большой психологической тонкостью Готорн показывает, как чувство любви по-разному преломляется у различных людей. У Гестер Прин любовь принимает форму жертвенной преданности любимому человеку. Ради этой любви она ломает всю свою жизнь. Стоя на эшафоте перед мучителями судьями, она хранит тайну имени своего соблазнителя, и в дальнейшем, несмотря на позор и унижение, она не в силах покинуть

тот город, где живет и страдает Димсдейл.

В то же время у ее мужа, Роджера Чиллингуорса, это же чувство любви носит характер ревнивого обладания, и месть ученого доктора Димсдейлу похожа на расправу над вором, укравшим чужую собственность.

Еще не зная того, кто отнял у него сердце его жены, он обещает искать его с тою же страстью, с которой он искал истину в книгах или золото в реторте алхимика. «Я почувствую его присутствие, ибо мы с ним связаны. Я увижу, как он затрепещет, и я сам внезапно и невольно содрогнусь. Рано или поздно, но он будет в моих руках!»

Образ Чиллингуорса перекликается с образом ученых-маньяков в новеллах Готорна («Дочь Раппачини», «Родимое пятно» и др.). Это тип человека, целиком отдавшегося одной идее, равнодушного к моральным правилам и бесповоротно преследующего свою цель, даже если это связано с гибелью других людей. Но если ученый химик Раппачини губит свою собственную дочь, производя над ней эксперименты с изобретенными им ядами, то его мания, при всем ее эгоизме, мотивируется преданностью науке, то есть в каком-то конечном счете преследует неэгоистические цели. Чиллингуорс же не

стремится к научному открытию. Он использует свои знания и силу своего ума исключительно ради личной мести. Здесь эгоистическая мания ученого поставлена на служение эгоистической же цели. Это усиливает зловещий характер его деятельности. Готорн рисует его как человека, который, «занимаясь дьявольскими делами, и сам постепенно превращается в дьявола». Там, где ступает его нога, вянут цветы; из глаз его исходит красно-синее пламя, и черный цвет его одежды гармонирует с его черными делами.

Обдуманной целеустремленности Чиллингуорса противостоит душевная мягкость и нерешительность Димсдейла. Это фигура, на которой пересекаются любовь Гестер и ненависть Чиллингуорса. Если Гестер характеризуется мужеством и добротой, если Чиллингуорс — это мужество без доброты, то Димсдейл — это доброта без мужества. В сущности весь роман строится на том, что у Димсдейла не хватает силы «быть правдивым».

«Человек должен быть правдивым» — учит Готорн Он должен показывать людям «худшую сторону своей души», а Димсдейл воровским образом пользуется репутацией святого праведника, на которую он не имеет морального права. Го-

торн обнажает это противоречие между ложной репутацией Димсдейла и его тайным обликом согрешившего священника в сцене шельмования Гестер на эшафоте, когда Димсдейл сам должен уговаривать ее раскрыть имя ее соблазнителя. Речь Димсдейла отражает всю двойственность его положения. Он выполняет то, чего ждут от него верующие пуритане, он уговаривает Тестер, но делает он это так искусно, что его слова помогают ей снова почувствовать в нем своего союзника, который страдает не меньше, чем она сама. Димсдейл живет двойной жизнью, но вместе с тем его по существу правдивая натура безмерно тяготится этой двойственностью. Он презирает себя за то, что ему приходится лгать и притворяться, и этим самоосуждением Димсдейла пользуется Чиллингуорс, осуществляя свою месть.

Все дело в том, что Димсдейл воспринимает пуританские законы как абсолютную религиозную норму и свое отступление от этих законов — как страшный грех. Здесь внешнее принуждение превращается во внутренний душевный закон. Тюрьмой для человека становится его собственное сознание. И конфликт, который для Гестер Прин развивается между обществом и

страдающим индивидуумом, здесь перенесен в глубь человеческой души или, придерживаясь образной системы Готорна, в глубь человеческого *сердца.*

Сердце согрешившего священника является сферой борьбы различных побуждений. В нем скрыта роковая тайна, которая причиняет ему неслыханные муки. Поэтому Готорн сравнивает его сердце с темной пещерой, тюрьмой, могилой. Тайну Димсдейла хочет насильственно раскрыть Чиллингуорс, и он «рылся в сердце несчастного священника, как рудокоп, ищущий золото или, вернее, как могильщик, который раскапывает могилу». Готорн считает, что эта тайна должна быть выведена из мрака на свет. Но это должно быть сделано священником по доброй воле. Поэтому то, что делает Чиллингуорс, является насилием над человеческим сердцем.

Изображая переживания священника, Готорн прибегает к сложной метафорической игре. Тайна нераскрытого греха получает вещественное выражение. Сердце священника терзает загадочно возникший на его груди алый знак, причем терзает не в переносном, а в буквальном смысле, и бедный грешник то и дело прижимает руку к сердцу, чтобы унять эту жгучую боль. Здесь

переплетается вещественный и символический смысл событий, и это переплетение характерно для романтической поэтики Готорна. В его романе тюрьма, кладбище, лес, розовый куст играют не только свою прямую роль. Они выступают как символы, точно так же как цвета предметов не только связаны с описанием их внешнего вида, но и вносят с собой символические ассоциации — черный цвет пуританизма, зеленый цвет безгрешной природы, алый цвет преступления. Эта символическая игра сочетается с фантастикой, загадочными совпадениями, необъяснимыми явлениями: в тот момент, когда Димсдейл, гонимый муками своей совести, ночью приходит на эшафот и встречает здесь Гестер и Перл, над ними появляется в небе багровый метеорит в форме буквы «А».

Таких загадочных явлений в романе много, — тут и трепетание алой буквы, когда мимо проходят грешники, и безумные речи старой колдуньи Хиббинс,[4] в которых раскрываются чужие тайны, и таинственные снадобья Чиллингуорса, добываемые из черных сорняков, растущих на могилах, — вся эта символика и

[4] Примечания: 4

Хиббинс, Энн — жительница Бостона, осужденная на смертную казнь по обвинению в колдовстве. Была казнена 19 июня 1656 года.

фантастика создает эмоциональную атмосферу романа, загадочную и многозначительную. Цель этих приемов в том, чтобы поднять описываемые события в какой-то более высокий философский план, подчеркнуть их значительность и сообщить им какой-то более общий смысл.

В романе есть образы, в которых символическая сторона конкурирует с реальной. Таков образ маленькой Перл. Это девочка-эльф, тесно связанная с природой, естественная, как природа, и чувствующая себя в лесу среди цветов и животных как часть волшебного царства природы. Не случайно из всех героев «Алой буквы» именно Перл наиболее далека от пуританских законов, проникнута к ним инстинктивной враждебностью естественного неиспорченного существа и ведет себя настолько беззаконно и своевольно, что вызывает испуг даже у Гестер, которая порой не решается признать в ней свое дитя. Такова реальная основа образа. С другой стороны, образ Перл имеет в себе символический смысл. Когда старый священник, экзаменуя ее, спрашивает: «Знаешь ли ты, дитя, кто тебя сотворил?» — она отвечает ему, что ее никто не сотворил и что мать сорвала ее с розового куста у ворот тюрьмы. В этом ответе символ любви — роза — переплетает-

ся с символом позора и преступления — тюрьмой. Это переплетение раскрывает сущность трагедии Гестер. Ее девочка действительно цветок преступной опозоренной любви. Она такой же символ этой любви, как и алая буква на груди Гестер. Поэтому в сознании Гестер девочка связывается со знаком ее позора, и она одевает Перл в такой яркий наряд, что ребенок напоминает ожившую алую букву. «Разве вы не видите, — говорит Гестер в доме губернатора, — что она тоже алая буква, но эту алую букву я люблю, и поэтому нет для меня на свете страшнее возмездия, чем она!»

С другой стороны, сама алая буква тоже является не просто клочком материи. Это один из главных героев, по имени которого назван роман. Алая буква живет своей особой жизнью. Уже в предисловии, при первом своем появлении, найденный в чужих бумагах красный лоскут как бы обжигает рассказчика. В самом романе алая буква является постоянным спутником Тестер, неотделимым, как проклятье. Тестер борется с алой буквой, пытается преодолеть ее роковую силу. Вышив ее красивым узором, она стремится из позорного отличия превратить ее в изящное украшение на богатом платье, но эта попытка ей не удается. Важно не то, какой смысл вкладывает

в букву сама Гестер, а то, как воспринимает этот знак общество. Буква — это символически выраженное общественное мнение. В этом смысле характерно, что в доме у губернатора, отраженная в сферическом зеркале щита, буква вырастает, заслоняя собой всю фигуру Гестер. Это символично. Для судей подсудимый как личность не существует. Они видят лишь носителя определенной вины. Вина заслоняет собой человека. Готорн же, наоборот, стремится показать, как относительна вина и как человек, считаемый преступником, может оказаться чуть ли не святым, тогда как тот, кого судьи считают святым, на деле оказывается тайным грешником.

Во время сцены в лесу Гестер снимает и отбрасывает от себя проклятую букву, но маленькая Перл бунтует, требуя, чтобы ее мать приняла свой обычный вид. Бессознательно девочка заставляет Гестер снова принять тот облик, которого требовало от нее пуританское общество.

Подвижнически праведная жизнь Гестер меняет отношение к ней горожан. Соответственно и буква меняет свой первоначальный смысл Adulteress (прелюбодейка) на новый, выражающий всеобщее уважение — Able (сильная).

Таким образом, Гестер как будто удается одо-

леть своего врага, но все-таки в последней сцене романа, в день городского праздника, никто из горожанок не хочет стоять рядом с женщиной, носящей алый знак. Даже после того как умирают все герои этой трагической истории, на могиле Гестер и Димсдейла остается «на черном поле алая буква „А“». Так жестокость и несправедливость переживают гуманность и любовь.

Таким образом, в романе действует целая система поэтических символов, которая находит свое завершение в алой букве, как главном символе всего действия.

Тем не менее, несмотря на всю эту романтическую символику, поэтика Готорна не растворяет образы романа в субъективной игре настроений и намеков. Его психологические наблюдения полны жизненной верности, его образы пластичны, как отлитые из бронзы. Он скуп на внешние детали, и тем не менее исторический колорит эпохи создается с исключительной убедительностью. Его массовые сцены в начале и в конце романа дают почувствовать энергию и яркость эпохи пуританизма, которая резко отличается от противопоставленной ей в предисловии автора середины XVIII столетия. Это автобиографическое предисловие играет в книге очень важную роль.

Здесь при изображении своих современников автор еще более беспощаден, чем при изображении пуритан. По отношению к пришедшему в упадок захолустному Салему с его анекдотически выродившимися жителями пуританский Бостон кажется романтически живописным и полным жизненных сил. Расслабленные и обезличенные старцы — таможенные чиновники, с узкими интересами и покладистой моралью («Ни парадный, ни черный ход таможни не ведут в рай!»), выглядят жалкими дегенератами по сравнению с их суровыми пуританскими предками, способными на могучие страсти и на могучие дела.

Если в ходе романа автор развенчивает пуритан, то предисловие заставляет нас вспомнить о еще более испорченных нравах современников, по сравнению с которыми люди минувших времен обладали рядом преимуществ.

Суровый приговор бостонского магистрата искалечил жизнь Гестер Прин. Это жестоко и несправедливо с нашей точки зрения, но такова была мораль XVII века. В те времена этот приговор прикрывался заботой о благе граждан, он апеллировал к богу и нравственности… А в чем оправдание современным бесчинствам партии вигов, сводившей счеты с ни в чем не повинными

людьми? В чем вообще смысл существования описанных автором мелких таможенных чиновников, которым недоступна даже сама идея нравственной жизни? Разве эта скудоумная и безликая среда не хуже тех людей, которые в борьбе и труде положили основание современной Америке?

Таким образом, незачем облегченно вздыхать при мысли о том, что суровые времена пуританства ушли в прошлое. Настоящее несет в себе еще более тяжелые болезни, и правдивый писатель не может вторить хору, прославляющему современное процветание. В этом отличие Готорна от писателей, восхвалявших буржуазный прогресс. Готорн — романтик. Современность представляется ему порочной и преступной. Он критикует ее в своих романах и новеллах. По его мнению, буржуазное общество живет неправильной жизнью, но это не есть особенность только сегодняшняя; как считали европейские романтики. Готорн своим романом доказывает, что и в живописном историческом прошлом мир был устроен так же несправедливо и так же совершал преступления по отношению к членам своего общества, как и теперь. Эта мысль еще более ярко выражена в его следующем романе «Дом о семи фронтонах», где

смена поколений ничего не меняет в преступной деятельности рода Пинченов, где злодеяния и преступная несправедливость суда повторяются в жизни современного поколения так же неумолимо, как это было во времена ранних пуританских поселений.

Более того, даже в общине «Блайтдейл», где сосредоточены «люди будущего» — передовые умы эпохи, — проходят перед нами те же присущие современности конфликты и те же преступления. Мир, построенный на эгоизме и конкуренции, вторгается в сердце фурьеристской колонии и вырывает из нее ее наиболее активных членов. Маленькая ячейка альтруизма не в силах справиться с окружающим ее миром варварства.

Таким образом, в романе «Алая буква» Готорн противопоставил современности исторически далекую эпоху пуританства, разоблачая аморализм и беспринципный эгоизм своих современников. С другой стороны, свободомыслие XIX века помогает ему в свою очередь подвергнуть критике пуританство за его узость и фанатизм. Вместе с тем сопоставление двух эпох позволяет уловить те общие черты цивилизованного варварства и взаимной ненависти людей, которые характерны для обеих эпох и от которых не спа-

стись ни в религиозной общине, посвященной суровому пуританскому богу, ни в фурьеристской колонии «Блайтдейл», которая, будучи окружена буржуазным миром, и сама остается одной из его ячеек, воспринимая все его волчьи нравы, преступление и борьбу честолюбий и эгоизмов.

Только полное изменение законов жизни общества могло бы внести нравственное начало в ту преступную, неправедную жизнь, которую с такой болью изображал Готорн. Но пути такого изменения не были известны американскому писателю середины прошлого столетия. Гуманистический протест против болезней своего времени он оставил последующим поколениям, их задача найти лекарство от этих болезней.

А. Левинтон

Алая буква



ТАМОЖНЯ

Вступительный очерк к роману «Алая буква»

Хотя я и не склонен распространяться о себе и своих делах, сидя у домашнего очага или в кругу друзей, все же, как ни странно, мною дважды овладевал биографический зуд, понуждая обратиться непосредственно к публике. Впервые это случилось года четыре назад, когда без всяких разумных причин, которые мог бы привести в качестве оправдания снисходительный читатель или навязчивый автор, я облагодетельствовал общество описанием своей жизни в нерушимой тишине Старой Усадьбы.[5] И так как мне тогда посчастливилось найти за пределами моего уединенного жилища нескольких слушателей, я теперь снова хватаю публику за пуговицу и делюсь с ней воспоминаниями о моей трехлетней работе в таможне. Никто еще так добросовестно не следовал примеру знаменитого «П. П., при-

[5] Примечания: 5

…*Старой Усадьбы*… — Речь идет о сборнике новелл Готорна «Легенды Старой Усадьбы» (1849), в котором автор рассказывает о своей жизни в Конкорде.

ходского писца».[6] Дело, по-видимому, в том, что когда автор отдает на произвол стихий исписанные им листки, он обращается не к тем многочисленным читателям, которые сразу же отложат книгу в сторону или вовсе не возьмут в руки, а к тем немногим, которые поймут ее лучше, чем большинство спутников его юности и зрелых лет. Конечно, некоторые писатели идут куда дальше и позволяют себе пускаться в такие откровенные признания, какие человеку дозволено делать в присутствии лишь одного-единственого, родственного ему по духу и сердцу, существа. Как будто брошенная в шумный мир книга непременно отыщет отделившуюся от автора половинку и соединит его с нею, тем самым восполнив круг его существования! Однако вряд ли пристойно говорить все — даже когда говоришь от третьего лица. И так как мысль съеживается, а язык примерзает к гортани, если у

---

[6] Примечания: 6

«П. П., приходского писца» — Поль Прай — комический персонаж из комедии «Поль Прай» английского писателя Джона Пула (1786–1872), написанной в 1825 году и часто приписывавшейся Дугласу Джероллу (1803–1857). Этот образ беззастенчиво любопытного сплетника, насильно навязывающего посторонним людям свое общество, получил огромную популярность в XIX веке. Целый ряд писателей избрал имя Поль Прай своим псевдонимом, под этим именем выходили журналы, — оно стало нарицательным, и от него в разговорном языке есть даже производный глагол. Готорн говорит здесь о себе как о навязчивом Поле прае, рассказ которого, быть может, и не интересен читателю.

говорящего нет настоящей связи со слушателями, ему простительно воображать, что он беседует с другом, чутким и внимательным, хотя и не слишком близким. От такого приятного сознания наша природная сдержанность оттаивает, мы принимаемся болтать об окружающем и даже о нас самих, по-прежнему, однако, не приподнимая покрова над нашим сокровенным «я». Мне думается, что только в такой степени и в таких пределах писатель может быть автобиографичным, не нарушая при этом ни интересов читателя, ни своих собственных.

Кроме того, очерк «Таможня» еще и потому имеет известное право на существование — право, всегда признаваемое литературой, — что в нем я рассказываю, как попали в мои руки многие страницы этой книги, а также привожу доказательства истинности изложенной в ней истории. Таким образом, единственной настоящей причиной моего прямого обращения к публике является желание показать, что я всего лишь редактор, или чуть больше, этой самой многословной из всех напечатанных мною повестей. Я позволил себе, не отклоняясь от основной цели, дать несколькими дополнительными штрихами беглый набросок людей, чей образ жизни до сих

пор нигде не был описан. В числе этих людей находился и сам автор.

В моем родном городе Салеме,[7] вблизи сооружения, которое еще полвека назад, во времена Кинга Дарби, было шумной пристанью, а теперь превратилось в скопище полуразрушенных деревянных складов и почти не обнаруживает признаков торговой жизни, если не считать брига или барка, выгружающего кожи где-нибудь посреди его меланхолических просторов, или шхуны из Новой Шотландии,[8] сбрасывающей у выезда в город груз дров, — повторяю, вблизи этой частенько затопляемой приливом обветшалой пристани, где кайма чахлой травы вокруг вытянутых в ряд строений свидетельствует о вялой, поступи десятилетий, стоит поместительное кирпичное здание, выходящее окнами фасада на это не слишком веселое место и на другой берег бухты. На его крыше ежедневно, ровно с полови-

---

[7] Примечания: 7

Салем — родина Готорна; небольшой город в штате Массачусетс, некогда имевший значение как торговый порт. Прославился в истории знаменитым «ведовским» процессом 1691–1692 годов, когда, в результате религиозного фанатизма и суеверия пуритан, девятнадцать женщин были казнены за «колдовство и связь с дьяволом».

[8] Примечания: 8

Новая Шотландия — провинция в Канаде на полуострове того же названия. Административный центр — Галифакс.

ны девятого утра и до полудня, развевается при ветре и вяло свешивается во время затишья флаг республики. Тринадцать полос на нем расположены не горизонтально, а вертикально, указывая тем самым, что правительство дяди Сэма[9] представлено здесь только гражданскими властями. Балкон над лестницей с широкими гранитными ступенями покоится на деревянных колоннах портика. Вход увенчан огромным экземпляром американского орла[10] с распростертыми крыльями, щитом перед грудью и, если память мне не изменяет, пучком молний вперемежку с тринадцатью зазубренными стрелами в каждой лапе. С обычной неуравновешенностью характера, свойственной этой злосчастной птице, она своими гневными глазами, клювом и свирепостью осанки словно грозит погибелью безобидному

---

[9] Примечания: 9

Дядя Сэм — возникшее в период войны с Англией (1812–1814) шутливое обозначение американского государства. Произошло от служебного сокращения «U. S. Am» (вместо «United States of America»), прочтенного как «Uncle Sam».

[10] Примечания: 10

…экземпляром американского орла… — Герб США изображает орла с распростертыми крыльями, сжимающего в когтях: в одной лапе ветку лавра, в другой — связку из тринадцати стрел. Над головой орла в венке из облаков реют тринадцать звезд, а в клюве орел держит ленту с латинской надписью; «E pluribus unum» (из множества единое). Вся эта символика говорит о факте объединения первых тринадцати штатов, отложившихся от Англии.

населению городка, особенно предостерегая жителей, которым сколько-нибудь дорого их благополучие, от вторжения в пределы, осененные ее крыльями. Тем не менее немало граждан и сейчас пытаются укрыться под крылом федерального орла, видимо полагая, что, несмотря на его сварливый вид, грудь у него мягка и уютна, как пуховая подушка. Но даже в лучшие минуты он не слишком добродушен и рано или поздно — скорее рано, чем поздно, — отгоняет своих птенцов, предварительно исцарапав их, клюнув или ранив зазубренной стрелой.

Обильная трава в расселинах мостовой вокруг описанного нами здания — с этой минуты мы будем называть его портовой таможней — говорит о том, что за последнее время оно не подвергалось буйному натиску, деловой жизни. Однако в иные месяцы выпадают такие утра, когда дела движутся оживленнее. В этих случаях старожилы могли бы вспомнить о годах перед последней войной с Англией,[11] когда Салем был настоящим портом, а не таким, как сейчас, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, которые не препятствуют его пристаням ветшать

[11] Примечания: 11

…перед последней войной с Англией… — Подразумевается англо-американская война 1812–1814 годов.

и осыпаться, между тем как товары этих купцов бесполезно и незаметно вливаются в мощный поток нью-йоркской и бастонской торговли. В такие утра, когда несколько судов, большей частью африканских или южноамериканских, одновременно прибывают или готовятся к отплытию, на гранитных ступенях звучат торопливые шаги многих поднимающихся и спускающихся людей. Здесь можно встретить, прежде чем его встретит собственная жена, только что вернувшегося в порт загорелого шкипера, который несет под мышкой облупленную консервную жестянку с судовыми документами. Сюда же приходит судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или насупленный, в зависимости от того, какие товары доставлены по его указанию из только что закончившегося плаванья, — такие, которые быстро превратятся в золото, или же, напротив, такие, что лягут на плечи хозяина громоздким, никому не нужным грузом. Здесь мы также видим зародыш морщинистого, седобородого, измученного заботой купца в лице молодого расторопного клерка, который входит во вкус торговли, как волчонок — во вкус крови, и уже отправляет собственные товары на хозяйском корабле, хотя ему больше пристало

бы пускать кораблики у мельничной запруды. Видим мы на пристани и уходящего в дальнее плаванье матроса, которому нужно свидетельство о гражданстве, и другого матроса, только что высадившегося, худого и бледного, ожидающего направления в госпиталь. Не следует забывать и капитанов обветшалых шхун, привозящих дрова из британских владений, — грубоватых моряков, не обладающих внешней живостью янки, но вносящих немаловажную лепту в нашу хиреющую торговлю.

Если собрать всех этих людей, как они порой собирались на самом деле, и присоединить к ним для разнообразия несколько случайных посетителей, таможня на время станет весьма оживленным местом. Однако, поднявшись по ступенькам, вы значительно чаще увидите на площадке перед входом, если дело происходит летом, или в соответственных помещениях, если холодно и дождливо, почтенных джентльменов, развалившихся в старомодных креслах, откинутых на задних ножках спинками к стене. Обычно эти джентльмены спят, но иногда вступают в разговор между собой. Их голоса, сильно напоминающие храп, отличаются тем отсутствием энергии, которое свойственно обитателям богаделен

и прочим человеческим существам, полностью зависящим от благотворителей, от пожизненной должности, словом, от чего угодно, только не от их личных усилий. Описанные старцы, сидящие, подобно Матфею,[12] у входа в таможню, но едва ли могущие рассчитывать на то, что их призовут к совершению апостольских деяний, и являются таможенными чиновниками.

Дальше, по левую руку от входной двери, расположена контора — комната размером пятнадцать на пятнадцать футов, с очень высоким потолком и тремя полукруглыми окнами; два из них выходят на упомянутую запустелую пристань, третье — на узкий переулок и прилегающую к нему часть Дарби-стрит. Из всех трех видны лавки бакалейщиков, такелажных мастеров, старьевщиков и мелких торговцев, у чьих дверей толпятся, смеясь и болтая, отставные моряки и разные сомнительные личности, неизбежные в любом портовом квартале. Грязные крашеные стены комнаты затянуты паутиной, а пол посыпан серым песком, чего в других местах уже давным-давно никто не делает; общая неопрятность этого святили-

[12] Примечания: 12

Матфей — апостол и евангелист. Согласно легенде, был сборщиком пошлин на Тивериадском озере, до тех пор пока Иисус не призвал его к апостольскому служению.

ща говорит о том, что туда почти нет доступа женскому полу с его магическими орудиями — веником и шваброй. Вся обстановка состоит из печи с огромным вытяжным колпаком, старой сосновой конторки, треногого табурета возле нее, нескольких необычайно ветхих, неустойчивых стульев с деревянными сиденьями и — весьма важная подробность — из библиотеки, то есть книжных полок, на которых стоят десятка четыре томов постановлений Конгресса и объемистых справочников о таможенных сборах. Сквозь потолок пропущена жестяная труба, через которую можно переговариваться с другими помещениями таможни. И вот, с полгода назад, в этой комнате ходил из угла в угол или сидел на высоком табурете, опершись локтем о стол и рассеянно просматривая утреннюю газету, тот самый человек, который когда-то приветствовал вас, дорогой читатель, на пороге своей уютной рабочей комнатки в Старой Усадьбе, куда так весело заглядывали сквозь ветви ив лучи клонящегося к западу солнца. Но если бы вы захотели повидать его в таможне сейчас, то напрасно справлялись бы о надзирателе — ставленнике демократов; метла преобразования вышвырнула его оттуда, и теперь новый, более достойный человек занима-

ет его место и получает его жалованье.

Хотя как в юности, так и в зрелые годы, мне случалось надолго уезжать из старого Салема, моего родного юрода, все же я сохраняю — или сохранял — к нему привязанность, силу которой мог по-настоящему осознать лишь когда не жил в нем. Что и говорить, плоская, унылая местность, застроенная преимущественно деревянными домами, в общем даже и не претендующими на архитектурные красоты, неправильная планировка, в которой нет ничего живописного или оригинального, лениво растянувшаяся по всему полуострову длинная и сонная улица, одним концом упирающаяся в городскую тюрьму и холм с виселицей, а другим в богадельню, — словом, весь внешний вид города, где я родился, может внушить не больше нежных чувств, чем доска с беспорядочно разбросанными шашками. И все же, хотя в других городах я неизменно был счастливее, к старому Салему у меня сохранилось чувство, которое, за неимением более точного слова, я принужден назвать привязанностью. Возможно, оно объясняется тем, что моя семья издавна пустила в эту почву глубокие корни. Почти два с четвертью столетия протекли с тех пор, как некий британец — первый из эмигрантов, чье

имя я ношу,[13] — появился в окруженном лесами глухом поселке, ставшем впоследствии городом. Там жили и умирали его потомки, смешивая свой земной прах с почвой, так что немалая ее доля стала сродни той бренной оболочке, в которой мне дано еще некоторое время ходить по салемским улицам. Таким образом, пристрастие, испытываемое мною, отчасти является бессознательной симпатией праха к праху. Немногие из моих земляков могут понять это, и оно, пожалуй, к лучшему, ибо частая перемена места, по-видимому, лишь совершенствует породу. Но есть для моей привязанности и некое моральное основание. Облик первого предка, которого семейные предания окружили неясным и сумрачным величием, жил в моем детском воображении с тех пор,

---

[13] Примечания: 13

…некий британец — первый из эмигрантов, чье имя я ношу… — предок автора Вильям Готорн (1607–1681), колониальный чиновник в Массачусетсе. Приехал в Америку в 1630 году вместе с упоминаемым в романе первым губернатором Массачусетса Джоном Уинтропом. С 1636 года и до самой смерти жил в Салеме, где занимал выдающееся положение в городской администрации, выполнял дипломатические и военные поручения. Был известен своей религиозной нетерпимостью, которую воспринял и сын его Джон Готорн, судья в Салеме, участник пресловутых «ведовских» процессов. Проклятие, посланное Джону Готорну одной из жертв такого изуверского суда, было воспринято суеверными горожанами как источник многих бедствий, постигших семью Готорнов. Мотив подобного проклятия использован Натаниелем Готорном в романе «Дом о семи фронтонах».

как я себя помню. Он до сих пор преследует меня, и я испытываю к прошлому этого города некое влечение, которое отнюдь не распространяется на его настоящее. Мне чудится, что своим правом проживать в Салеме я обязан не столько самому себе, чьего лица почти никто не помнит, а имени не знает, сколько этому непреклонному, бородатому, одетому в черный плащ и островерхую шляпу прародителю, который так давно появился здесь с библией в одной руке и шпагой в другой, так торжественно выступал по только что проложенной улице и был такой заметной фигурой в дни мира и войны. Он правил церковными делами и сочетал в себе воина, законодателя, судью. Все, достоинства пуритан[14] переплетались в нем со всеми их недостатками. Подобно им всем,

[14] Примечания: 14

Пуритане — сторонники религиозной реформации в Англии. Составляли основную опору английской революции XVII века. Подвергшись преследованиям у себя на родине, многие пуритане эмигрировали в Америку. Их поселения в Плимуте, Массачусетсе и других местах на северо-востоке страны положили основание Новой Англии. Здесь пуритане создали особое общественное устройство, «теократию» («власть бога»), при котором духовенства руководило всей жизнью общины. Система взглядов пуритан определялась библией и характеризовалась вечным страхом перед карающим богом. Человек рассматривался как существо греховное от рождения. Его судьба была заранее предопределена — он подлежал вечному наказанию в аду. Однако американские пуритане полагали, что верующий может вступить с богом в своеобразное соглашение (так называемый «ковенант благодати»), по которому бог обязывался спасти человека от адских мук в обмен за искреннюю и пламенную веру. Чтобы доказать богу

подлинность своей веры, пуритане вели аскетический образ жизни, подчинялись всем указаниям своего духовенства, а также активно искореняли ереси и «врагов христовых» внутри городских поселений. Отсюда шли избиения квакеров, «ведовские процессы» и тяжелые кары за нарушение моральных норм поведения. Об одном из таких событий и рассказывает Готорн в романе «Алая буква».

он был фанатиком, и квакеры[15] в своих воспоминаниях свидетельствуют о его непомерной суровости к одной женщине из их секты, — суровости, которую, боюсь, будут помнить дольше, чем любое из его многочисленных благих деяний. Сын унаследовал от отца дух фанатизма и сыграл столь заметную роль в преследовании ведьм, что кровь их, можно сказать, оставила на нем несмываемое пятно, которое, должно быть, до сих пор можно разглядеть на его старых сухих костях, скрытых в земле Чартер-стритского кладбища, если только они не рассыпались окончательно в прах. Мне неизвестно, успели ли мои предки раскаяться в своей жестокости и выпросить себе прощение у неба или же они до сих пор стонут в ином мире под тяжестью ее последствий. Так или

[15] Примечания: 15

Квакеры — протестантская секта в Англии, созданная в середине XVII века Джорджем Фоксом. Фокс —,проповедник из ремесленников — считал, что «истина дана не в книгах, а в сердцах людей». Его посещали «видения», которые он ставил выше священного писания. Когда на него «находил дух божий», он в судорогах падал на землю (отсюда название «quaker» — «дрыгун», данное в насмешку его противниками). Объединившись в «Общество друзей», квакеры выросли в большую силу. Они отвергали религиозные догматы и обряды, считали, что главное — это благочестивая жизнь. Бог дает человеку внутреннее откровение, которое выше всей учености богословов и даже самой библии. Религия есть частное дело индивидуума, и государство не должно вмешиваться в вопросы веры. Это был последовательно проведенный принцип индивидуализма в вопросах религии, который вызывал резкое сопротивление в теократических американских общинах. Квакеры во главе с Вильямом Пенном в 1681 году основали в Америке свое собственное

поселение Пенсильванию. В других же американских поселениях они подвергались ожесточенным преследованиям. Готорн посвятил этой теме свою новеллу «Кроткий мальчик», в которой речь идет о гибели семьи квакеров, ставшей жертвой религиозного фанатизма.

иначе, я, пишущий эти строки, беру, в качестве их представителя, весь позор на себя и молю, чтобы отныне и вовеки на них не тяготело проклятие, хотя они его вполне заслужили, судя по тому, что нам известно о трудных и мрачных условиях существования тех давно минувших времень.

Однако эти строгие и угрюмые пуритане, несомненно, сочли бы вполне достаточным искуплением своих грехов то обстоятельство, что почтенный замшелый ствол их фамильного древа дал через столько лет на своей верхушке отросток в виде такого бездельника, как я. Цели, к которым я когда-либо стремился, показались бы им недостойными, а успехи — если в моей жизни, вне пределов домашнего круга, были какие-нибудь успехи — они сочли бы жалкими или даже постыдными. «Что он делает? — шепчет один седой призрак моего праотца другому. — Пишет романы! Что за занятие, что за способ прославлять творца или служить человечеству при жизни, и после кончины! Просто непостижимо! С не меньшим основанием этот выродок мог бы сделаться уличным музыкантом!» Такими комплиментами награждают меня через пропасть столетий мои предки! Но как бы они на меня ни гневались, свойства их сильных натур

проглядывают и в моем характере.

Тесно связанная с младенчеством и детством города этими ревностными и деятельными людьми, семья с тех пор жила здесь, сохраняя глубокую добропорядочность. Насколько мне известно, никогда ни один из ее членов не бросил на нее тени и вместе с тем не совершил — если не считать двух родоначальников — памятного или хотя бы приметного для его сограждан поступка. Напротив того, они постепенно начали исчезать из виду, как те старые дома на салемских улицах, которые до самых стрех уходят в землю, заносимые новыми слоями почвы. Почти сто лет все они, из поколения в поколение, были связаны с морем: седоголовый шкипер, отец семейства, возвращался из капитанской каюты к домашнему очагу, а его четырнадцатилетний сын занимал наследственное место на баке, грудью встречая соленую волну и шторм, которые неистовствовали так же, как во времена его деда и прадеда. Потом юноша, в свой черед, переходил с бака в капитанскую каюту и, бурно проведя свои лучшие годы в странствиях по свету, возвращался домой — стареть, умирать и смешивать свой прах с родной почвой. Эта длительная связь семьи с местом, где рождались и кончали свой

век все ее члены, создала между человеческими существами и городом какое-то сродство, не зависящее от привлекательности природы или жизненных условий. Тут дело не в любви, а в инстинкте. Если человек прибыл из других мест и даже если его отец или дед родились не в Салеме, он не может называться салемцем, ибо не имеет и представления об упрямой, поистине устричной привязанности старого поселенца, над которым ползет уже третье столетие, к месту, где, поколение за поколением, похоронены все его предки. Неважно, что город его не радует, что он устал от старых деревянных домов, грязи и пыли, от плоского пейзажа и плоских чувств, от леденящего восточного ветра и еще более леденящей атмосферы общественной жизни: все это, вместе с любыми недостатками, которые он видит или может себе представить, не имеет значения. Чары не исчезают и действуют так же сильно, как если бы родные места были земным раем. Так случилось и со мной. Словно какой-то высший долг повелевал мне обосноваться в Салеме, чтобы в течение положенного срока люди могли видеть и узнавать черты лица и характера, искони знакомые здесь всем, ибо стоило одному представителю лечь в могилу, как следующий,

подобно дозорному, уже шагал по главной улице. Но само это ощущение свидетельствует о том, что пора, наконец, порвать ставшую вредной связь. Не только картофель, но и человек мельчает, если в продолжение многих поколений сажать и пересаживать его в одну и ту же истощенную почву. Мои дети родились в других городах и, насколько это будет зависеть от меня, пустят корни в непривычной почве.

Лишь в силу этой непонятной, холодной и безрадостной привязанности я, распростившись со Старой Усадьбой, решил устроиться в кирпичном здании дяди Сэма, хотя с таким же или с большим успехом мог переехать куда угодно. Но рок тяготел надо мной. Я уезжал из Салема не раз и не два, уезжал, казалось, навеки, и все-таки возвращался, точно я был фальшивой монетой или Салем — могучим притягательным центром моей вселенной. И вот в одно прекрасное утро я поднялся по гранитным ступеням, имея в кармане назначение, подписанное президентом, и был представлен штату джентльменов, которые должны были помочь мне нести тяжкую ответственность, возложенную на меня обязанностями главного надзирателя таможни.

Полагаю — вернее, убежден, — что ни у одного

чиновника гражданского или военного ведомства Соединенных Штатов Америки не было в подчинении такого множества почтенных ветеранов, как у меня. Взглянув на них, я тотчас понял, где именно следует искать нашего старейшего гражданина. За последние двадцать лет независимость положения главного сборщика пошлин салемской таможни была такова, что ему удавалось уберечь свое учреждение от водоворота случайностей политической жизни, делающих судьбу всякого должностного лица столь шаткой. Воин — самый прославленный воин Новой Англии,[16] — он твердо стоял на пьедестале своих боевых заслуг и, охраняемый мудрой снисходительностью сменявших друг друга правительств, при которых ему пришлось служить, был щитом для подчиненных в часы нередких опасностей и тревог. Генерал Миллер был консервативен от природы. Привычка составляла основу его доброжелательной натуры. Он очень привязывался к людям, которых часто видел, и с трудом соглашался на перемены,

[16] Примечания: 16

Новая Англия — основной центр капиталистического развития США в описываемую эпоху. В настоящее время Новая Англия объединяет шесть северо-восточных штатов: Мэн, Ньго-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут.

даже когда они сулили несомненную пользу. Поэтому-то, вступив в должность, я увидел вокруг себя почти одних стариков. Большинство из них некогда были капитанами дальнего плавания и, избороздив множество морей, стойко выдержав житейские бури, причалили, наконец, к этой тихой гавани, где, не ведая никаких волнений, если не считать периодической паники перед президентскими выборами, получили как бы добавочный срок жизни. Не менее прочих смертных подверженные влиянию старости и болезней, они явно владели каким-то талисманом, державшим смерть на почтительном расстоянии. Несколько человек, страдавших, как меня заверили, подагрой, или ревматизмом, или просто старческой немощью, большую часть года даже и не появлялись в таможне; с окончанием зимней спячки они вылезали на майское или июньское солнышко и, апатично исполнив то, что называли своими обязанностями, снова, никого не спросясь, отправлялись в постель. Должен сознаться, что я грешен в сокращении срока таможенного существования нескольких престарелых слуг республики. По моему ходатайству им был предоставлен отдых от неусыпных трудов, и вскоре они отошли в лучший мир, так как рев-

ностное служение отчизне было, по-видимому, единственным смыслом их жизни. Я утешаюсь благочестивой мыслью, что вследствие моего вмешательства у них осталось достаточно времени, чтобы раскаяться в дурных и бессовестных делах, которых, по общему мнению, не может не совершать таможенный чиновник. Ни парадный, ни черный ход таможни не ведут в рай.

Большинство моих подчиненных были вигами.[17] Их почтенному братству повезло в том отношении, что новый надзиратель хотя и был в принципе искренним сторонником демократов,[18] однако вступил в свою должность и исполнял ее, не помышляя ни о каких политических целях. Если бы дело обстояло иначе, если бы на этот ответственный пост был назначен рьяный

---

[17] Примечания: 17

Виги — политическая партия, существовавшая в США в 1834–1854 годах. Представляла интересы банкиров и крупных промышленников Севера. Виги были политическими преемниками партии федералистов и предшественниками нынешней республиканской партии.

[18] Примечания: 18

Демократическая партия — основана Томасом Джефферсоном в 1828 году для борьбы против реакционной политики растущего класса капиталистов. В период, о котором пишет Готорн, когда еще не разгорелась борьба за отмену рабства негров в Южных штатах, в демократическую партию входили также широкие массы мелких фермеров и наемных рабочих Севера и Запада, которые по традиции считали ее «партией масс». Только в 1850-е годы, когда демократическая партия разоблачила себя как политическое орудие реакционных рабовладельцев Юга, массы отхлынули от нее, и она распалась на отдельные фракции. В

результате этого в 1860 году президентом был избран кандидат вновь образованной республиканской партии, противник рабства негров, Авраам Линкольн.

политик, который захотел бы вступить в борьбу с главным сборщиком — вигом, — это оказалось бы нетрудной задачей, так как недуги последнего не позволяли ему самолично управлять делами, — то вряд ли хоть одному из старичков удалось бы избежать служебной кончины через месяц после появления у входа в таможню вышеупомянутого ангела смерти. Согласно общепринятому в таких случаях кодексу поведения, рьяный политик счел бы своим долгом подвести под нож гильотины все эти седые головы. Нет сомнения, старики ждали от меня именно такой неучтивости. Больно и смешно было видеть, как при входе такого безобидного существа, как я, смертельно бледнеют морщинистые щеки, обветренные многими десятилетиями штормов, и слышать дрожь в голосе, который некогда так зычно орал в рупор, что мог бы устрашить самого Борея. Эти превосходные старцы понимали, что по установленным правилам и по непригодности — во всяком случае некоторых из них — к делу им пора уступить место людям помоложе, лучше разбирающимся в политике и более приспособленным к служению нашему общему дядюшке. Я тоже это понимал, но у меня не хватало мужества действовать согласно пониманию. Поэтому, к вящему моему стыду и к

великому ущербу для моей служебной совести, все время, пока я работал в таможне, они продолжали ковылять по пристани, с трудом одолевая таможенную лестницу. Немало времени тратили они и на сои в привычных углах, где стояли их откинутые к стене кресла и где, время от времени просыпаясь, они наводили друг на друга зевоту бесконечным повторением одних и тех же набивших оскомину морских историй и заплесневелых острот, которые стали у них паролем и отзывом.

Почтенные джентльмены, кажется, вскоре обнаружили, что новый надзиратель не слишком опасен. Поэтому с легким сердцем и счастливым сознанием, что приносят пользу если не нашей возлюбленной стране, то по крайней мере самим себе, они продолжали исполнять все мелочные формальности таможенной службы. Как глубокомысленно заглядывали они сквозь очки в корабельные трюмы! Какой великий шум поднимали из-за пустяков и с какой поразительной слепотой прозевывали большие партии грузов! Если случалась подобная неприятность, если, скажем, средь бела дня и под самыми их ничего не подозревающими носами на берег была контрабандой выгружена груда ценного товара, с какой бдительностью, с каким непревзойденным

прозорством они потом замыкали на двойной замок, и завязывали, и опечатывали двери во всех закоулках провинившегося корабля! Казалось, они достойны были не выговора за упущение, а похвалы за мудрую осмотрительность, благодарного признания их усердия и расторопности в ту минуту, когда зло уже совершилось и не было возможности его исправить!

Если люди не совсем уж дурны, то, по глупому свойству своего характера, я отношусь к ним доброжелательно. Обычно меня интересуют лучшие стороны человека — если они у него есть, — и по ним я составляю свое суждение о нем. Так как большинство этих старых таможенных чиновников не были лишены достоинств и так как я, можно сказать, занимал положение их отца и покровителя, что весьма способствует развитию дружеских чувств, то вскоре все они начали мне нравиться. В летние утра, когда палящий зной, прямо-таки расплавлявший людей, лишь слегка отогревал моих полузамерзших старичков, приятно было слышать их болтовню на площадке у задней двери, где они, как всегда, сидели рядышком в креслах, откинутых к стене, и застывшие шутки былых поколений оттаивали и пузырились вместе со смехом на их губах. Веселье

стариков внешне очень похоже на жизнерадостность детей. Тут нет места разуму или глубокому чувству юмора, это просто блики, скользящие по поверхности и озаряющие веселым солнечным светом равно и зеленую ветку и старый замшелый ствол. Но в одном случае это действительно солнечный свет, тогда как в другом — лишь слабая фосфоресценция гнилой древесины.

Было бы, однако, глубокой несправедливостью, если бы читатель счел всех моих достопочтенных друзей выжившими из ума стариками. Прежде всего, не все они были стары. Среди моих подчиненных попадались люди в расцвете сил и молодости, способные, деятельные, достойные куда более интересной и независимой жизни, чем та, на которую их обрекла несчастливая звезда. Кроме того, и седая голова оказывалась иногда обителью хорошо сохранившегося разума. Но в видах справедливости следует признать, что большинство моих ветеранов были скучнейшими старыми сморчками, не вынесшими из опыта долгой жизни ничего стоящего внимания. Они словно выбросили все золотые зерна жизненной мудрости, которые так обильно могли бы собрать, и старательно засорили память шелухой. Об утреннем завтраке, о вчерашнем, сегодняшнем

или завтрашнем обеде они рассказывали с куда большим интересом и увлечением, чем о кораблекрушении, случившемся полвека назад, или о каких-либо чудесах, виденных ими в юности.

Старейшиной таможни — патриархом не только среди немногочисленных салемских чиновников, но и, осмелюсь утверждать, среди всей многоуважаемой корпорации таможенных служащих Соединенных Штатов Америки — был некий несменяемый инспектор. Его поистине можно назвать законным отпрыском прочной, чтобы не сказать порочной, системы пошлин, поскольку отец инспектора, полковник революционных войск, а прежде — начальник портовой таможни, специально создал должность для сына и определил его на службу так давно, что людей, помнящих те времена, уже почти не осталось. Когда я познакомился с инспектором, ему было лет восемьдесят. Даже если потратить всю жизнь на поиски, едва ли удалось бы найти более замечательный образчик вечнозеленого растения. Глядя на цветущие инспекторские щеки, плотную фигуру в щеголеватой синей куртке с начищенными пуговицами, быструю молодцеватую походку, загорелое приветливое лицо, вы, конечно, не могли подумать, что он молод, но

вам невольно казалось, что мать природа создала в образе этого человека новый вид, не подверженный старости и болезням. Его голос и смех, перекатывавшиеся по всей таможне, не имели ничего общего с дрожащим старческим кудахтаньем и бормотанием: они вылетали из его легких точно кукареканье петуха или звук трубы. Если рассматривать инспектора как животное, — а рассматривать его иначе было трудно, — он производил великолепное впечатление здоровьем, цельностью, способностью наслаждаться в столь преклонном возрасте всеми или почти всеми радостями жизни, доступными его пониманию или знакомыми по опыту. Верный заработок и спокойное, обеспеченное существование в таможне, лишь изредка нарушаемое опасением лишиться места, безусловно способствовали тому, что время так милостиво обошлось с ним. Однако истинная и главная причина этого заключалась в редком совершенстве его животной натуры, не слишком обремененной разумом и лишь слегка сдобренной моральными и духовными ингредиентами. Последние качества были отпущены почтенному старцу в количестве только-только достаточном, чтобы он не ходил на четвереньках. Он не обладал ни силой

мысли, ни глубиной восприятия, ни неудобной чувствительностью, короче говоря, был наделен лишь несколькими обычными инстинктами, которые, в сочетании с благодушным характером — следствием физического здоровья, — очень хорошо, по общему мнению, заменяли ему сердце. Он был мужем трех жен, давно уже умерших, отцом двадцати детей, которые в младенческом или зрелом возрасте почти все также отошли в иной мир. Казалось бы, столь многочисленные несчастья могли омрачить траурной дымкой самую жизнерадостную натуру. Но не таков был наш инспектор! Один короткий вздох — и он сбрасывал с плеч бремя этих воспоминаний. В следующий миг он уже радовался жизни, словно несмышленый младенец, радовался так, как не мог бы радоваться и самый младший из таможенных клерков, который в свои девятнадцать лет был и взрослее и серьезнее инспектора. Я наблюдал за этим патриархом и изучал его с большим, пожалуй, интересом, чем остальных представителей рода человеческого, собранных в таможне. Поистине, он был редкостным экземпляром — столь же совершенным с одной стороны, сколь расплывчатым, пошлым, бессодержательным и ничтожным — со всех остальных. Я пришел

к выводу, что у него нет ни души, ни ума, ни сердца, — словом, как я уже говорил, ничего, кроме инстинктов. При этом немногочисленные материалы, из которых складывался его характер, были так искусно соединены между собой, что не создавали неприятного впечатления скудоумия, — напротив, меня во всяком случае инспектор вполне удовлетворял. Было нелегко, вернее невозможно, представить себе такого земного и чувственного человека в загробной жизни. Но если предположить, что существование инспектора должно было окончиться вместе с его последним вздохом, оно обладало известной прелестью: моральной ответственности столько же, сколько у живот-лого, способностей наслаждаться больше и такое же блаженное неведенье тоски и ужаса старости.

Но в чем он имел огромное преимущество перед своими четвероногими собратьями, так это в способности помнить все вкусные обеды, съеденные им в течение жизни и доставившие ему немало счастья. Гурманство было чрезвычайно приятной его чертой, и рассказы инспектора о ростбифе возбуждали аппетит не хуже, чем пикули или устрицы. Так как других столь же привлекательных качеств в нем не наблюдалось

и, сосредоточив всю свою энергию и изобретательность на радостях желудка, он не зарыл в землю и не уничтожил никаких иных талантов, я всегда с удовольствием и признательностью слушал его разглагольствования по поводу рыбы, курятины, говядины и лучших способов их приготовления. Внимая воспоминаниям инспектора о вкусном обеде, которым его некогда угощали, слушатель вдыхал аромат свинины или индейки. Нёбо этого человека сохранило ощущения, испытанные лет семьдесят назад, такими же свежими, как вкус баранины, которую он только что съел за завтраком. Я видел, как он облизывал губы, припоминая пирушки, все участники которых, если не считать его самого, давно уже служили пищей червям. Было необычайно любопытно наблюдать, как перед его мысленным взором непрерывно возникали видения испробованных когда-то блюд — не гневные, не грозящие местью, но словно благодарные за то, что он в былые годы их оценил, и призывающие отречься от нескончаемых наслаждений, одновременно и чувственных и призрачных. Он помнил нежное говяжье филе, телячью ножку, свиную котлету, лакомого цыпленка или особенно аппетитную индейку, которые украшали его стол в незапа-

мятные Бремена, между тем как все важные для человечества события и все происшествия, озарявшие или омрачавшие его собственную жизнь, пролетали над ним, оставляя не больше следов, чем легкий ветерок. Насколько я могу судить, самой большой трагедией старика была неудача с неким гусем, жившим и умершим лет тридцать — сорок назад, гусем, который необычайно много обещал с виду, но на столе оказался до того несокрушимым, что делить его останки на части пришлось не ножом, а топором и пилой.

Однако пора кончать этот портрет, хотя я с удовольствием продолжал бы его рисовать, потому что из всех встреченных мною в жизни людей никто так не подходил к роли таможенного служащего, как инспектор. По причинам, о которых сейчас нет возможности распространяться, служащие таможни благодаря особенностям своей работы обычно теряют многие из своих добродетелей. Инспектор был неспособен на это, и продолжай он работать там до скончания веков, в нем не произошло бы никаких перемен и он садился бы за очередную трапезу с тем же неизменным аппетитом.

Есть еще один человек, без описания которого в моей галерее портретов таможенных чинов-

ников оказался бы непонятный пробел. Но так как у меня было сравнительно мало случаев для наблюдения, мне придется ограничиться самыми беглыми контурами. Я говорю о нашем главном сборщике, доблестном генерале, который после блестящей службы в армии и последующего управления одной из территорий Дикого Запада приехал лет за двадцать до описываемого времени в Салем доживать там свою безупречную и полную событий жизнь. Бравому солдату было уже около семидесяти лет, и остаток жизненного пути он преодолевал, обремененный недугами, которых не могла облегчить даже бодрящая музыка воинственных воспоминаний. Тот, кто некогда первым бросался в битву, теперь едва передвигал ноги. Тяжело опираясь одной рукой на плечо слуги, а другой — на железные перила, он с бесконечными усилиями поднимался по лестнице таможни и медленно добредал до привычного кресла у камина. Там он сидел, глядя с какой-то застывшей благожелательностью на проходивших мимо людей. Шорох бумаг, брань, деловые разговоры, болтовня — весь этот шум и суета, казалось, лишь скользили по поверхности его сознания, не проникая в глубину. Лицо генерала в минуту покоя выражало доброту и мягкость.

Когда к нему обращались, в его глазах мелькал учтивый интерес, говоривший о том, что в душе нашего главного сборщика продолжает гореть свет разума и лишь некая внешняя преграда мешает лучам пробиться наружу. Чем ближе вы знакомились с внутренним миром старого зоина, тем более разумным он вам казался. Если генералу не нужно было говорить или слушать, — а то и другое явно очень утомляло старика, — на его лице вскоре вновь появлялось выражение безмятежного покоя. Встретиться с его взглядом не было неприятно, так как, хотя глаза и потускнели, в них никто не подметил бы старческого слабоумия. Основа некогда сильной и устойчивой натуры все еще оставалась невредимой.

Но понять и определить его характер в этих неблагоприятных условиях было делом столь же трудным, как по виду серых, беспорядочных развалин вычертить и заново отстроить в воображении старую крепость, например Тикондерога.[19] Возможно, кое-где ее валы не пострадали, зато в других местах они лежат бесформенной грудой, осевшей под собственной

[19] Примечания: 19

Тикондерога — старая крепость и небольшое селение, расположенное между двумя озерами Джордж и Чемплэйн. В период войны за независимость США эта крепость была ареной кровопролитных боев.

тяжестью и поросшей за долгие годы небрежения и мира травой и сорняками.

Хотя я мало общался со старым генералом, но, приглядываясь к нему с любовью, — ибо мои чувства, подобно чувствам всех окружавших его двуногих и четвероногих, вполне могут быть названы этим словом, — я все же рассмотрел основные черты его характера. Они были отмечены печатью доблести и благородства, свидетельствовавшей о том, что своей известностью он обязан не случаю, а справедливости. Думаю, что он никогда не отличался кипучей энергией. Вероятно, всю жизнь он нуждался в каком-нибудь толчке извне, чтобы начать действовать, но уж раз начав, да еще если впереди лежали препятствия и достойная цель, он ни перед чем не отступал и не знал поражений. Душевный жар, отличавший его и все еще не остывший, не давал ярких вспышек, не рассыпался искрами; скорее это было ровное красное свечение раскаленного в печи железа. Значительность, твердость, стойкость — такое впечатление он производил, когда ничто его не тревожило, и это — невзирая на безвременное увядание, о котором я говорил. Но и тогда я допускал, что под влиянием какого-нибудь глубоко проникшего в душу волнения, поднятый зовом

горна, достаточно громким, чтобы разбудить дремавшие, но не угасшие силы, он мог бы сбросить свою немощь, словно больничный халат, и, сменив посох старости на шпагу, снова стать воином. И в столь напряженный момент он по-прежнему остался бы невозмутимым. Однако подобная картина была лишь плодом воображения, а не предвидением или пожеланием. На самом же деле, подобно тому как я своими глазами видел остатки несокрушимых валов старой крепости Тикондерога, упомянутой выше в качестве наиболее точного уподобления, так и в генерале Миллере я отчетливо различал непреклонную и стойкую твердость, доходившую, вероятно, в более молодые годы до упрямства; цельность, вытекавшую, как и большинство его достоинств, из некоторой душевной тяжеловесности и столь же неподатливую, как глыба железной руды; доброжелательность, которая, несмотря на неистовство, проявленное в штыковой атаке при реке Чиппева или у форта Эри,[20] была не менее искренней, чем доброжелательность некоторых или всех вместе взятых сомнительных филантропов нашего времени. Мне известно, что он

[20] Примечания: 20

Чипаева, форт Эри — места боев в англо-американской войне 1812–1814 годов.

своими руками убивал людей. Да, они падали под натиском, воодушевленным его победоносной энергией, как травинки под взмахом косы, но при этом у него не хватило бы жестокости даже на то, чтобы сдуть пыльцу с крыла бабочки. Я не знаю человека, к чьей врожденной доброте я мог бы обратиться с большим доверием.

Многие характерные штрихи, в том числе и немаловажные для того, чтобы зарисовка вышла похожей, исчезли или поблекли задолго до моего знакомства с генералом. Обычно раньше всего мы утрачиваем черты внешней привлекательности, тем более что человеческие развалины природа никогда не украшает новыми прекрасными цветами, подобными вьющимся растениям, которые покрывают стены разрушенной крепости Тикондерога и находят себе пропитание в расселинах и трещинах камней. Но в старом генерале сохранились даже следы былой красоты и изящества. Порою луч веселья пробивался сквозь мутную преграду дряхлости и ласково скользил по нашим лицам. Любовь к прекрасному, редко встречающаяся у мужчин, уже достигших зрелого возраста, сказывалась в пристрастии генерала к цветам, к их аромату. Казалось бы, старый воин может ценить только кровавые лавры на своем

челе; между тем генерал Миллер проявлял совершенно девичью нежность ко всему цветочному племени.

Целыми днями доблестный старый генерал сидел у камина, а надзиратель любил стоять в отдалении и наблюдать за спокойным, даже сонным лицом старика, по возможности не ставя перед собой сложной задачи вовлечь его в беседу. Казалось, он не с нами, несмотря на то, что мы видели его в нескольких шагах от себя; далек, хотя мы проходили мимо кресла, где он сидел; недостижим, хотя мы могли протянуть руку и коснуться его. Вероятно, собственные мысли были для него большей реальностью, чем столь чуждая ему обстановка таможенной конторы. Движение войск на параде, шум битвы, старинный героический марш, слышанный тридцать лет назад, — все эти сцены и звуки, быть может, возникали в его сознании, в то время как мимо него взад и вперед сновали купцы, ловкие клерки и неотесанные матросы. Вокруг генерала не смолкало жужжание суетливой торговой и таможенной жизни, но он, казалось, не имел ни малейшего отношения ни к этим людям, ни к их делам. Он был среди них так же неуместен, как была бы неуместна на столе главного сборщика,

среди чернильниц, деревянных линеек и папок для бумаг, старая шпага, покрытая ржавчиной, но все еще поблескивающая клинком, который некогда сверкал в первых рядах сражающихся войск.

Один штрих особенно помог мне восстановить, воссоздать образ стойкого воина, охранявшего границу у Ниагары, человека, наделенного истинным и скромным мужеством. Речь идет о его памятных словах: «Я попытаюсь, сэр!» — сказанных перед отчаянной и героической вылазкой и проникнутых духом отважных сынов Новой Англии, которые понимали, что такое опасность, и смело шли ей навстречу. Если бы в нашей стране было принято награждать храбрость геральдическими отличиями, лучшим девизом для герба генерала послужила бы эта фраза, которую было как будто так легко сказать, но, — зная, что ему предстоит столь трудное и славное дело, — сумел сказать лишь он один.

Для душевного и умственного равновесия человека весьма полезно постоянное общение с людьми, совсем не похожими на него и не разделяющими его стремлений, с людьми, чьи интересы и способности он в состоянии оценить лишь отвлекшись от себя. Обстоятельства моей

жизни часто давали мне эту возможность, но особенно голно и разнообразно я воспользовался ею во время работы в таможне. Там встретился мне человек, наблюдение за которым изменило мое представление о том, что такое талант. Он в исключительной степени обладал качествами, необходимыми деловому человеку, то есть живым, острым, ясным умом, умением разбираться в самых запутанных вопросах и способностью так все устраивать, что трудности исчезали, словно по мановению волшебной палочки. Таможня, где он работал с юношеских лет, была точно создана для него; все хитроумные тонкости дела, приводившие в отчаяние непосвященного, представали перед ним как части хорошо слаженной и совершенно четкой системы. Мне он казался идеалом человека определенного типа. Он, так сказать, олицетворял собой таможню или во всяком случае был главной пружиной, не дававшей ее разнообразным колесикам остановиться, ибо в учреждении, куда людей большей частью набирают для их выгоды и удобства, а не для пользы дела, служащим поневоле приходится прибегать к чьей-то сообразительности, раз у них самих она отсутствует. Поэтому вполне закономерно, что, как магнит притягивает железные опилки,

так и наш деловой человек притягивал к себе все затруднения, с которыми мы сталкивались.

С милой снисходительностью и добродушной терпимостью к нашей тупости, которая ему, с его складом ума, должна была казаться почти преступной, он тотчас, одним легчайшим прикосновением, превращал все самое непонятное в ясное как день. Купцы отдавали ему не меньшую дань уважения, чем мы, его собратья, посвященные в тайны ремесла. Он был безукоризненно честен, скорее по самой своей природе, чем по доброй воле или из принципа; человек, наделенный таким четким и упорядоченным умом, мог вести дела лишь самым аккуратным и добросовестным образом. Пятно на совести, — насколько его профессия имела отношение к совести, — тревожило бы его так же, только в значительно большей степени, как ошибка в балансе или клякса на чистой странице счетной книги. Короче говоря, я встретил — редкий случай в моей жизни — человека, полностью соответствовавшего своему положению.

Таковы были некоторые из людей, с которыми я оказался связанным. Я не роптал на провидение за то, что мне пришлось вести жизнь, столь далекую от прежних моих привычек, и честно

старался извлечь из нее возможную пользу. После того как я строил несбыточные планы и трудился с мечтателями из Брук Фарм;[21] после трех лет жизни, проведенных под тонким воздействием такого интеллекта, как Эмерсон;[22] после дней беззаботной свободы, дней на Ассабете,[23] когда, сидя у костра из валежника, мы вместе с Эллери Чаннингом[24] придумывали фантастические теории; после бесед с Торо[25] в его уолденском уединении о соснах и индейских реликвиях; после того как восхищение Хиллардом[26] и его утонченной классической культурой изощрило мой собственный вкус; после того как у очага Лонгфелло[27] я проникся поэзией, — после всего этого пришло, наконец, время проявить другие свойства моего характера и приняться за пищу,

---

[21] Примечания: 21

Брук Фарм — «образовательная и сельскохозяйственная ассоциация», организованная в 1840 году Джорджем Рипли, видным участником «Трансцендентального клуба». Должна была служить практическим опытом социального переустройства общества в соответствии с принципами утопического социализма Фурье, — «заменить систему эгоистической конкуренции системой братской кооперации». Насчитывала до 100 участников. Издавала собственный журнал «Харбинджер» («Предвестник»). В 1847 году распалась вследствие материальных затруднений.

[22] Примечания: 22

Эмерсон, Ральф Уолдо (1803–1882) — видный американский писатель и философ, глава литературной организации «трансценденталистов». Автор книг «Опыты» (1841) и «Представители человечества» (1850). Боролся за освобождение негров и за предоставление избирательных

прав женщинам. Его противоречивая идеалистическая философия содержала романтическую критику капитализма и призыв к индивидуальному самоусовершенствованию.
(См. также вступительную статью к настоящей книге.)

[23] Примечания: 23

Ассабет — небольшая река в штате Массачусетс.

[24] Примечания: 24

Чаннинг, Вильям Эллери (1780–1842) — друг Готорна, один из лидеров «унитарианской» церкви США, которая призвана была реформировать традиционный кальвинизм пуритан. Проповедовал уничтожение социального неравенства и борьбу против захватниче ских несправедливых войн.

[25] Примечания: 25

Торо, Генри Дэвид (1817–1862) — американский писатель, друг Эмерсона и Готорна. Пытался практически осуществить опыт жизни «вне цивилизованного общества», уединившись на лоне природы, на берегу пруда Уолден в Конкорде. Книга Торо «Уолден», описывающая его жизнь в этот период, полна острой социальной критики и представляет собой классическое произведение американской литературы.

[26] Примечания: 26

Хиллард, Джордж Стилмен (1308–1879) — американский писатель и политический деятель. Издавал ряд журналов и был известен как превосходный лектор по вопросам литературы.

[27] Примечания: 27

Лонгфелло, Генри Уодсуорт (1807–1882) — американский поэт, автор известной «Песни о Гайавате» (1855), написанной на материале индейских народных песен. Учился вместе с Готорном в Боудойнском колледже и всю жизнь оставался его другом.

к которой раньше я почти не имел охоты. Даже старый инспектор был пригоден в качестве нового блюда для человека, общавшегося с Олькотом.[28] Мне казалось, что если я, знававший таких собеседников, мог теперь общаться с людьми, совершенно отличными от них, и притом нисколько не жаловаться на перемену, значит у меня в общем хорошо уравновешенная натура, обладающая всеми основными свойствами, присущими здоровому человеку.

Литература, ее цели и связанный с нею напряженный труд перестали меня занимать. Книгами в тот период я не интересовался: они меня не трогали. Природа, — за исключением человеческой природы, — та природа, к которой мы относим небо и землю, была мне в каком-то смысле недоступна. Я утратил способность к игре воображения, к одухотворенному наслаждению ею. Дар творчества, наклонность к нему если не исчезли, то замерли и не проявляли признаков жизни. Это было бы печально, несказанно тяжко, не сознавай я, что в моей власти восстановить

[28] Примечания: 28

Олькот, Амос (1799–1888) — американский прогрессивный педагог, требовавший гармонического воспитания ребенка, как физического, так и умственного. Был близок к кружку Эмерсона. Основал вегетарианскую сельскохозяйственную колонию «Фрут-ленд».

все, что было во мне когда-то действительно ценного. Я допускал, конечно, что нельзя безнаказанно жить такой жизнью слишком долго; она могла бы совершенно изменить меня, не превратив при этом в человека, которым стоило бы стать. Но я всегда считал свой новый образ жизни временным. Какой-то пророческий инстинкт нашептывал мне, что в недалеком будущем, как только перемена жизненных условий станет необходимой для моего блага, такая перемена произойдет.

А пока что я был таможенным надзирателем и, насколько я мог судить, не таким уж плохим. Человек, у которого работают мысль, чувство и воображение (пусть в десятикратном размере против того, что отпущено упомянутому таможенному надзирателю), может в любое время стать деловым человеком, если только он того пожелает. Мои товарищи по службе, капитаны и купцы смотрели на меня именно как на делового человека и, возможно, даже не знали о другом моем занятии.

Полагаю, что никто из них не прочел ни одной сочиненной мною страницы, а если бы даже они прочли все подряд, то не стали бы ценить меня ни на грош дороже. Ничего не изменилось бы, ес-

ли бы эти бесполезные страницы принадлежали перу Бернса[29] или Чосера,[30] которые, подобно мне, были в свое время таможенными чиновниками. Для человека, мечтающего о литературной славе и завоевании с помощью пера места среди знаменитостей мира сего, будет весьма полезным, хотя и жестоким уроком выйти из узкого круга, где он пользуется признанием, и убедиться, насколько за этими пределами лишено значения все, что он делает и к чему стремится. Думаю, что я не очень нуждался в таком уроке, ни в порядке предостережения, ни в порядке обуздания, но так или иначе я получил его сполна, и мне приятно вспомнить, что когда я постиг содержавшуюся в нем истину, то не старался, вздыхая, забыть о ней и совсем не испытал боли. Что же касается литературных разговоров, то в таможне был один чиновник, милейший человек, поступивший

[29] Примечания: 29

Бернс, Роберт (1759–1796) — шотландский народный поэт. С 1791 года работал акцизным чиновником в городе Дамфрисе. Так же, как и Готорн, тяготился своей прозаической службой и однажды чуть не потерял место, купив на аукционе пушки с захваченного им контрабандистского судна и отправив их в дар французскому Конвенту.

[30] Примечания: 30

Чосер, Джеффри (1340–1400) — один из основоположников английской национальной литературы, создатель знаменитого сборника новелл «Кентерберийские рассказы». В период с 1374 по 1386 год Чосер служил в должности таможенного контролера при Лондонском порте.

одновременно со мной и уволенный чуть позже, который очень любил беседовать о Наполеоне и Шекспире. Младший клерк — юный джентльмен, порою исписывавший, если верить слухам, листки писчей бумаги со штампом дяди Сэма какими-то строчками, весьма смахивавшими с расстояния в несколько шагов на стихи, также нередко заговаривал со мной о книгах, считая, по-видимому, что я могу оказаться сведущим в этом вопросе. Других литературных связей у меня не было, и я в них не нуждался.

Не стремясь более к тому, чтобы титульные листы книг разносили по всему свету мое имя, я с улыбкой думал об известности иного рода, которую оно теперь приобрело. Таможенный маркировщик надписывал его черной краской по трафарету на ящиках с перцем, на корзинах с плодами орлянки, на сигарных ящиках и на тюках со всякими подлежащими обложению товарами, в знак того, что таможенный сбор за них уплачен и все формальности соблюдены. Расположившись в столь странной колеснице, славы, весть о моем существовании, — в той мере, в какой имя способно о чем-либо вещать, — отправлялась в места, где обо мне ничего не слыхали раньше и, надо надеяться, никогда не услышат впредь.

Но прошлое не умерло. Мысли, прежде казавшиеся столь значительными и деятельными, а теперь мирно почившие, все же изредка оживали. Одним из самых замечательных случаев, когда во мне проснулись привычки минувших дней, и был тот, который заставил меня, не нарушая законов литературного приличия, предложить публике этот очерк.

Во втором этаже здания таможни есть просторное помещение, стены которого, сложенные из кирпича, так и остались неоштукатуренными, а стропила — неподшитыми. В доме, построенном с широким размахом для нужд оживленного торгового порта, каким был когда-то Салем, и рассчитанном на дальнейшее его процветание, которому не суждено было осуществиться, оказалось больше площади, чем требуется тем, кто ныне работает в таможне. Поэтому помещение над конторой главного сборщика так и осталось неотделанным и словно продолжало ждать плотников и штукатуров, хотя с потемневших балок давно уже свесились гирлянды паутины. В стенной нише указанной комнаты один на другом стояли бочонки, набитые связками документов. Такие же связки во множестве усеивали пол. Больно было подумать о том, сколько дней, и

недель, и месяцев, и лет труда истрачено на эти заплесневелые бумаги, которые теперь только напрасно занимают место и валяются в забытом углу, где никто и никогда их не видит. Но ведь какие груды других рукописей, содержащих не скучные казенные формальности, а мысли изобретательных умов и горячие излияния глубоко чувствующих сердец, также погрузились в забвение, к тому же не сослужив своему времени даже такой службы, какую сослужили эти документы, и — что горше всего — не принеся тем, кто их писал, средств к безбедному существованию, которые добыли себе таможенные чиновники своими бесполезными бумажками! Впрочем, быть может, не совсем бесполезными, потому что они дают материал для истории города. Там можно найти и сведения о былой коммерции Салема и деловые письма его знаменитых купцов — старого Кинга Дарби, старого Билли Грея, старого Саймона Форрестера и многих других тогдашних магнатов, которые сумели накопить при жизни несметные богатства, начавшие таять, как только пудреные головы их владельцев скрылись в могилах. Там встречаются имена большинства родоначальников семейств, составляющих ныне салемскую знать, — безвестных

захудалых торговцев, выплывших на поверхность, как правило, куда позже революции,[31] и лишь потом добывших то, что их дети считают издавна упроченным положением.

Документы, связанные с эпохой, предшествовавшей революции, скудны: возможно, чиновники, бежавшие вместе с королевской армией из Бостона[32] в Галифакс,[33] увезли с собой все таможенные архивы. Я часто жалел об этом, ибо документы времен, скажем, протектората[34] должны были содержать сведения о людях, как забытых, так и оставивших след, и о старинных обычаях; они доставили бы мне не меньше удовольствия, чем наконечники индейских стрел, валявшиеся в поле возле Старой Усадьбы.

Но в один свободный от работы дождливый

---

[31] Примечания: 31

…куда позже революции… — Подразумевается революционная война американских колоний за независимость в 1775–1783 годах, приведшая к отпадению колоний от Англии и к образованию Соединенных Штатов Америки.

[32] Примечания: 32

Бостон — главный город штата Массачусетс. Одно из старейших пуританских поселений Новой Англии. В настоящее время крупный морской порт и промышленный центр.

[33] Примечания: 33

Галифакс — город в Канаде. Разбитые во время войны за независимость английские войска эвакуировались из Бостона в Галифакс 17 марта 1776 года.

[34] Примечания: 34

…Времен… протектората… — Эпоха, предшествующая войне за независимость США.

день я сделал довольно любопытное открытие. Перебирая связки этих ненужных бумаг и роясь в них; разворачивая один документ за другим; читая названия кораблей, давно утонувших в море или сгнивших на причалах, и имена купцов, забытые сейчас на бирже и еле видные на замшелых могильных плитах; глядя на все это с интересом, смешанным с печалью, усталостью и некоторой брезгливостью, как на труп некогда деятельного человека; пытаясь по этим иссохшим костям восстановить в воображении, разленившемся от бездеятельности, образ города в те более радостные для него дни, когда Индия была малоизвестной страной и лишь салемцы знали туда дорогу, — я случайно взял в руки небольшой пакет, завернутый в кусок старого пожелтевшего пергамента. Обертка имела вид официального документа тех давних времен, когда клерки покрывали своим чопорным прямым почерком листы поплотнее нынешних. Было в этом пакете что-то, вызвавшее во мне неосознанное любопытство; выцветшую красную тесьму на нем я разорвал с таким чувством, словно на свет божий должно было появиться сокровище. Развернув жесткую пергаментную оболочку, я обнаружил, что это — скрепленный печатью и подписью

генерала Шерли документ о назначении некоего Джонатана Пью надзирателем таможни его величества в порте Салем округа Массачусетс.[35] Я вспомнил, что читал сообщение — вероятно, в фелтовских анналах[36] восьмидесятилетней давности — о кончине таможенного надзирателя, мистера Пью, а затем — уже в современной газете — заметку об извлечении его останков с маленького кладбища при церкви св. Петра во время реставрации последней. Если память мне не изменяет, от моего почтенного предшественника уцелели только подпорченный скелет, клочки одежды и величаво завитой парик, отменно сохранившийся, в отличие от головы, которую он некогда украшал. Рассматривая бумаги мистера Пью, для которых упомянутый документ

---

[35] Примечания: 35

Массачусетс — штат на северо-востоке США, на территории которого находятся Бостон и Салем. Одна из первых американских колоний. В 1630 году корабль «Арабелла» привез сюда из Саутхемптона первых поселенцев, которые основали здесь пуританскую теократическую общину. Несколько раньше «отцы-пилигримы», прибыв на корабле «Майский цветок», основали пуританскую колонию в Новом Плимуте.

[36] Примечания: 36

…в фелтовских анналах… — Фелт, Джозеф Барлоу (1789–1869) — выдающийся краевед Новой Англии и страстный любитель старинных рукописей. Был президентом Историко-генеалогического общества Новой Англии и автором капитального труда «История церкви в Новой Англии» (1851–1862). «Салемские анналы», о которых упоминает Готорн, вышли первым изданием в 1827 году, а затем — расширенным

изданием в двух томах — в 1845–1859 годах.

послужил конвертом, я нашел, что в них заключалось куда больше следов умственной жизни и мыслительных процессов этого почтенного джентльмена, нежели черепных костей — в его завитом парике.

Короче говоря, это были бумаги не официальные, а частные или по крайней мере написанные таможенным надзирателем как частным лицом, и притом, по-видимому, собственноручно. Их присутствие в связках ненужных таможенных бумаг я могу объяснить лишь внезапной смертью мистера Пью и тем, что, хранимые, возможно, в рабочем столе, они не попали в руки наследников или же были сочтены служебными документами. При пересылке архивов в Галифакс пакет, как не относящийся к официальным документам, был оставлен в салемской таможне, и с тех пор к нему никто не прикасался.

Покойный надзиратель, не слишком, полагаю, утруждаемый в те давние дни делами таможни, посвящал часть своего немалого досуга собиранию материалов по истории города и прочим подобным занятиям. Это давало некоторую работу мозгу, который иначе покрылся бы плесенью. Между прочим, кое-какие из собранных им фактов помогли мне при подготовке включенного

в этот том очерка,[37] озаглавленного «Главная улица». Остальные факты можно будет позднее использовать для столь же полезных произведений; не исключено даже, что они лягут в основу систематической истории Салема, если моя любовь к родному городу подвигнет меня на столь благочестивый труд. А покамест я готов предоставить все эти материалы любому джентльмену, склонному и способному избавить меня от этой маловыгодной работы. В дальнейшем я собираюсь передать их Эссекскому историческому обществу.

Больше всего в таинственном пакете привлек мое внимание лоскут тонкой красной материи, очень изношенной и выцветшей. На нем виднелись остатки золотой вышивки, сильно стертой, обтрепанной и почти совсем потерявшей блеск. Однако не вызывало сомнения, что сделана она была с необычайным мастерством: стежки́ (как меня заверили дамы, посвященные в такого рода тайны) говорили об искусстве, уже забытом, сек-

---

[37] Примечания: 37

...включенного в этот том очерка... — В томе, куда вошел роман «Алая буква», Готорн первоначально собирался опубликовать также несколько новелл и скетчей. Этот замысел, однако, не был осуществлен. Роман вышел отдельным изданием. «Главная улица» была написана Готорном в 1849 году и опубликована в изданных его свояченицей Элизабет Пибоди «Эстетических записках». Позднее она вошла в сборник «Снегурочка и другие рассказы» (1851).

рет которого нельзя было раскрыть, даже если выдергивать нитку за ниткой. При внимательном рассмотрении оказалось, что эта алая тряпка — ибо время, износ и кощунственная моль превратили материю в тряпку — имела форму буквы: заглавной буквы «А». Тщательное измерение показало, что длина каждой наклонной палочки составляла в точности три с четвертью дюйма. Эта буква, несомненно, служила украшением для платья, но как её следовало носить и какой ранг, отличие, звание она некогда обозначала, казалось мне почти неразрешимой загадкой, ибо моды на подобные украшения весьма недолговечны в этом мире. Тем не менее старая алая буква вызывала во мне странный интерес. Глаза мои невольно устремлялись на нее и не могли оторваться. Конечно, в ней таился какой-то глубокий смысл, настойчиво требовавший объяснения. Словно источаемый буквой, он неуловимо воздействовал на чувства, но не поддавался анализу ума.

Находясь в таком недоумении и считая возможным, среди прочих гипотез, предположение, что буква могла относиться к числу тех ярких украшений, которые были придуманы белыми, чтобы привлекать глаза индейцев, я случайно

приложил ее к груди. Мне показалось, — читатель может посмеяться надо мной, но не должен усомниться в правдивости моих слов, — будто что-то почти физически обожгло меня; можно было подумать, что буква сделана не из красной материи, а из докрасна раскаленного железа. Я вздрогнул и невольно уронил ее на пол.

Увлекшись разглядыванием алой буквы, я вначале не обратил внимания на грязный бумажный сверточек, вокруг которого она была обмотана. Развернув его, я с удовлетворением обнаружил написанную рукой старого надзирателя довольно полную историю лоскута. Немногочисленные листки писчей бумаги содержали подробности жизни и кары за прелюбодеяние некоей Гестер Прин, которая, с точки зрения наших предков, была личностью не совсем обычной. Она жила в эпоху между началом заселения Массачусетса и концом семнадцатого века. Старики, которых мистер Пью еще застал в живых и с чьих слов записал свой рассказ, в юности видели ее старой, но отнюдь не дряхлой женщиной, статной и всегда серьезной. С незапамятных времен она считала своим долгом ходить из дома в дом по всей округе в качестве добровольной сиделки, оказывала соседям посильную помощь, а также

смело давала им советы во всех делах, особенно же в сердечных. Как неизменно бывает со всеми людьми таких склонностей, одни видели в ней ангела, другие же, надо думать, считали ее назойливой и докучной. Читая дальше рукопись, я узнал о других делах и страданиях этой необыкновенной женщины; большая часть ее истории изложена в повести «Алая буква». Не нужно забывать, что основные факты, приведенные в ней, подтверждены и заверены рукописью мистера Пью. Последняя вместе с алой буквой — этой любопытнейшей реликвией — все еще находится у меня и может быть предъявлена любому читателю, который захотел бы взглянуть на нее, заинтересовавшись описанными мною событиями. Не следует думать, что, излагая эту историю и стараясь объяснить поступки и чувства действующих лиц, я ограничивался лишь тем, что содержалось в немногих листках, исписанных моим предшественником. Напротив, я позволил себе тут полную свободу, словно все факты были мною вымышлены. Я настаиваю лишь на достоверности общих контуров.

Этот случай до некоторой степени снова направил мой ум по старому пути. Передо мной была заготовка повести. Я чувствовал себя так, словно

в пустующей комнате таможни встретился лицом к лицу со старым надзирателем, одетым по моде столетней давности и в бессмертном парике, впоследствии похороненном вместе с ним, но не истлевшем и в могиле. В осанке мистера Пью было достоинство человека, назначенного на должность самим королем, а следовательно, озаренного лучами, так ослепительно сиявшими вокруг трона. Увы, какая разница по сравнению с жалким видом чиновника республики, который, в качестве слуги народа, чувствует себя ничтожнее самого ничтожного, меньше самого малого из своих начальников! Неясная, но величественная фигура указывала призрачной рукой на алый знак и свернутую трубкой пояснительную записку. Призрачным голосом она требовала от меня, чтобы я, памятуя о священном долге сыновнего почтения, — ибо надзиратель мог считать себя моим прародителем по должности! — довел до публики найденные мною заплесневелые и траченые молью литературные упражнения. «Сделай это! — говорил призрак мистера Пью, взволнованно качая своей величественной головой в достопамятном парике. — Сделай, и пусть доход достанется тебе одному. Он скоро тебе понадобится, ибо твое время отличается от моего,

когда должность у человека была пожизненной, а иногда и наследственной. Но я требую, чтобы, занявшись историей старой миссис Прин, ты отдал законный долг памяти твоего предшественника». И я сказал призраку мистера Пью: «Хорошо!» Таким образом, я много думал о Гестер Прин. Я размышлял о ней, часами расхаживая по комнате или в сотый раз измеряя шагами длинный коридор, который вел от парадного входа в таможню к ее боковой двери. Как были недовольны весовщики, и приемщики, и старый инспектор, чью дремоту безжалостно нарушал неумолчный стук моих приближающихся и удаляющихся шагов! Они обычно говорили, по старой привычке, что надзиратель обходит шканцы. По-видимому, они считали, что мною владеет при этом лишь желание нагулять себе аппетит пред обедом; действительно, какое иное желание может заставить здравомыслящего человека добровольно ходить взад и вперед? И, по правде говоря, аппетит, усиленный ветром, который вечно дул в коридоре, был единственным ценным следствием столь неустанных упражнений. Так мало приспособлены нежные плоды воображения и чувствительности к воздуху таможни, что, останься я там еще на десяток новых

президентских сроков, вряд ли повесть «Алая буква» когда-либо предстала бы перед публикой. Моя фантазия стала похожа на потускневшее зеркало. Если она и отражала образы, которыми я старался ее населить, то какое это было смутное, неясное отражение! Жар, раздуваемый мною в горниле разума, не согревал, не делал пластичными героев повествования. Лишенные сверкания страстей и теплоты чувств, окоченевшие, как трупы, они смотрели на меня с застывшей холодной усмешкой, полной презрительного недоверия. Казалось, они говорили: «Что тебе нужно от нас? Если некогда у тебя и была власть над племенем нереальных существ, теперь ее нет. Ты променял ее на жалкие подачки из государственной казны. Ступай, отрабатывай свое жалованье!» Словом, эти полуживые создания, плоды моей фантазии, меня же называли глупцом — и не без основания.

Злосчастное оцепенение владело мною не только в течение тех трех с половиной часов моей каждодневной жизни, на которые претендовал дядя Сэм. Оно сопровождало меня на прогулках по берегу моря и в блужданиях по окрестностям, всегда и везде в те редкие дни, когда я заставлял себя искать вдохновляющего воздействия при-

роды, которое прежде сообщало моим мыслям свежесть и бодрость, стоило мне выйти за ворота Старой Усадьбы. Та же духовная апатия не покидала меня и дома, тяготея надо мной в комнате, столь неосновательно величаемой кабинетом. Она не разлучалась со мной даже поздней ночью, когда, сидя в опустелой гостиной, озаряемой только лунным светом да мерцанием углей в камине, я пытался мысленно нарисовать сцены, которые могли бы на следующий день превратиться на ослепительно чистом листе бумаги в многокрасочные описания.

Если и в эти часы воображение отказывается работать, случай следует признать безнадежным. Нет обстановки, более располагающей сочинителя романов к встрече со своими призрачными гостями, чем издавна знакомая комната, где лунные лучи заливают ковер таким белым сиянием, так явственно вырисовывают узор на нем, делают каждый предмет таким отчетливым и вместе с тем совсем иным, чем в утреннем или полуденном свете! Домашний уют привычно расставленных вещей; кресла, каждое со своей особой индивидуальностью; стол посередине с рабочей корзинкой, несколькими книгами и потушенной лампой; диван; книжный шкаф;

картина на стене, — все эти вещи, видимые во всех подробностях и одухотворенные необычным освещением, словно теряют материальность и становятся созданиями воображения. Меняются, обретая новое достоинство, самые мелкие, самые пустячные предметы. Детский башмачок, кукла, сидящая в плетеной колясочке, деревянная лошадка, — словом, все, чем пользовались или играли в течение дня, кажется теперь странным, отдаленным, хотя почти столь же живо ощутимым, как и при дневном свете. И вот пол в нашей привычной комнате становится нейтральной полосой, чем-то соединяющим реальный мир со страной чудес, где действительность и фантазия могут встретиться и слиться друг с другом. Появись здесь призраки, они не испугали бы нас. Если бы, оглянувшись, мы увидели давно исчезнувший любимый образ, неподвижно застывший в волшебном лунном свете, мы не удивились бы ему, настолько обстановка соответствует этому видению, и лишь задумались бы над тем, действительно ли он вернулся из далеких краев или никогда не покидал уголка возле нашего камина.

Угли, тускло мерцающие в камине, только усиливают описанное мною ощущение. Мягко

освещая комнату, они расцвечивают в красноватые тона стены и потолок и искрятся на полированной поверхности мебели. Смешиваясь с холодной одухотворенностью лунных лучей, этот теплый свет сообщает человеческую сердечность и нежную чувствительность созданиям воображения. Он превращает их из снежных человечков в мужчин и женщин. В призрачной глубине зеркала мы видим отблески дотлевающих углей, белые лунные лучи на полу, всю картину с пятнами света и тени, но еще менее реальную, еще более фантастическую. Так вот, если в такой час и в такой обстановке сидящий в одиночестве человек не может вообразить небывалые вещи и придать им достоверность, значит ему нечего браться за сочинение романов.

Но пока я работал в таможне, мне было безразлично, светит солнце или луна, или то угли мерцают в камине: польза от них была такая же, как от сальной свечи. Я перестал воспринимать целый ряд вещей, а вместе с восприимчивостью исчез и связанный с нею дар, не очень значительный или богатый, но самый для меня драгоценный.

Все же, мне думается, я не оказался бы таким тупым и несостоятельным, если бы попробовал

сочинять произведения другого рода. Можно было бы, например, удовольствоваться передачей историй одного из инспекторов, старого шкипера, о котором я обязан упомянуть хотя бы из простой благодарности, ибо не проходило дня, чтобы он не заставлял меня хохотать и восхищаться его талантом рассказчика. Сохрани я живописную яркость его стиля и юмористическую окраску, которую он умел придавать своим описаниям, в литературе, несомненно, появилось бы нечто совсем новое. Мог бы я взяться и за какую-либо более серьезную задачу. При бесцветности моего ежедневного существования, которое так назойливо давило на меня, было чистым безумием пытаться перенестись в иной век или во что бы то ни стало создавать из неосязаемых элементов подобие реального мира, когда воздушная красота моих мыльных пузырей ежеминутно погибала, сталкиваясь с действительностью. Куда разумнее было бы проникнуть мыслью и воображением сквозь плотную поверхность обыденности и тем самым придать ей прозрачность, одухотворить бремя, становившееся невыносимым, упорно искать истинные и нетленные ценности, скрытые в скучных происшествиях и заурядных характерах, с которыми я соприкасался. Виноват я сам. Мне

открылась страница жизни, которая казалась мне унылой и неинтересной потому лишь, что я не мог постигнуть скрытый в нем смысл. Передо мной была книга, такая прекрасная, какой мне никогда не написать. Улетающие часы писали ее, лист за листом, и представляли написанное моему взору, но оно немедленно исчезало по той лишь причине, что мысль моя была недостаточно проницательна, а рука — искусна, чтобы запечатлеть его на бумаге. Когда-нибудь я, возможно, вспомню отдельные куски, фрагменты, и запишу их, и увижу, как буквы на странице превращаются в золото.

Понимание этого пришло ко мне слишком поздно. В то время я чувствовал лишь, что былое наслаждение становится безнадежной тратой сил. Я не собирался особенно плакаться по этому поводу. Просто я прекратил бесплодные попытки и из автора довольно убогих рассказов и очерков превратился в довольно сносного таможенного надзирателя. Вот и все. Однако не очень приятно мучиться подозрением, что ваш разум хиреет или, незаметно для вас, испаряется, как эфир из склянки, что при каждом осмотре его оказывается все меньше и остаток уже не так летуч… Сомневаться в самом факте было невозможно,

и, размышляя о себе и о других, я приходил к выводу, что государственная служба не слишком благоприятно отражается на личности. Возможно, что когда-нибудь я разовью этот вывод в другой форме. Здесь же достаточно будет сказать, что чиновник, много лет работающий в таможне, не может быть лицом, достойным похвалы или уважения, по ряду причин: одна из них коренится в правовом принципе, в силу которого он сохраняет свое положение, другая — в самой сущности работы, вполне честной, с моей точки зрения, но отстраняющей его от общих усилий человечества.

Следствием работы в таможне, которое, мне кажется, можно проследить на всяком, кто служил там, является то обстоятельство, что чиновник, опирающийся на могучую руку республики, теряет свою собственную устойчивость. В степени, пропорциональной силе или слабости его натуры, он лишается способности поддерживать свое существование без посторонней помощи. Если он наделен незаурядной долей врожденной энергии или расслабляющее влияние службы не было слишком длительным, утраченная сила может восстановиться. Уволенный чиновник — счастливчик, которого бесцеремонный пинок

своевременно толкнул туда, где ему предстоит бороться совместно со всеми людьми, — может вновь обрести себя и стать тем, кем он когда-то был. Но такие случаи не часты. Обычно же он удерживает за собою место достаточно долго для того, чтобы окончательно ослабеть и потерять упругость мышц, а потом его выбрасывают на трудную тропу жизни и предоставляют самому себе. Чувствуя свою немощь, чувствуя, что в нем уже не осталось былой закаленности и гибкости, он горестно оглядывается вокруг, в поисках поддержки извне. Он твердо и нерушимо верит, что вот-вот благодаря удачному стечению обстоятельств его, наконец, снова возьмут на прежнее место; эта иллюзорная вера, закрывающая глаза на неустранимые препятствия, преследует человека весь остаток жизни, невзирая на все разочарования, и, думается мне, подобно холерной судороге, мучает его некоторое время даже после смерти. Такое упование более всего другого лишает шансов на успех всякое дело, за которое он надумал бы взяться. Чего ради человеку утруждать себя, стараясь выбраться из болота, если в скором времени сильная рука дяди Сэма вытащит и поддержит его? Чего ради трудиться здесь или добывать золото в Калифорнии, если

в недалеком будущем он снова будет счастлив, получая ежемесячно горку блестящих монет из дядиного кармана? Любопытно, хотя и печально наблюдать, как самой небольшой дозы государственной службы достаточно, чтобы несчастный человек заболел этой странной болезнью. Я не собираюсь быть непочтительным к дяде Сэму, но на золоте достойного старого джентльмена лежит иной раз такое же заклятие, как на сокровищах дьявола. Тот, кто прикасается к этим монетам, должен быть настороже, иначе договор обратится против него и он потеряет если не душу, то многие из лучших своих душевных качеств: решительность, смелость и постоянство, верность, умение полагаться на себя — словом, все, из чего складывается мужественный характер.

Нечего сказать, приятная перспектива! Не то чтобы надзиратель относил все это на свой счет и думал, что окончательно выйдет из строя и в том случае, если его оставят работать в таможне, и в том случае, если уволят. Но все же мои размышления были не самого веселого свойства. Я начал хандрить, терять спокойствие, все время копался в себе, стараясь определить, какие из моих скромных способностей исчезли и насколько разрушились те, что еще сохранились. Я пытался

рассчитать, сколько времени я еще могу оставаться в таможне и все-таки уйти оттуда, не потеряв окончательно человеческого облика. Поскольку выгнать такое безобидное существо, как я, было бы неполитично, а чиновник, сам подающий в отставку, — явление противоестественное, больше всего, по правде говоря, меня пугала опасность — поседев и состарившись на работе в таможне, превратиться в животное, подобное старому инспектору. При скучном однообразии служебной жизни не случится ли со мной того же, что случилось с моим почтенным другом: не начну ли я ждать обеденного часа как главного события дня и не стану ли проводить остальное время подобно старому псу, дремлющему на солнце или в тени? Унылая перспектива для человека, который видит счастье в том, чтобы полностью пользоваться всеми своими чувствами и способностями! Но моя тревога оказалась напрасной. Провидение позаботилось обо мне таким способом, какого я и представить себе не мог.

Знаменательным событием на третьем году моей бытности надзирателем, — говоря языком «П. П.», — было избрание президентом генерала Тэй-

лора.[38] Для полного понимания преимуществ государственной службы следует напомнить о том, что ожидает чиновника, когда приходит к власти правительство оппозиционной партии. Смертный человек не может оказаться в положении более сложном и во всяком случае более неуютном: благоприятный исход здесь почти невозможен, хотя то, что представляется пострадавшему наихудшей возможностью, нередко оказывается наилучшей. Человеку гордому и чувствительному весьма странно сознавать, что его благополучие — в руках людей, не любящих и не понимающих его, людей, от которых ему приятнее претерпеть обиду, чем принять знаки расположения, раз уж такая альтернатива неизбежна. Если он сохранял спокойствие во время выборной борьбы, то не менее странно ему наблюдать кровожадность торжествующих победителей, понимая, что одним из объектов этой кровожадности является он сам! В человеческом характере мало свойств более отвратительных, чем знакомая мне по самым обыкновенным людям способность становиться жестокими только потому, что им дана власть вредить. Если бы ги-

[38] Примечания: 38

Тэйлор, Захария (1784–1850 | — президент США от партии вигов в период 1849–1850 годов.

льотина в применении к служебной жизни была реальностью, а не просто на редкость подходящей метафорой, то, как я искренне убежден, активные деятели победившей партии в пылу возбуждения вполне могли бы поотрубать всем нам головы, возблагодарив небо за эту возможность! Мне, спокойному, любознательному наблюдателю и взлетов и падений, кажется, что многочисленные победы моей партии никогда не были отмечены столь злобным и свирепым духом вражды и мести, как тогдашняя победа вигов. Демократ вступает в должность отчасти потому, что она ему нужна, а отчасти потому, что такой шаг давно уже узаконен многолетней практикой. Роптать на подобную практику не было бы слабостью и трусостью лишь в том случае, если бы изменилась вся система. Долгая привычка к главенству сделала демократов великодушными. Они умеют щадить, если есть к тому возможность, а когда казнят, то, хотя лезвие их топора остро, оно почти никогда не бывает отравлено злорадством. Нет у них также позорной привычки пинать голову, которую они только что отсекли.

Короче говоря, несмотря на неприятность и затруднительность моего положения, я по многим причинам поздравлял себя с тем, что очутился

не среди победивших, а среди побежденных. Если раньше я был не слишком рьяным сторонником демократов, то теперь, в пору неудач и опасностей, для меня стало очевидным, на стороне какой партии мои симпатии, и, разумно учитывая все обстоятельства, я не без некоторого стыда и огорчения думал о том, что имею больше шансов удержаться на работе, чем любой из моих собратьев-демократов. Но кто из нас умеет видеть дальше собственного носа? Моя голова слетела первой!

Полагаю, что минута, когда человеку отрубают голову, редко бывает отраднейшей минутой его жизни. Тем не менее даже при такой крупной неприятности, как и при большинстве наших несчастий, можно найти лекарство и утешение, если, разумеется, потерпевший старается увидеть не худшую, а лучшую сторону случившегося. Что касается меня, то целебные средства были под рукой, и я, конечно, начал думать о них задолго до того, как пришлось к ним прибегнуть. Так как работа в таможне меня уже тяготила и я не раз помышлял об отставке, судьба моя несколько напоминала судьбу человека, который хочет покончить с собой, когда, сверх всяких ожиданий, на его долю выпадает удача и он оказывается

убитым. Как некогда в Старой Усадьбе, так и теперь в таможне, я провел три года, — срок достаточный, чтобы усталый мозг отдохнул; достаточный, чтобы старые интеллектуальные привычки сменились новыми; достаточный, слишком достаточный для того, чтобы переменить, наконец, неестественный образ жизни и занятия, не доставлявшие никому ни пользы, ни радости, и взяться за то, что могло бы по крайней мере утишить мою внутреннюю тревогу. Что же касается бесцеремонности увольнения, то бывший надзиратель скорее обрадовался тому, что виги причислили его к своим врагам, так как его политическая бездеятельность и склонность своевольно бродить по широкому, спокойному простору, куда есть доступ всему человечеству, избегая тех узких троп, где не пройти рядом даже родным братьям, заставляли порой и демократов сомневаться в том, действительно ли он — их друг. Теперь же, когда он заслужил венец мученичества (который, за неимением головы, не на что было надеть), этот вопрос можно было считать решенным. И пусть героизма тут было мало, все же надзирателю казалось куда почетнее пасть вместе с партией, с которой он был заодно, когда она была сильна, чем пережить многих

куда более достойных людей, остаться в одиночестве и, просуществовав четыре года по милости враждебной партии, потом заново выяснять свое положение и просить еще более унизительной милости от соратников.

Тем временем за мое дело ухватилась пресса, и в течение двух недель моя обезглавленная персона, напоминавшая ирвинговского всадника без головы,[39] влачилась по страницам всех газет, в прискорбном и мучительном ожидании скорейших похорон, подобающих каждому политическому мертвецу. Все это относится ко мне как к существу символическому, а как реальная личность я, благополучно сохранив голову на плечах, пришел к приятному выводу, что все в мире к лучшему, истратил целый капитал на чернила, бумагу и перья и, усевшись за давно покинутый письменный стол, вновь сделался литератором.

Вот тут-то и пригодились мне писания моего предшественника, мистера Пью. Понадобилось некоторое время, чтобы мой умственный механизм, заржавевший от долгого бездействия,

---

[39] Примечания: 39

...ирвинговского всадника без головы... — В новелле Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной лощине» один из героев гонится за своим перепуганным соперником, замаскировавшись «всадником без головы».

начал сколько-нибудь сносно работать над повестью. Потом мысли мои сосредоточились на ней, но все же она получилась у меня слишком сумрачной и суровой, не озаренной приветливыми солнечными лучами, не согретой привычным теплом нежности, которое смягчает почти все картины природы и человеческой жизни и уж во всяком случае должно смягчать их воспроизведение. Возможно, это отсутствие очарования объясняется эпохой, в которой происходит действие, — Революция только что закончилась, и кипение страстей еще не улеглось. Искать причину в невеселом расположении духа автора было бы неправильно, потому что со времен Старой Усадьбы он ни разу не был так счастлив, как в те часы, когда пробирался сквозь мглу этих бессолнечных вымыслов. Несколько вещей покороче, входящих в этот том, также были написаны после моего невольного ухода с хлопотливого и почетного поприща гражданской службы, а остальные произведения взяты из номеров ежегодных альманахов и ежемесячных журналов, где они были напечатаны так давно, что все о них давно запамятовали, и они словно заново

родились на свет.[40] Если продолжить метафору насчет гильотины, то весь том можно назвать «Посмертными сочинениями обезглавленного таможенного надзирателя»; что же касается очерка, который я в настоящую минуту заканчиваю, то он слишком автобиографичен, чтобы столь скромный человек, как я, решился опубликовать его при жизни, но вполне уместен, как произведение джентльмена, уже лежащего в могиле. Да снидет мир к вам всем! Я благословляю своих друзей! Я прощаю врагов! Ибо я пребываю в царстве покоя!

Таможня осталась позади, подобно сну. Старый инспектор, — кстати, к великому сожалению, его недавно сшибла с ног и убила лошадь, иначе он жил бы вечно, — а вместе с ним и остальные почтенные джентльмены, собиравшие пошлины, кажутся мне тенями — белоголовыми, морщинистыми призраками, которыми моя фантазия поиграла, а потом навеки перестала заниматься. Купцы — Пингри, Филлипс, Шепард, Эптон, Кимбал, Бертрам, Хэнт и многие другие, чьи имена полгода назад так привычно звучали для мое-

[40] Примечания: 40

Когда автор писал этот очерк, он собирался, вместе с «Алой буквой», напечатать несколько не столь длинных рассказов и набросков, но затем было решено, что разумнее отложить это намерение.

го уха, — эти коммерсанты, которые, казалось, играли такую важную роль в мире, — с какой быстротой они отошли от меня не только в действительности, но и в воспоминании! Даже эти немногие лица и фамилии я воссоздаю с трудом. Вскоре и мой родной старый город будет маячить передо мной сквозь дымку времени, окруженный туманной пеленой, словно он существует не на реальной земле, а витает где-то в облаках, и не живые, а воображаемые люди населяют его деревянные дома и ходят по его некрасивым переулкам и растянутой, неживописной Главной улице. Впредь он не будет реальностью моей жизни. Я теперь гражданин другого города. Мои добрые земляки не станут слишком сокрушаться обо мне, потому что, хотя я старался своим литературным трудом снискать их уважение в такой же мере, как и уважение других читателей, и хотел оставить по себе добрую память в том месте, где жили и умерли мои предки, — все же я там никогда не чувствовал сердечного понимания, необходимого писателю, чтобы его разум мог принести обильный урожай. Мне будет лучше среди других людей, а эти, столь знакомые, само собой разумеется, легко обойдутся без меня.

Однако может случиться — о, окрыляющая,

радостная мысль! — что правнуки моих современников тепло подумают и о писаке прошедших дней, когда археолог дней грядущих среди других мест, памятных в истории города, будет показывать им место, где находилась городская водокачка![41]

[41] Примечания: 41

…городская водокачка… — «Струя из городской водокачки» — скетч Готорна, вошедший в сборник «Дважды рассказанные истории». Он написан в форме монолога водяного источника, бьющего на перекрестке двух салемских улиц. Этот источник — неутомимый, веселый, одинаково радостно уделяющий свою воду богачам и беднякам, — является частью истории города, его «живой струей», поившей в свое время и индейских вождей, и первых губернаторов колонии, и последующие поколения обитателей Салема. Он будет давать воду и тогда, когда не будет в живых автора «Алой буквы». Образ этой неумирающей струи воды не случайно противопоставлен «преходящим» явлениям фанатизма и нетерпимости, калечащим жизнь людей. Готорн очень любил этот скетч и композиционно противопоставил свою «водокачку» непосредственно за ней следующей главе о «дверях тюрьмы».

Глава I
ДВЕРИ ТЮРЬМЫ

Перед бревенчатым строением, массивные дубовые двери которого были усеяны головками кованых гвоздей, собралась толпа, — бородатые мужчины в темных одеждах и серых островерхих шляпах, вперемежку с женщинами, простоволосыми или в чепцах.

Каких бы утопических взглядов на человеческое счастье и добродетель ни придерживались основатели новых колоний, они неизменно сталкивались с необходимостью прежде всего отвести один участок девственной почвы под кладбище, а другой — под тюрьму. Памятуя это правило, можно не сомневаться, что отцы города Бостона выстроили первую тюрьму неподалеку от Корнхилла не намного позже, чем разбили первое свое кладбище на участке Айзека Джонсона,[42] чья могила послужила ядром, вокруг которого впоследствии начали располагаться могилы

---

[42] Примечания: 42

Айзек Джонсон — один из ранних колонистов, обосновавшихся в Бостоне.

всех прихожан старой Королевской церкви.[43] Так или иначе, спустя пятнадцать-двадцать лет после основания города исхлестанное непогодой деревянное здание уже потемнело, состарилось, а фасад его стал еще более хмурым и мрачным. На тяжелой оковке дубовых дверей лежал такой слой ржавчины, что, казалось, во всем Новом Свете не было ничего древнее этой тюрьмы. Словно она так и явилась на свет — старой, как само преступление. Перед этим уродливым зданием, между ним и проезжей частью улицы, была расположена лужайка, сплошь покрытая репейником, лебедой и прочей неприглядной растительностью, которая, по-видимому, нашла нечто родственное себе в самой почве, столь рано породившей на свет черный цветок цивилизации — тюрьму. Но сбоку от дверей, почти у самого порога, раскинулся куст диких роз, усыпанный — дело было в июне — нежными цветами, которые точно предлагали и арестованному, впервые входящему в тюрьму, и выходящему навстречу судьбе осужденному свою хрупкую прелесть и тонкий аромат в знак того, что всеобъемлющее сердце природы исполнено милосердия и скор-

[43] Примечания: 43

Королевская церковь — старинная церковь в Бостоне, сохранившаяся до настоящих дней.

бит о его участи.

Этот розовый куст по какой-то странной случайности рос тут с незапамятных времен. Мы не в состоянии установить, просто ли он сохранился с той поры, когда его окружал дремучий суровый лес, и как-то пережил падение склонявшихся над ним могучих дубов и сосен, или же — как утверждают весьма достоверные источники — расцвел из-под ног праведницы Энн Хетчинсон,[44] когда она вступала в двери тюрьмы. Поскольку, однако, этот куст находится на самом пороге нашего повествования, которое берет начало у зловещего входа, нам остается лишь сорвать один из его цветков и предложить читателю. Мы надеемся, что он послужит символом иного прекрасного и одухотворенного цветка, выросшего на жизненном пути, и, быть может, ему удастся смягчить мрачное завершение этого рассказа о человеческой слабости и скорби.

---

[44] Примечания: 44

Энн Хетчинсон (1591–1643) — в XVII веке в Бостоне возглавила религиозную секту «антиномистов», утверждавших, что верующий сливается со святым духом без посредства церкви и священников. В 1636–1637 годах ее и ее единомышленников судили и приговорили к отлучению от церкви. Она была изгнана из колонии Массачусетс и впоследствии убита индейцами.

Глава II
РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

Толпа бостонских жителей, заполнившая летним утром добрых два столетия назад зеленую лужайку перед зданием на Тюремной улице, не спускала глаз с окованной железом дубовой двери. Если бы речь шла не о бостонцах, или пусть даже и о бостонцах, но другого, более позднего периода в истории Новой Англии, можно было бы с уверенностью сказать, судя по угрюмой непреклонности, застывшей на бородатых лицах этих простых людей, что им предстоит какое-то грозное зрелище — по меньшей мере назначенная на этот час казнь известного преступника, которому законный суд вынос приговор, лишь подтвердивший вердикт общественного мнения. Однако суровые нравы первых поколений пуритан делают такое предположение не столь уж несомненным. Виновный мог оказаться попросту нерасторопным белым рабом или непочтительным сыном, переданным родителями местным властям для наказания плетьми у позорного столба. Это мог быть антиномист, квакер или

какой-нибудь другой сектант, подлежащий изгнанию из города, или же индеец, хвативший огненной воды белого человека, бродяга и лодырь, которого за буйство на улицах следовало наказать бичом и прогнать в дремучие леса. Но это могла быть и приговоренная к виселице колдунья, вроде старой миссис Хиббинс,[45] зловредной вдовы судьи. В любом случае зрители отнеслись бы к церемонии с неизменной серьезностью, как подобает народу, у которого религия и закон слиты почти воедино и так переплелись между собой, что самые мягкие и самые суровые акты публичного наказания равно внушали уважение и благоговейный страх. Преступнику нечего было рассчитывать на сколько-нибудь теплые чувства со стороны зрителей, окружавших эшафот. Поэтому наказание, которое в наши дни грозило бы осужденному лишь насмешками и презрением, облекалось в те времена достоинством не менее мрачным, чем смертная кара.

Следует также отметить, что в летнее утро, с которого начинается наш рассказ, особенный интерес к предстоящему наказанию проявляли находившиеся в толпе женщины. В старину

[45] Примечания: 45

Хиббинс, Энн — жительница Бостона, осужденная на смертную казнь по обвинению в колдовстве. Была казнена 19 июня 1656 года.

утонченность была не настолько развита, чтобы чувство благопристойности удержало носительниц чепчиков и юбок с фижмами от искушения потолкаться в толпе, а при случае и протиснуться своей отнюдь не тщедушной персоной к эшафоту, где происходила казнь. Эти жены и дочери коренных уроженцев Старой Англии были как в духовном, так и в физическом отношении существами куда более грубого склада, чем их прелестные пра-правнучки шесть-семь поколений спустя; в длинной цепи наследования румянец, передаваемый матерью дочерям, становился от раза к разу все бледнее, красота — все тоньше и недолговечнее, телосложение все воздушнее, да и характер постепенно утрачивал свою силу и устойчивость. Менее полувека отделяло женщин, стоявших у входа в тюрьму, от той эпохи, когда мужеподобная Елизавета[46] была вполне достойной представительницей своего пола. Женщины эти являлись ее соотечественницами; они были вскормлены на говядине и эле своей родины и на столь же мало утонченной духовной пище. Таким образом, солнце в тот день озаряло могучие плечи, пышные фор-

[46] Примечания: 46

…мужеподобная Елизавета… — Имеется в виду королева Англии Елизавета I (1533–1603).

мы и круглые цветущие щеки, налившиеся на далеком острове и не успевшие еще похудеть и поблекнуть под небом Новой Англии. А смелость и сочность выражений, на которые не скупились эти матроны — большинство из них выглядело именно матронами, — равно как и зычность их голосов, показались бы в наше время просто устрашающими.

— Я вам, соседки, вот что скажу, — разглагольствовала женщина лет пятидесяти с жестким лицом. — Было бы куда лучше для общины, если бы такая злодейка, как Гестер Прин, попала в руки почтенных женщин и добрых прихожанок, вроде нас с вами. Как по-вашему, кумушки? Доведись вот хоть нам пятерым, которые стоят здесь, судить шлюху, разве отделалась бы она таким приговором, какой вынесли ей достопочтенные судьи? Как бы не так!

— Люди рассказывают, — подхватила другая, — что преподобный мистер Димсдейл, ее духовный отец, просто убит таким скандалом в его приходе!

— Что правда, то правда, — добавила третья отцветающая матрона. — Судьи, конечно, люди богобоязненные, только слишком уж мягкосердечные. Этой Гестер Прин следовало бы выжечь

каленым железом клеймо на лбу. Вот тогда мадам Гестер получила бы сполна! А к платью ей что ни прицепи, — такую дрянь этим не проймешь. Она прикроет знак брошкой или еще каким-нибудь бесовским украшением и будет разгуливать по улицам как ни в чем не бывало, вот увидите!

— Ах, что вы! — вмешалась более мягкосердечная молодая женщина, державшая за руку ребенка. — Как ни прикрывай знак, а рана в сердце останется навек!

— К чему все эти разговоры о том, где лучше ставить знаки и клейма — на платье или просто на лбу? — воскликнула еще одна участница этого самочинного суда, самая уродливая и самая безжалостная из всех. — Она нас всех опозорила, значит ее нужно казнить. Разве это не будет справедливо? Ив Писании так сказано и в своде законов. Пусть же судьи, которые забыли об этом, пеняют сами на себя, когда их собственные жены и дочери собьются с пути!

— Помилуй нас бог, матушка! — ответил ей какой-то мужчина из толпы. — Разве женская добродетель только и держится, что на боязни виселицы? Страшные вещи вы говорите! А теперь потише, кумушки! В дверях поворачивается ключ, и сейчас миссис Прин пожалует сюда соб-

ственной персоной.

Двери тюрьмы распахнулись, и в них появилась черная, как тень среди ясного дня, мрачная и зловещая фигура судебного пристава с мечом у пояса и жезлом — знаком его достоинства — в руке. На этом человеке, в облике которого воплощался суровый, беспощадный дух пуританской законности, лежала обязанность распоряжаться церемонией исполнения приговора. Левой рукой он сжимал жезл, а правой придерживал за плечо молодую женщину, которую вел к выходу. Однако на пороге тюрьмы она оттолкнула его жестом, исполненным достоинства и мужества, и вышла на улицу с таким видом, будто делает это по доброй воле. На руках она несла ребенка — трехмесячного младенца, который мигал и отворачивал личико от ослепительного дневного света, ибо его существование до тех пор протекало в сером полумраке камеры и других, не менее темных, тюремных помещений.

Когда молодая женщина — мать ребенка — оказалась лицом к лицу с толпой, первым ее побуждением было крепче прижать младенца к груди. Побуждение это вызывалось не столько материнской нежностью, сколько желанием скрыть таким образом какой-то знак, прикреп-

ленный или пришитый к ее платью. Однако тотчас же, мудро рассудив, что бесполезно прикрывать один знак позора другим, она удобнее положила ребенка на руку и, вспыхнув до корней волос, но все-таки надменно улыбаясь, обвела прямым, вызывающим взглядом своих сограждан и соседей, На лифе ее платья выделялась вырезанная из тонкой красной материи буква «А»,[47] окруженная искусной вышивкой и затейливым золототканным узором. Вышивка была выполнена так мастерски, с такой пышностью и таким богатством фантазии, что производила впечатление специально подобранной изысканной отделки к платью, столь нарядному, что хотя оно и было во вкусе времени, однако далеко переступало границы, установленные действовавшими в колонии законами против роскоши.

Молодая женщина была высока ростом, ее сильная фигура дышала безупречным изяществом. В густых, темных и блестящих волосах искрились солнечные лучи, а лицо, помимо правильности черт и яркости красок, отличалось выразительностью благодаря четким очертаниям лба и глубоким черным глазам. Была в ее внешности

---

[47] Примечания: 47

«А» — первая буква слова Adulteress (прелюбодейка).

также какая-то аристократичность в духе тогдашних требований, предъявляемых к изысканной женской красоте, аристократичность, выражавшаяся скорее в осанке и достоинстве, нежели в непередаваемой, хрупкой и недолговечной грации, которая служит признаком благородства в наши дни. И никогда Гестер Прин не казалась более аристократичной в старинном значении этого слова, чем в ту минуту, когда она выходила из тюрьмы. Люди, встречавшиеся с нею раньше и ожидавшие увидеть ее подавленной, омраченной нависшими над ее головой зловещими тучами, были поражены и даже потрясены тем, как засияла ее красота в ореоле несчастья и позора. Впечатлительный зритель, вероятно, не мог бы глядеть на нее без мучительной боли. Причудливое и красочное своеобразие наряда, который она специально для этого случая сшила в тюрьме, руководствуясь лишь собственной фантазией, по-видимому выражало ее душевное состояние и безрассудную смелость. Но точкой, приковавшей к себе глаза толпы и до того преобразившей Гестер Прин, что мужчинам и женщинам, прежде близко знакомым с нею, показалось, будто они видят ее впервые, была фантастически разукрашенная и расцвеченная алая буква. В ней словно

скрывались какие-то чары, которые, отторгнув Гестер Прин от остальных людей, замкнули ее в особом кругу.



— Ничего не скажешь, рукодельница она хоть

куда! — заметила одна из зрительниц. — Только надо быть совсем уж бессовестной потаскухой, чтобы хвастать этим в такую минуту! Ну скажите, кумушки, разве не насмешка над нашими благочестивыми судьями — кичиться знаком, который эти достопочтенные джентльмены считали наказанием?

— Сорвать бы это роскошное платье с ее грешных плеч! — проворчала самая твердокаменная из старух. — А красную букву, которую она так старательно разукрасила, вполне можно было бы сделать из старой фланелевой тряпки, вроде той, что я ношу при простуде.

— Потише, соседки, потише! — прошептала младшая из зрительниц. — Нехорошо, если она нас услышит! Ведь каждый стежок на этой вышитой букве прошел сквозь ее сердце!

Суровый пристав взмахнул жезлом.

— Дорогу, люди добрые! Дорогу, именем короля! — закричал он. — Расступитесь, и я обещаю вам отвести миссис Прин туда, где вы все — взрослые и дети — сможете любоваться ее замечательным украшением с этой самой минуты и до часу дня. Да будет благословенна праведная массачусетская колония, где порок сразу выводят на чистую воду! Ступайте же, мадам Гестер, пока-

жите вашу алую букву на Рыночной площади!

Толпа зрителей расступилась и образовала проход. Предшествуемая приставом и сопровождаемая беспорядочной процессией хмурых мужчин и недоброжелательных женщин, Гестер Прин направилась к месту, предназначенному для ее наказания. Полные любопытства школьники, которым из всего происходившего было ясно только то, что их на полдня освободили от уроков, стайкой побежали впереди, поминутно оглядываясь и стараясь рассмотреть лицо Гестер, жмурившегося ребенка у нее на руках и позорный знак на груди. В те дни расстояние от тюрьмы до Рыночной площади было не так уж велико. Тем не менее осужденной это путешествие показалось, надо думать, довольно длинным, ибо за надменностью ее поведения, вероятно, скрывались такие муки, точно эти люди, толпой шедшие за ней, безжалостно топтали ее сердце, брошенное им под ноги. К счастью, в нашей природе заложено чудесное и в то же время спасительное свойство не сознавать всей глубины переживаемых нами мучений; острая боль приходит к страдальцу лишь впоследствии. Поэтому Гестер Прин с почти безмятежным видом прошла через эту часть своего испытания и достигла эшафота

на западном краю площади. Он стоял почти под самым карнизом первой бостонской церкви и выглядел так, словно прирос к ней.

Для нас, то есть для двух-трех последних поколений, этот эшафот, представляющий собою часть карательной машины, существует лишь как характерная историческая деталь; однако в старину он был столь же важным средством воспитания законопослушных граждан, как гильотина в руках французских террористов. Короче говоря, это был помост, над которым возвышалась рама вышеупомянутого исправительного орудия, с помощью которого можно было зажать голову человека в крепкие тиски и затем удерживать ее на виду у зрителей. В этом сооружении из дерева и железа воплощалась наивысшая степень бесчестья для наказуемого. Каков бы ни был проступок, не существует, мне кажется, кары, более противной человеческой природе и более жестокой, чем лишение преступника возможности спрятать лицо от стыда; а как раз в этом и заключалась вся суть наказания. Однако в случае с Гестер Прин, как и во многих других случаях, приговор требовал только, чтобы она простояла определенное время на помосте, но без ошейника, без тисков на голове, словом,

без всего того, что было особенно отвратительно в этой дьявольской машине. Хорошо зная свою роль, Гестер поднялась по деревянным ступеням и предстала перед окружающими, возвышаясь над улицей на несколько футов.

Окажись тут, в толпе пуритан, какой-нибудь католик, эта прекрасная женщина с младенцем на руках, женщина, чье лицо и наряд были так живописны, привела бы ему, вероятно, на память мадонну,[48] в изображении которой соперничало друг с другом столько знаменитых художников. Он вспомнил бы — конечно, только по контрасту — священный образ непорочной матери, чьему сыну суждено было стать спасителем мира. А здесь величайший грех так запятнал самую священную радость человеческой жизни, что мир стал еще суровее к красоте этой женщины, еще безжалостнее к рожденному ею ребенку.

Это зрелище человеческого греха и позора внушало невольный страх, да и не могло не внушать его в те времена, когда общество еще не было настолько развращено, чтобы смеяться там, где следовало трепетать. Свидетели бесчестья Гестер

---

[48] Примечания: 48

...привела бы ему... на память мадонну... — Образ богоматери с младенцем Христом на руках был очень распространен в живописи католических народов.

Прин были совсем бесхитростные люди. Будь она приговорена к смерти, они с таким же молчаливым одобрением взирали бы на ее казнь, не ропща на жестокость приговора; зато они не отличались и бессердечием, свойственным иному общественному укладу, при котором подобные сцены послужили бы лишь поводом для шуток. Если бы кому-нибудь и пришло в голову шутить, такая попытка была бы подавлена и пресечена торжественным присутствием столь немаловажных лиц, как губернатор, некоторые его советники, судья, генерал и местные священники. Все они сидели или стояли на балконе молитвенного дома и глядели вниз на помост. Когда такие особы, нисколько не опасаясь уронить свое достоинство или авторитет, принимают участие в подобных зрелищах, можно не сомневаться в том, что исполнение судебного приговора будет принято со всей серьезностью и произведет должное впечатление. Действительно, толпа вела себя угрюмо и сосредоточенно. Несчастная преступница держалась как нельзя лучше для женщины, которая обречена выдерживать напор тысячи безжалостных глаз, устремленных на нее и в особенности на ее грудь. Вынести это было почти невозможно. Она приготовилась

защищаться от язвительных выходок, уколов, публичных оскорблений и в ответ на любую обиду дать полную волю своей порывистой и страстной натуре, но это молчаливое общественное осуждение было настолько страшнее, что теперь Гестер Прин предпочла бы увидеть на хмурых лицах насмешливые гримасы по своему адресу. Если бы эти люди — каждый мужчина, каждая женщина, каждый визгливый ребенок — встретили ее взрывами хохота, она могла бы ответить им горькой и презрительной усмешкой. Но под свинцовым гнетом постигшей ее кары она временами чувствовала, что либо сойдет с ума, либо сию секунду закричит во всю силу своих легких и бросится с эшафота на землю.

Были и такие минуты, когда сцена, в которой она играла главную роль, пропадала из ее глаз или постепенно расплывалась, обращаясь в рой призрачных, бесформенных видений. Болезненно возбужденный ум и в особенности память рисовали перед нею иные картины, не имевшие ничего общего с этой улицей, с этим бревенчатым городком, граничившим с дремучими лесами Запада; и не эти, выглядывавшие из-под островерхих шляп, а совсем иные лица возникали перед ее взором. Далекие, совсем незначительные

воспоминания, какие-то ничтожные черточки детства и школьных дней, игры, детские ссоры и мелочи домашней жизни в годы девичества роились вокруг нее, переплетаясь с важнейшими воспоминаниями последующих лет. Каждая картина возникала с такой же яркостью, как и предыдущая, словно все они были одинаково значительны или, напротив, в равной степени несущественны. Возможно, в этих фантасмагориях ее душа бессознательно искала спасения от жестокого гнета неумолимой действительности.

Так или иначе, помост послужил для Гестер Прин наблюдательным пунктом, откуда она вновь увидела родную деревню в Старой Англии и отчий дом, — убогий, полуразвалившийся дом из серого камня, на фронтоне которого все еще был виден полустертый щит с гербом, в знак того, что владелец принадлежит к старинному дворянскому роду. Она увидела облысевшую голову отца и его почтенную белую бороду, ниспадающую на старомодные елизаветинские брыжи, потом — лицо матери, ее исполненный заботливой, тревожной любви взгляд, который навсегда сохранился в памяти Гестер и много раз кротко предостерегал — даже после того как мать умерла — от ошибок на жизненном пути. Она увидела

свое собственное лицо таким, каким оно некогда представало перед нею, когда она рассматривала его в мутном зеркале, освещенном изнутри сиянием ее девичьей красоты. И еще одно лицо она увидела — лицо немолодого уже мужчины, бледное, худое лицо ученого с глазами, тусклыми и покрасневшими от мерцания свечи, при которой он изучал бесчисленные фолианты. Однако эти тусклые глаза обладали удивительной проницательностью, когда их владельцу нужно было читать в человеческой душе. Женская наблюдательность Гестер Прин восстановила даже некоторую неправильность телосложения этого мыслителя и аскета, у которого левое плечо было чуть выше правого. Потом картинная галерея памяти развернула перед ней путаницу узких улиц, высокие серые дома, огромные соборы и общественные здания столь же древнего годами, сколь удивительного по архитектуре города на континенте, где ее, уже связанную со сгорбленным ученым, ожидала новая жизнь — новая, но питаемая изъеденной временем стариной, подобно пучку зеленого мха на развалинах каменной стены. И, наконец, вместо цепи сменяющихся картин — снова рыночная площадь бревенчатого пуританского поселка, запруженная горожанами,

угрюмо наблюдающими, как она — да, она, Гестер Прин, — стоит с младенцем на руках у позорного столба, а на груди ее, окруженная причудливым золотым узором, алеет буква «А»!

Не сон ли это? Она так неистово прижала к себе ребенка, что он вскрикнул; потом опустила глаза на алую букву и даже потрогала ее пальцем, чтобы убедиться в реальности и ребенка и своего позора. Да! Вот она, действительность; все остальное бесследно исчезло!

Глава III
ВСТРЕЧА

Острое ощущение всеобщего недоброжелательного внимания перестало мучить носительницу алой буквы, как только она заметила в задних рядах толпы человека, который тотчас же непреодолимо овладел ее мыслями. Там стоял какой-то индеец в национальной одежде; однако появление краснокожего в английской колонии было не такой уж редкостью, чтобы привлечь в эту минуту взгляд Гестер Прин, а тем более — заставить ее забыть обо всем остальном. Но рядом с индейцем стоял белый, по-видимому его спутник, костюм которого являл собой странную смесь цивилизованной и первобытной одежды.

Он был невысок ростом и, несмотря на изборожденный морщинами лоб, не казался стариком. Одухотворенное лицо свидетельствовало об утонченном долгими занятиями уме, который сказался и на физическом облике, наложив на него свою печать. Хотя нарочитая небрежность смешанного костюма, по-видимому, служила ему, чтобы скрыть или смягчить некоторые особенно-

сти телосложения, Гестер Прин сразу заметила, что одно плечо у него выше другого. Едва лишь увидев это худое лицо к слегка искривленную фигуру, она снова судорожно прижала ребенка к груди с такой силой, что несчастный младенец опять запищал от боли. Но мать не обратила на это никакого внимания.

Сразу же после своего появления на площади и незадолго до того, как Гестер Прин заметила его, пришелец бегло взглянул на нее. То был рассеянный взгляд человека, склонного к самоуглублению и привыкшего придавать внешним событиям значение лишь в той мере, в какой они были связаны с его внутренней жизнью. Но очень скоро этот взгляд стал пристальным и пронизывающим. Судорога ужаса исказила лицо незнакомца и, задержавшись на миг, исчезла, словно змея скользнула, извиваясь, между разбросанных камней. Внезапное душевное волнение омрачило его черты, но усилием воли он подавил его с такой быстротой, что уже в следующую минуту они казались почти бесстрастными. Вскоре стерлись и последние следы волнения, скрытого теперь в глубине души пришельца. Встретившись с устремленными на него глазами Гестер Прин и увидев, что она как будто узна-

ет его, он медленно, спокойно поднял палец и приложил его к губам жестом, призывающим к молчанию.

Потом, тронув за плечо стоявшего рядом горожанина, пришелец обратился к нему с церемонной учтивостью:

— Не скажете ли вы мне, сударь, кто эта женщина и почему она выставлена здесь на всеобщее посмеяние?

— Видать, приятель, вы чужой в наших краях, — ответил горожанин, удивленно разглядывая вопрошавшего и его краснокожего спутника, — иначе вы, конечно, знали бы о миссис Гестер Прин и о ее безбожных делах. Из-за нее было много шума в приходе преподобного мистера Димсдейла.

— Вы угадали, — подтвердил незнакомец, — я здесь впервые. Помимо воли, мне пришлось много скитаться. Меня постигли тяжкие бедствия на суше и на море, и я долгое время пробыл в рабстве у язычников к югу от здешних мест. Вот этот индеец привел меня сюда, чтобы получить выкуп. Поэтому не будете ли вы так любезны рассказать мне, кто эта Гестер Прин, — я, кажется, правильно расслышал ее имя? — и какие прегрешения привели ее к позорному столбу.

— Поистине, приятель, вы должны радоваться от всей души, что после таких испытаний и жизни среди дикарей попали, наконец, в страну, где порок преследуют и наказывают в присутствии властей и народа, — в нашу благочестивую Новую Англию. Так вот, сэр, эта женщина была женой одного ученого, который родился в Англии, но долго жил в Амстердаме, а потом, несколько лет назад, задумал переплыть океан и попытать счастья у нас, в Массачусетсе. Он послал жену вперед, а сам задержался, чтобы закончить какие-то важные дела. И подумайте, сэр, прожив два года в Бостоне, она не получила ни единой весточки от этого ученого джентльмена, мистера Прина. Ну, и тогда молодая женщина, за которой некому было присмотреть…

— Так, так! Все понятно, — перебил его незнакомец, горько улыбаясь. — Если человек, о котором вы мне рассказали, действительно был так учен, он должен был все это заранее знать из своих книг. А не скажете ли вы мне, кто отец ребенка, которого миссис Прин держит на руках? Младенцу, насколько я могу судить, не больше трех-четырех месяцев…

— По правде говоря, приятель, это осталось тайной, и не нашлось пока мудреца, который мог

бы разгадать ее, — ответил горожанин. — Мадам Гестер наотрез отказалась говорить, и судьи напрасно ломали себе голову. Быть может, виновник стоит среди нас и любуется этим печальным зрелищем, забыв о том, что бог его видит.

— Не мешало бы ученому самому пожаловать сюда и заняться этой тайной, — еще раз улыбнувшись, заметил незнакомец.

— Конечно, это было бы лучше всего, если только он жив, — ответил горожанин. — Так вот, сударь, наши массачусетские судьи приняли во внимание, что такую молодую и красивую женщину, вероятно, сильно искушали, прежде чем она пала, и, в особенности, что муж ее, надо думать, давно лежит на дне моря, и не решились поступить с ней по всей строгости нашего справедливого закона. За такое преступление положена смерть. Но они, по своей снисходительности и милосердию, постановили, что миссис Прин должна простоять всего-навсего три часа на помосте у позорного столба, а затем, до конца жизни, носить на груди знак бесчестья.

— Мудрый приговор! — проронил незнакомец, задумчиво склонив голову. — Таким образом, она будет ходячей проповедью о пагубности греха до той поры, пока постыдный знак не отметит ее

могилу. А все же меня возмущает, что соучастник греха не стоит рядом с нею на эшафоте! Но он будет найден! Будет! Будет!

Он вежливо поклонился общительному горожанину, потом прошептал несколько слов своему спутнику индейцу, и оба они начали прокладывать себе путь сквозь толпу.

Все это время Гестер Прин стояла на помосте, не спуская с незнакомца пристального взгляда — такого пристального и напряженного, что минутами весь остальное зримый мир исчезал из ее глаз и она не видела ничего, кроме этого человека и себя. Но свидание с ним наедине было бы, вероятно, еще страшнее, чем эта встреча, когда горячее полуденное солнце освещало и жгло ее пылавшие стыдом щеки, когда на груди ее алел постыдный знак, а на руках лежал рожденный в грехе младенец, когда толпа, собравшаяся, словно на праздник, рассматривала лицо, которое следовало бы видеть лишь в церкви, полускрытым добродетельной вуалью, да при спокойном мерцании очага, в счастливом полумраке родного дома. Как ни ужасно было все, что окружало ее, но присутствие тысячи свидетелей она ощущала как какую-то защиту. Лучше стоять здесь, где их разделяет столько людей, чем встретиться с ним

с глазу на глаз — он, и она, и больше никого. Она видела в позорной церемонии некий якорь спасения и страшилась минуты, когда он исчезнет. Погруженная в свои мысли, она не сразу услышала позади себя голос, повторявший ее имя, голос, который звучал торжественно и так громко, что прокатился по всей площади.

— Внемли мне, Гестер Прин!

Как уже было сказано выше, прямо над помостом, на котором стояла Гестер Прин, был расположен балкон, вернее открытая галерея, украшавшая молитвенный дом. С этой галереи, в присутствии всех высших должностных лиц и со всей торжественностью, принятой тогда при публичных церемониях, оглашались постановления властей. Отсюда, восседая в кресле под охраной почетного караула из четырех сержантов, вооруженных алебардами, смотрел на описываемую нами сцену сам губернатор Беллингхем[49] — пожилой джентльмен, чье лицо, изрезанное морщинами, говорило о нелег-

---

[49] Примечания: 49

Беллингхем, Ричард (1592–1672) — политический деятель. Прибыл а Бостон в 1634 году, занимал пост губернатора Массачусетса в 1641, 1654 и 1665–1672 годах. Готорн подчеркивает, в соответствии с исторической правдой, аристократизм Беллингхема и его властный, независимый характер, который часто приводил его к конфликту с другими должностными лицами колонии.

ком жизненном пути. Шляпа губернатора была украшена темным пером, а из-под плаща, окаймленного узорным шитьем, виднелся черный бархатный камзол. Мистер Беллингхем был достойным представителем и главой общины, обязанной своим возникновением, развитием и нынешним процветанием не порывам юношей, а суровой, закаленной энергии зрелых мужей и хмурой мудрости старцев. Здесь достигли столь многого именно потому, что рассчитывали и надеялись на столь малое. Прочие важные особы, окружавшие губернатора, отличались полной достоинства осанкой, характерной для тех времен, когда различные формы власти считались священными и ниспосланными свыше. Разумеется, они были честными, справедливыми и умудренными опытом людьми. Однако во всем мире едва ли удалось бы отыскать столько же добродетельных и разумных людей, которые были бы менее способны разобраться в заблудшей женской душе и распутать переплетенные в ней нити добра и зла, чем эти непреклонные мудрецы, к которым обернулась теперь Гестер Прин. По-видимому, она понимала, что только в более вместительном и горячем сердце народа можно было еще искать сочувствия; должно быть поэтому, обратив взор

на галерею, несчастная женщина побледнела и затрепетала.

Голос, который привлек ее внимание, принадлежал достопочтенному и прославленному Джону Уилсону,[50] старейшему священнику Бостона; подобно большинству его собратьев в те времена, он был ученым богословом, а сверх того еще и добрым, отзывчивым человеком. Последние свойства, впрочем, были менее развиты, чем интеллектуальные дарования, и он скорее стыдился их, нежели ценил. Он стоял на балконе, его седые волосы выбивались из-под круглой черной шапочки, а серые глаза, привыкшие к полумраку рабочей комнаты, щурились от ослепительного солнца совершенно так же, как глаза ребенка Гестер. Он напоминал потемневший гравированный портрет из старинного сборника проповедуй и имел не больше права, чем подобный портрет, вмешиваться в вопросы человеческих грехов, страстей и страданий.

— Гестер Прин, — сказал священник, — я доби-

---

[50] Примечания: 50

Джон Уилсон (1591–1667) — пуританский священник и писатель. Был одним из наиболее искусных проповедников и пользовался большим влиянием в магистратуре Бостона в середине XVII века. Прославился своей фанатической нетерпимостью по отношению к квакерам и другим сектантам, но в частной жизни был известен как человек большой доброты. Эту противоречивость его характера тонко раскрывает Готорн.

вался от моего юного собрата, чьим проповедям ты имела счастье внимать, — тут мистер Уилсон положил руку на плечо бледному молодому человеку, стоявшему рядом с ним, — я пытался, повторяю, внушить этому благочестивому юноше, что ему следует обратиться к тебе здесь, перед лицом небес, перед нашими мудрыми и справедливыми правителями, на глазах у всего народа, и объяснить, насколько мерзостен и черен твой грех. Зная тебя лучше, чем знаю я, он может лучше судить о том, ласковые или суровые слова нужны для того, чтобы поколебать твою нераскаянность и упрямство и заставить открыть имя того, кто соблазнил тебя и вверг в эту страшную пропасть. Однако с чрезмерной мягкостью, присущей его юному возрасту, брат Димсдейл, — хотя он и умудрен не по летам, — возражал мне, что было бы насилием над самой природой женщины принуждать ее, в присутствии множества людей и среди белого дня, раскрыть сокровенные тайны сердца. На самом же деле, как я пытался ему доказать, позор заключается в совершении греха, а отнюдь не в его оглашении. Что ты ответишь мне на этот раз, брат Димсдейл? Кто из нас двоих, ты или я, обратится к бедной заблудшей душе?

Среди сановных зрителей и священников, за-

нимавших места на галерее, послышался ропот, смысл которого выразил губернатор Беллингхем, возвысив голос, хотя и повелительный, но смягченный уважением к молодому пастору.

— Почтенный мистер Димсдейл, — сказал он, — на вас лежит главная ответственность за душу этой женщины. Ваш прямой долг поэтому — склонить ее к признанию, каковое было бы следствием и доказательством искренности раскаяния.

После этого прямого обращения взоры толпы сосредоточились на преподобном Димсдейле, молодом священнике, который, окончив один из лучших английских университетов, привез в наш дикий лесной край последнее слово учености того времени. Его красноречие и религиозный пыл уже снискали ему выдающееся положение в ряду других представителей церкви. Сама внешность его была весьма примечательна: высокий выпуклый белый лоб, большие карие печальные глаза и то крепко сжатые, то слегка вздрагивающие губы, которые свидетельствовали о болезненной чувствительности, соединенной с большим самообладанием. Несмотря на природную одаренность и глубокие знания, у молодого пастора был такой настороженный вид, такой

растерянный, немного испуганный взгляд, какой бывает у человека заблудившегося, утратившего направление в жизненных дебрях и способного обрести покои лишь в уединении своей комнаты. Он старался, поскольку это не противоречило его долгу, держаться в тени, был скромен и прост в обращении, а когда ему приходилось произносить проповеди, слова его дышали такой благоуханной свежестью и незапятнанной чистотой помыслов, что многим чудилось, будто они слышат ангела.

Таков был юноша, к которому преподобный Уилсон и губернатор привлекли всеобщее внимание, понуждая его здесь, перед собравшейся толпой, обратиться к таинственной женской душе, священной, даже когда она себя осквернила. Положение, в котором он очутился, было для него так мучительно, что кровь отхлынула от его щек, а губы задрожали.

— Обратись к грешнице, брат мой, — сказал мистер Уилсон. — Это важно не только для ее души, но, как сказал губернатор, и для твоей собственной, ибо ты был пастырем этой женщины. Пусть, побуждаемая тобою, она поведает правду!

Преподобный мистер Димсдейл склонил голову, словно творя про себя молитву, и выступил

вперед.

— Гестер Прин, — сказал он, перегнувшись через перила и пристально глядя ей в глаза, — ты слышала слова этою мудрого человека и понимаешь, какая на мне лежит ответственность. Я заклинаю тебя открыть нам имя твоего сообщника по греху и страданию, если только это облегчит твою душу и поможет ей, претерпев земную кару, приблизиться к вечному спасению. Пусть ложная жалость и нежность не смыкают твои уста, ибо, поверь мне, Гестер, лучше ему сойти с почетного места и стать рядом с тобой на постыдном пьедестале, чем влачиться всю жизнь, скрывая глубоко в сердце свою вину. Что принесет ему твое молчание, кроме соблазна, и не побудит ли оно добавить к греху еще и лицемерие? Небо послало тебе открытое бесчестье, дабы ты могла восторжествовать над злом, угнездившимся в душе твоей, и над житейскими скорбями. Подумай, какой ущерб ты наносишь тому, у кого, быть может, не хватает смелости по собственной воле испить горькую, но спасительную чашу, поднесенную ныне к твоим устам!

Глубокий, звучный голос молодого священника задрожал и прервался. Не столько прямой смысл его слов, сколько звучавшее в них неподдельное

волнение отозвалось в сердцах всех слушателей и вызвало единый порыв сочувствия. Даже бедный младенец на руках у Гестер словно поддался этому порыву: устремив на мистера Димсдейла блуждавший до этого взгляд, он с жалобным и одновременно довольным криком протянул к нему ручонки. В призыве священника таилась сила, которая заставила всех поверить, что вот сейчас Гестер Прин назовет виновного или же виновный сам, какое бы место он ни занимал в обществе, выйдет вперед, подчиняясь неодолимой внутренней потребности, и поднимется на помост.

Гестер покачала головой.

— Женщина, не испытывай милосердия божьего! — воскликнул преподобный мистер Уилсон, на этот раз уже более сурово. — Даже устам твоего младенца был ниспослан голос, дабы он повторил и подтвердил совет, который ты сейчас услышала. Открой нам имя! Чистосердечная исповедь и раскаянье помогут тебе освободиться от алой буквы на груди.

— Никогда! — ответила Гестер, глядя не на мистера Уилсона, а в глубокие, полные смятения глаза молодого священника. — Она слишком глубоко выжжена в моем сердце. Вам не вырвать

ее оттуда! Я готова страдать одна за нас обоих!

— Скажи правду, женщина! — раздался строгий и холодный голос из толпы, стоявшей вокруг эшафота. — Скажи правду и дай твоему ребенку отца.

— Не скажу! — смертельно побледнев, ответила Гестер тому, чей голос она слишком хорошо узнала. — У моей крошки будет только небесный отец, а земного она никогда не узнает!

— Она не скажет! — прошептал мистер Димсдейл, который, перегнувшись через перила и прижав руку к сердцу, ждал ответа на свой призыв; он выпрямился и перевел дыхание. — Сколько силы и благородства в сердце женщины! Она не скажет!

Убедившись, что сломить упорство несчастной преступницы невозможно, старый священник, который тщательно приготовился к этому дню, обратился к толпе с проповедью о пагубности греха во всех его видах и особенно настаивал на постыдном значении алой буквы. Вновь и вновь возвращался он к этому символу, и больше часа торжественные фразы перекатывались через головы слушателей, населяя их воображение такими ужасными картинами, что вскоре им начало казаться, будто само адское пламя окра-

сило букву в алый цвет. Тем временем Гестер Прин продолжала устало и безразлично стоять у позорного столба, глядя в пространство невидящими глазами. В это утро она вытерпела все, что в силах вытерпеть человек, а так как не в ее характере было бежать от слишком острой боли в спасительный обморок, ей оставалось только укрыться под окаменевшей коркой бесчувственности, продолжая при этом жить и дышать. Это душевное состояние позволило ей не слышать громоподобного, но бесполезного красноречия священника. Под конец испытания ребенок начал пронзительно кричать. Она машинально старалась успокоить его, но, видимо, не испытывала особой жалости к его страданиям. С таким же глубоким равнодушием она позволила отвести себя обратно в тюрьму и скрылась из глаз толпы за окованной железом дверью. И те, кто смотрел ей вслед, шепотом передавали потом, что видели в темном тюремном коридоре зловещий отблеск алой буквы.

Глава IV
СВИДАНИЕ

После возвращения в тюрьму Гестер Прин овладело такое возбуждение, что ее ни на минуту нельзя было оставить без присмотра, иначе она могла бы покончить с собой или, в приступе безумия, сотворить что-нибудь с несчастным младенцем. Когда тюремщик Брэкет увидел, что дело идет к ночи, а Гестер по-прежнему не внемлет ни уговорам, ни угрозам, он счел самым разумным привести к ней врача. Врач этот, по его словам, был сведущ не только во всех известных добрым христианам лекарских науках, но знал также и то, чему могут научить индейцы по части дикорастущих трав и кореньев. Врачебная помощь действительно была нужна, и не столько Гестер, сколько ее ребенку, который, казалось, вместе с молоком всосал смятение, ужас и отчаянье, потрясавшие душу матери. Младенец корчился теперь от боли, словно его тельце приняло в себя страдания, пережитые в этот день Гестер Прин.

Вслед за тюремщиком в мрачную камеру вошел тот самый человек с необычной внешностью, чье

присутствие в толпе так взволновало носительницу алой буквы. Городские власти поместили его в тюрьму не по подозрению в каком-нибудь злоумышленном поступке, а потому, что такая мера весьма облегчала им переговоры с индейскими вождями о выкупе. Называл он себя Роджером Чиллингуорсом. Впустив его, Брэкет с минуту помедлил в камере, удивленный сравнительной тишиной, сразу же водворившейся там, ибо, хотя младенец и продолжал пищать, Гестер вдруг стала нема как смерть.

— Прошу тебя, приятель, оставь меня наедине с больной, — сказал врач. — Поверь мне, почтеннейший, скоро в тюремный дом возвратится спокойствие, и ручаюсь, что в дальнейшем миссис Прин будет исполнять разумные приказания охотнее, чем до сих пор.

— Что ж, — ответил Брэкет, — если вашей милости это удастся, я буду считать, что вы обладаете немалым искусством. В эту женщину как будто вселился нечистый дух. Еще немного — и, клянусь, мне пришлось бы изгонять его плетью.

Незнакомец вошел в камеру с хладнокровием, присущим людям врачебной профессии, к которым он, по его заявлению, принадлежал. Оно не изменило ему и после того, как тюремщик оста-

вил его наедине с женщиной, связанной с ним тесными узами, если судить по пристальному и взволнованному взгляду, который она в то утро устремляла на него через головы толпившихся на площади людей. Прежде всего врач занялся ребенком, ибо лежавшая на кровати девочка так плакала, что сперва необходимо было ее успокоить, а потом уже думать обо всем остальном. Внимательно осмотрев ее, незнакомец достал из-под плаща и расстегнул кожаную сумку. Там у него, по-видимому, хранились какие-то лекарства. Одно из них он размешал в кружке с водой.

— Прежние занятия алхимией, — заметил он, — и год жизни среди народа, хорошо осведомленного в целебных свойствах лекарственных трав, сделали меня более знающим врачом, чем многие из тех, кто хвалится этим званием. Поди сюда, женщина! Ребенок твой, а не мой, ни по виду, ни по голосу он не признает во мне отца, поэтому ты сама должна дать ему лекарство.

Не спуская с врача испуганного взгляда, Гестер оттолкнула протянутую кружку.

— Ты хочешь мстить невинному младенцу? — прошептала она.

— Глупая женщина! — холодно и в то же время успокоительно ответил он. — Зачем я стану

вредить этому жалкому незаконнорожденному младенцу? Лекарство целительно, и будь ребенок моим — да, моим, равно как и твоим! — я не мог бы дать ему лучшего.

И так как Гестер, потерявшая способность здраво рассуждать, все еще колебалась, он сам взял ребенка на руки и влил ему в рот лекарство. Оно вскоре подействовало, полностью оправдав слова врача. Маленькая больная замолчала, судорожные подергивания прекратились, и вскоре она погрузилась в глубокий, освежающий сон, каким спят выздоравливающие дети. После этого врач — он с полным правом мог так себя называть — занялся матерью. Спокойно и внимательно сосчитал он ее пульс, заглянул в глаза, — и от этого хорошо знакомого взгляда, теперь такого холодного и непроницаемого, ее сердце невольно сжалось. Наконец, удовлетворенный осмотром, он начал готовить новое лекарство.

— Я не знаю панацеи от всех недугов и напастей, — промолвил он, — но у дикарей я перенял множество новых средств, и вот одно из них. Меня научил готовить его индеец в благодарность за то, что я поделился с ним рецептами, известными

еще со времен Парацельса.[51] Выпей его! Чистая совесть успокоила бы тебя лучше. Ее я не могу тебе дать. Но это лекарство смирит бушующие в тебе чувства, подобно тому, как масло смиряет бурные морские волны.

Он протянул Гестер кружку, и она взяла ее, глядя в глаза врача долгим проникновенным взглядом, не столько боязливым, сколько недоуменным и вопрошающим об истинных его намерениях. Потом она посмотрела на задремавшую девочку.

— Я думала о смерти, звала ее, я даже молилась бы о ней, если бы такой, как мне, пристало молиться. И все-таки, если в этой кружке — смерть, подумай хорошенько, прежде чем дать мне ее испить. Видишь — я поднесла ее к губам.

— Что ж, пей! — по-прежнему невозмутимо ответил он. — Неужели ты так плохо знаешь меня, Гестер Прин? Разве могут руководить мною столь мелочные намерения? Если бы даже я и вынашивал план мести, то не лучшей ли местью

---

[51] Примечания: 51

Парацельс, Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541) — немецкий врач, естествоиспытатель и философ. Его сочинения написаны мистическим образным языком, но выражают идеи, легшие в основу современной медицины. Он пытался объяснять болезни с точки зрения химических процессов и способствовал внедрению химических препаратов в медицину.

будет оставить тебя в живых и впредь давать тебе лекарства от всех жизненных бед и опасностей, чтобы этот жгучий позор продолжал пылать у тебя на груди?

Он дотронулся своим длинным пальцем до алой буквы, и она опалила Гестер, словно была докрасна раскалена. Заметив невольное движение женщины, он улыбнулся.

— Живи же, и пусть твой приговор всегда будет написан на тебе, пусть его читают мужчины и женщины, пусть читает тот, кого ты называла своим супругом, пусть читает вот этот ребенок! И, чтобы ты могла жить, прими мое лекарство!



Больше не возражая и не медля, Гестер выпила лекарство и, повинуясь жесту врача, села на край кровати, где спала ее девочка, между тем как он придвинул себе единственный стул. При виде этих приготовлений она задрожала, ибо чувствовала, что, исполнив веления человеколю-

бия, или жизненных правил, или, быть может, утонченной жестокости и облегчив физические страдания, он сейчас обратится к ней как человек, которого она глубоко и непоправимо оскорбила.

— Гестер, — сказал он, — я не спрашиваю тебя, как и почему ты скатилась в пропасть, вернее, взошла на позорный пьедестал, на котором я тебя увидел. Причину легко угадать. Она — в моем безумии и твоей слабости. Мне ли, книжному червю, завсегдатаю библиотек, человеку мысли, уже достигшему преклонных лет и отдавшему лучшие свои годы ненасытной жажде познания, — мне ли было притязать на твою молодость и красоту! Как мог я, калека от рождения, льстить себя надеждой, что духовные богатства скроют от воображения юной девушки телесное уродство! Меня считают мудрым человеком. Если бы мудрецы были проницательны в своих собственных делах, я все это предвидел бы с самого начала. Выходя из огромного, сумрачного леса и вступая в этот населенный христианами поселок, я знал бы, что глаза мои сразу же увидят тебя, Гестер Прин, выставленную, словно статуя бесчестья, на посмеяние толпы. Да, уже в ту минуту, когда мы, обвенчанные супруги, спускались по истертым церковным ступеням, я мог бы различить

зловещий огонь алой буквы, пылающий в конце нашей тропы.

— Ты знаешь, — сказала Гестер, ибо, несмотря на тупое отчаяние, она почувствовала невыносимую боль от этого хладнокровного удара по символу ее позора, — ты знаешь, что я была честна с тобой. Я не любила тебя и не притворялась любящей.

— Твоя правда, — ответил он. — Я был безумец! Я уже признал это. Но до встречи с тобой жизнь моя не имела цели. Мир был так безрадостен! В моем сердце хватило бы места для многих гостей, но в нем царили холод и одиночество и не горел огонь домашнего очага. Я жаждал разжечь его! И хотя я был стар, и угрюм, и уродлив, мне не казалось таким уж безумием мечтать о том, что и меня где-то ждет простое человеческое счастье, пригоршнями рассыпанное повсюду и для всех. И вот я принял тебя в свое сердце, Гестер, в самый сокровенный его тайник, и старался согреть тебя теплом, которое было порождено в нем тобою.

— Я причинила тебе много зла, — прошептала Гестер.

— Мы оба причинили друг другу зло, — продолжал он. — И я первый причинил его, когда вовлек твою расцветающую юность в неподобающий,

противоестественный союз с моим увяданием. Поэтому, как человек, который не впустую думал и размышлял, я не ищу мести, не строю против тебя никаких козней. Мы с тобою квиты. Но, Гестер, на свете существует человек, который причинил зло нам обоим. Кто он?

— Не спрашивай! — твердо глядя ему в глаза, ответила Гестер Прин. — Этого ты никогда не узнаешь.

— Говоришь — никогда? — повторил он, мрачно и самоуверенно улыбаясь. — Никогда не узнаю! Поверь, Гестер, в окружающем нас мире и, до известного предела, в незримой области мысли почти нет вещей, непостижимых для человека, страстно и безраздельно отдавшегося их раскрытию. Ты можешь уберечь свою тайну от назойливого любопытства толпы. Ты можешь не выдать ее священникам и судьям, как сделала сегодня, когда они пытались вырвать ее из твоего сердца, чтобы поставить твоего сообщника рядом с тобой у позорного столба. Но когда тебя допрашиваю я, мною владеют совсем иные чувства. Я буду искать этого человека, как искал истины в книгах, золота в алхимии. Я почувствую его присутствие, ибо мы с ним связаны. Я увижу, как он затрепещет, и я сам внезапно и невольно содрог-

нусь. Рано или поздно, но он будет в моих руках!

Глаза на морщинистом лице ученого, устремленные на Гестер, пылали таким огнем, что она прижала руки к груди, боясь, как бы этот человек сразу же не прочитал ее тайны.

— Ты не откроешь его имени? Все равно он будет в моих руках! — заключил он так уверенно, словно провидение было заодно с ним. — Он не носит, как ты, знака бесчестья на одежде, но я увижу этот знак в его сердце. И все же не страшись за этого человека! Не думай, что я стану между ним и карой, которую ниспошлет ему небо, или же, в ущерб себе, предам его в руки человеческого правосудия. Не воображай также, что я буду злоумышлять против его жизни или чести, если, как я полагаю, он человек с незапятнанным именем. Пусть он живет! Пусть, если может, прячется за внешними почестями! Все равно он будет в моих руках!

— Твои поступки как будто милосердны, — проговорила испуганная и потрясенная Гестер, — но, судя по словам, ты беспощаден.

— Женщина, от тебя, которая некогда была моей женой, я требую лишь одного, — продолжал ученый. — Ты сохранила в тайне имя своего любовника. Сохрани же в тайне и мое! В этом краю

никто меня не знает. Не проговорись же ни единой душе, что ты называла меня мужем! На этой глухой окраине земли я раскину свой шатер; ибо в любом другом месте я — странник, отрешенный от всего, что волнует человеческое сердце, а здесь живут женщина, мужчина, ребенок, с которыми я неразрывно связан. Неважно, хороша эта связь или плоха, лежит в ее основе ненависть или любовь. Ты моя, Гестер Прин, и все, кто связан с тобой, связаны и со мной. Мой дом — там, где живешь ты и где живет он. Но не проговорись!

— Зачем это тебе? — спросила Гестер, чувствуя непонятное отвращение к такому тайному сговору. — Почему ты не хочешь открыто назвать свое имя и сразу же отречься от меня?

— Может быть, потому, — ответил он, — что не желаю обречь себя бесчестью, пятнающему обманутых мужей. А может быть, и по другим причинам. Тебе достаточно знать, что я решил жить и умереть, не раскрывая своего имени. Пусть же все считают, что твой муж умер и никакие вести от него уже не дойдут до тебя. Ни словом, ни знаком, ни взглядом не выдай того, что ты знакома со мной. А более всего бойся выдать эту тайну человеку, с которым ты согрешила. Берегись ослушаться меня в этом! Его честь, по-

ложение, жизнь будут в моей власти! Берегись!

— Вместе с его тайной я сохраню и твою, — сказала Гестер.

— Поклянись! — потребовал он.

И она поклялась.

— А теперь, миссис Прин, — сказал старый Роджер Чиллингуорс, как в дальнейшем мы будем его называть, — я оставляю тебя наедине с твоим ребенком и алой буквой. Скажи, Гестер, разве ты приговорена носить знак и ночью? И ты не боишься страшных и отвратительных сновидений?

— Зачем ты издеваешься надо мной? — спросила Гестер, устрашенная выражением его глаз. — Может быть, ты — тот самый Черный человек,[52] который бродит по лесу вокруг наших жилищ? Неужели ты заставил меня заключить договор, который погубит мою душу?

— Не твою душу! — При этих словах он снова улыбнулся. — Нет, не твою!

---

[52] Примечания: 52

Черный человек — дьявол.

Глава V
ГЕСТЕР ЗА РУКОДЕЛИЕМ

Срок заключения Гестер Прин пришел к концу. Тюремные двери распахнулись, и она снова увидела солнечный свет, который сиял равно для всех, но ее истерзанному и больному воображению казался созданным лишь для того, чтобы озарять алую букву у нее на груди. Быть может, это одинокое возвращение из тюремного дома причинило ей больше страданий, чем описанное нами позорное шествие и стояние у столба, когда каждый имел право указывать на нее пальцем, как на воплощение бесчестья. Тогда нечеловеческое напряжение нервов и воинственная сила характера помогли ей обратить постыдное зрелище в какое-то сумрачное торжество. К тому же это было особенное, неповторимое событие, единственное на ее веку, и, чтобы перенести его, она могла с безудержной расточительностью истратить столько жизненной энергии, что ее хватило бы на многие спокойные годы. Тот самый закон, который осудил ее, — гигант с суровым лицом, наделенный достаточной мощью и для

того, чтобы поддержать, и для того, чтобы задушить своей железной рукой, — помог ей устоять во время страшного и позорного испытания. Но с той минуты, как она в полном одиночестве вышла из тюремной двери, началась повседневная жизнь, и Гестер предстояло либо нести это бремя при помощи обычных человеческих сил, либо свалиться под его тяжестью. Она уже не могла брать взаймы у грядущего дня, чтобы справиться с сегодняшним горем. Завтрашний день принесет новое горе, так же как следующий за ним и еще следующий. Каждый принесет свое особое и вместе с тем уже знакомое горе, которое было таким невыразимо тяжелым сегодня. Медленно потянется длинная цепь дней, и каждое утро она будет поднимать все ту же ношу, и сгибаться под ней, и к вечеру не сможет сбросить ее, потому что каждый пришедший день и каждый наступивший год не преминут добавить свою долю к этому громоздящемуся вокруг нее позору. И, постепенно утратив себя, она превратится в некий символ, на который будут указывать священник и моралист, расцвечивая и оживляя этим примером свои нападки на женскую слабость и преданность греховным страстям. Юные и чистые души научатся смотреть на нее, носительницу пылающей алой

буквы, на нее, дочь почтенных родителей, на нее, мать девочки, которая в свою очередь станет женщиной, на нее, когда-то не ведавшую порока, как на образ, суть, реальное воплощение греха. Бесславие последует за нею в могилу и станет единственным ее памятником.

Может показаться непонятным, что хотя перед Гестер был открыт весь мир, — ибо приговор не принуждал ее оставаться в пределах глухого и затерянного поселения пуритан; хотя она вольна была уехать на родину или в любую европейскую страну и там, скрыв под новым обликом свое имя и прошлое, начать другое существование; хотя перед ней простирались тропы темного, загадочного леса, где эта неукротимая по натуре женщина встретила бы народ, чьи нравы и обычаи были далеки от осудившего ее закона, — может показаться непонятным, что, несмотря на все, она по-прежнему считала своим домом то единственное место, где была живым примером позора. Какое-то роковое чувство, требовательное, неотвратимое и упорное, словно приговор судьбы, почти всегда принуждает человеческие существа жить и скитаться, подобно привидениям, в тех самых местах, где значительное и памятное событие окрасило некогда всю их

жизнь, — и принуждает тем более властно, чем мрачнее было событие. Грех и бесчестье — вот корни, которыми Гестер вросла в эту почву. Как бы заново родившись на свет, она обрела большую способность привязываться, чем при первом рождении, и поэтому лесной край, нелюбезный другим странникам и пилигримам, стал для нее родным домом — суровым, безрадостным, но единственно возможным. Все другие места на земле были ей чужды — даже тот уголок в сельской Англии, где счастливое детство и незапятнанное девичество, казалось, все еще хранились у ее матери, как платья, из которых она давно выросла. Гестер была прикована цепью из железных звеньев, и хотя они впивались ей в душу, разорвать эту цепь она не могла.

Возможно и даже несомненно, что в этих местах, в этом роковом для Гестер поселении, ее удерживало и другое тайное чувство, которое она скрывала от самой себя, бледнея всякий раз, когда оно выползало на свет из ее сердца, как змея из норы. Здесь дышал, здесь ходил человек, с которым она считала себя связанной узами, не признанными на земле, но столь прочными, что в день Страшного суда они превратятся в узы брака и соединят ее с этим человеком для

нескончаемого совместного искупления. Снова и снова искуситель рода человеческого внушал Гестер эту мысль и смеялся, глядя, как она сперва со страстной и отчаянной радостью цеплялась за нее, а потом с ужасом отбрасывала прочь. Гестер лишь на миг заглядывала этой мысли в лицо и тут же гнала ее обратно в темницу. А то, во что она заставляла себя верить, что самой себе приводила как причину, не позволявшую ей покинуть Новую Англию, было наполовину правдой, наполовину самообманом. Тут, думала она, свершен грех, тут должно свершиться и земное наказание. Быть может, пытка ежедневного унижения очистит в конце концов ее душу и заменит утраченную чистоту новой, в мучениях обретенной, а потому и более священной.

Таким образом, Гестер Прин никуда не уехала. На окраине поселения, в пределах полуострова, но в стороне от других жилищ, стоял крытый соломой домик. Он был покинут выстроившим его некогда поселенцем, так как земля вокруг была бесплодна, а удаленность от города мешала общению с людьми, к чему уже тогда были столь склонны иммигранты. Окнами дом выходил на восточный берег бухты, по другую сторону которой виднелись лесистые холмы. Купа низ-

корослых деревьев — только такие и росли на полуострове — почти не скрывала его, но как бы указывала, что здесь кто-то хочет или, быть может, должен скрываться от посторонних взглядов. В этой одинокой обители, с разрешения городских властей, все еще не спускавших с Гестер Прин внимательных глаз, она и жила на свои скромные средства вместе с маленькой дочерью. Таинственная тень подозрения сразу же нависла над этим местом. Дети, еще не способные понять, почему эта женщина недостойна человеческого милосердия, подкрадывались достаточно близко, чтобы увидеть, как она рукодельничает у окна, или стоит в дверях, или копается в огородике, или идет по тропинке в город, и, различив алую букву у нее на груди, бросались врассыпную, охваченные непонятным, но заразительным страхом.

Хотя Гестер была одинока и не существовало на свете человека, который открыто назвался бы ее другом, нужда ей не грозила. Она владела искусством, которое даже в этой стране, дававшей для него мало простора, помогало ей зарабатывать на жизнь себе и подрастающей девочке. Это было искусство рукоделия — в те времена, как и ныне, почти единственное доступное для женщины. Замысловато обрамленная буква, ко-

торую Гестер Прин носила на груди, являла собой образчик ее изящного и изобретательного мастерства, к которому с удовольствием прибегли бы даже придворные дамы, любившие отделывать шелковые и парчовые платья богатыми и утонченными украшениями ручной работы. Конечно, при мрачной простоте пуританских одежд спрос на самые красивые изделия Гестер был невелик. Тем не менее склонность людей той эпохи к искусным произведениям такого рода повлияла и на наших суровых предков, хотя они и отказались от многих, на первый взгляд куда более существенных, потребностей. Публичные церемонии, как посвящение в духовный сан или введение в должность судей, словом, все, что могло придать величавость формам, в которых новое правительство представало перед народом, сопровождались, по политическим расчетам, стройными торжественными обрядами и сумрачной, но глубоко обдуманной роскошью. Пышные брыжи, тщательно отделанные перевязи и ярко расшитые перчатки считались обязательными для парадной одежды тех, кто держал в руках бразды правления, и хотя закон против роскоши воспрещал простому народу подобные излишества, люди богатые и знатные предавались им

без ограничений. Похороны, равным образом, были источником спроса на некоторые изделия Гестер Прин, служившие как для того, чтобы обряжать покойников, так и для того, чтобы, в виде бесчисленных эмблем из черного сукна и белоснежного батиста, подчеркивать скорбь живых. Детские платьица — ибо в те времена детей одевали с большой пышностью — также давали возможность потрудиться и заработать.

Постепенно, и даже сравнительно быстро, вышивки Гестер вошли, выражаясь современным языком, в моду. Из жалости ли к столь несчастной женщине; из болезненного ли любопытства, придающего воображаемую ценность обычным или даже бесполезным вещам; по иной ли неосязаемой причине, достаточной встарь, как и ныне, для того чтобы предоставить одному человеку то, в чем было бы отказано другому; потому ли, что Гестер действительно владела искусством, в котором ее никто не мог заменить, — так или иначе, но ей легко и охотно давали столько заказов, сколько она соглашалась взять. Быть может, тщеславие, надевая для торжественных церемоний одежду, украшенную ее грешными руками, мнило, что оно смиряет себя… Ею были сработаны брыжи губернатора; ее вышивки красовались

на шарфах военных и воротниках священников; они окаймляли детские чепчики; исчезали под крышками гробов, где потом, изъеденные плесенью, рассыпались во прах. Но нигде нет указаний на то, чтобы хоть раз кто-нибудь обратился к Гестер, когда нужно было вышить белую фату, призванную скрывать целомудренный румянец невесты. Это исключение говорило о том, что общество по-прежнему хмуро и неодобрительно взирало на ее грех.

Гестер не стремилась заработать больше, чем требовалось для того, чтобы самой вести скромное, даже аскетическое существование и содержать в достатке ребенка. На ней всегда были темные платья из грубой материи, украшенные лишь алой буквой, которую она была обречена носить, зато наряды для девочки она придумывала с удивительной, можно сказать фантастической изобретательностью; подчеркивая воздушную грацию, рано проявившуюся в ребенке, они, по-видимому, преследовали еще какую-то цель. Но об этом мы поговорим позднее. За вычетом небольших расходов на одежду дочери, весь излишек своих средств Гестер раздавала людям, менее несчастным, чем она сама, и нередко оскорблявшим ту, чья рука их кормила.

Она тратила на шитье простой одежды для бедняков долгие часы, которые могла бы посвятить тончайшим произведениям своего искусства. Возможно, в этой скучной работе Гестер видела своего рода искупление, ибо ради нее жертвовала тем, что доставляло ей истинную радость. Было в ее натуре что-то восточное, пылкое, какая-то богатая одаренность и потребность в пышной красоте, а жизнь она вела такую, что удовлетворить эту жажду могла лишь с помощью своего несравненного мастерства. Тонкое и кропотливое рукоделие доставляет женщинам удовольствие, которого мужчинам не понять. Быть может, вышивание помогало Гестер выразить, а следовательно, и утишить страсть, заполнявшую ее жизнь. Считая эту радость греховной, она осудила ее вместе со всеми остальными радостями. Но такая болезненная борьба совести с неуловимыми ощущениями не говорит, по-видимому, об искреннем и стойком раскаянии; в ней таится нечто сомнительное и даже глубоко порочное.

Так или иначе, Гестер Прин добилась своего места в жизни. Благодаря природной энергии и редким способностям молодой женщины людям не удалось полностью выбросить ее из своей среды, но она была отмечена печатью, более невы-

носимой для женского сердца, чем клеймо на лбу Каина. Поэтому в своих взаимоотношениях с обществом Гестер чувствовала себя отщепенкой. Каждый жест, каждое слово, порою даже молчание тех, с кем она сталкивалась, подразумевали, а иногда и выражали ее отверженность и такое одиночество, словно она жила на другой планете или общалась с нашим миром при помощи других органов чувств, чем остальные смертные. Она стояла в стороне от всех людских треволнений и все же была близка к ним, подобно духу, который посещает свой семейный очаг, но уже не может сделаться видимым или ощутимым, смеяться домашним радостям и сочувственно оплакивать горе. Если бы ему и удалось проявить это воспрещенное сочувствие, оно вызвало бы только ужас и глубокое отвращение. Лишь на эти чувства в сердцах людей, да еще на оскорбительное презрение, казалось, имела право Гестер. Время было не слишком утонченное, и хотя она отлично понимала и вряд ли могла забыть свое положение, ей напоминали о нем вновь и вновь, задевая уязвленное, больное самолюбие грубым прикосновением к самому чувствительному месту. Как мы уже говорили, бедняки, на которых она пыталась излить свою доброту, часто опле-

вывали протянутую им для помощи руку. Дамы высокого положения, в чьи дома она приносила заказанные ей вышивки, также не упускали случая уронить каплю горечи в ее сердце — порою с помощью той алхимии затаенной злобы, которая позволяет женщинам извлекать тончайший яд из ничтожнейших пустяков, порою же с помощью грубых слов, отзывавшихся в беззащитном сердце страдалицы как удары кулаком по открытой ране. Гестер долго и усердно обуздывала себя и никогда не отвечала на эти выпады, однако волна крови невольно окрашивала ее бледные щеки и мгновенно отливала в глубину сердца. Она была терпелива, как мученица, но не пыталась молиться за своих врагов, опасаясь, что, вопреки ее желанию все простить, слова благословения будут упрямо превращаться в проклятия.

Бесчисленные оскорбления, хитроумно уготованные пожизненным, не знающим смягчения приговором пуританского суда, тысячами различных способов непрерывно истязали Гестер. Священники останавливались на улице, увещевая несчастную грешницу, вокруг которой немедленно собиралась то хмурая, то насмешливая толпа. Если воскресным днем она входила в церковь, надеясь встретить улыбку всеблагого

отца, ей нередко случалось с болью обнаружить, что темой для проповеди служит именно ее жизнь. Постепенно Гестер стала бояться детей, так как они переняли у родителей смутное представление о чем-то страшном, что таится в этой скорбной женщине, которая, держа ребенка на руках, бесшумно и всегда одиноко скользит по улицам. Поэтому они сперва пропускали ее, а потом преследовали издали, визгливо выкрикивая слово, тем более страшное для Гестер, что детские губы лепетали его бессознательно, ибо оно не имело для них смысла. Это значило, что ее бесчестье известно всем, всему живому. Гестер не было бы больнее, если бы о ее мрачном прошлом шептались древесные листья, шелестел летний ветерок, выла зимняя вьюга. Не меньшей пыткой были взгляды незнакомых людей. Когда приезжие с любопытством рассматривали алую букву, — а рассматривали, конечно, все, — они заново прожигали ею сердце Гестер, и она с огромным трудом подавляла — и все-таки всегда подавляла — желание прикрыть грудь рукой. Но и взгляды местных жителей были по-своему мучительны. Ее терзало их беглое, холодное внимание. Короче говоря, всякий раз, когда на знак кто-нибудь смотрел, Гестер Прин испытывала

невыносимые страдания. Рана не затягивалась, напротив, ежедневная пытка все больше ее растравляла.

Но изредка, быть может один раз за много дней и даже месяцев, ей случалось почувствовать на отвратительном клейме взгляд, человеческий взгляд, который приносил ей мгновенное облегчение, словно кто-то разделил с ней ее муку. В следующую секунду боль возвращалась с еще большей силой, ибо за этот короткий промежуток времени Гестер успевала заново согрешить. Одна ли она грешила?

Жизнь, полная скрытых и жестоких страданий, не могла не отразиться на воображении Гестер, а будь она женщиной более мягкого и утонченного склада, отразилась бы еще сильнее. Одиноко двигаясь в пределах узкого мирка, с которым была внешне связана, она думала иногда, — а ее фантазии обладали непреодолимой навязчивостью, — она чувствовала или воображала, что алая буква наделила ее как бы новым органом чувств. Содрогаясь, Гестер тем не менее верила в свою способность угадывать, благодаря внутреннему сродству, тайный грех в сердцах других людей. Открытия, которые она делала, повергали ее в ужас. Что они означали? Быть может, то были

коварные наветы злого духа, которому хотелось убедить сопротивлявшуюся женщину, еще не ставшую целиком его жертвой, что внешнее обличье чистоты может лгать, что если бы удалось узнать правду, алая буква запылала бы на груди многих, а не одной только Гестер Прин? Или же эти смутные и вместе с тем отчетливые ощущения отражали истину? Во всем ее тягостном жизненном опыте не было ничего страшнее и отвратительнее этого чувства. Оно изумляло Гестер и повергало ее в смятение особенно потому, что иной раз появлялось в самых неподходящих случаях. Порою алое чудовище на ее груди начинало приветственно трепетать, когда она проходила мимо почтенного священника или судьи, слывших образцами набожности и справедливости, на которых люди той эпохи патриархального благочестия смотрели как на смертных, общающихся с небесами. «Что это рядом за грешник?»

— думала иногда Гестер. Она нерешительно поднимала глаза, но кругом не было ни единой живой души, кроме упомянутого ангела во плоти. Встречая ханжески-презрительный взгляд какой-нибудь матроны, про которую говорили, что она весь свой век прожила с куском льда в груди Гестер снова испытывала упрямое и таинствен-

ное чувство сродства. Но что общего было между нерастопленным снегом в груди матроны и жгучим стыдом на груди Гестер? Или же, случалось, внезапная дрожь предупреждала ее: «Смотри, Гестер, вон идет такая же грешница, как ты!» Оглянувшись, она перехватывала взгляд молодой девушки, робко из-под ресниц направленный на алую букву, а затем сразу же отведенный в сторону, и видела, что легкий зябкий румянец окрашивал щеки девушки, словно этот мгновенный взгляд уже запятнал ее невинность. О злобный дух, чьим талисманом был этот роковой символ, неужели ты осквернишь в глазах бедной грешницы весь человеческий род, не пощадив ни юности, ни старости? Одно из тягчайших следствий греха — утрата веры. Но так как Гестер Прин все еще мучительно старалась считать себя порочнее всех на свете, пусть это послужит доказательством того, что бедная жертва собственной слабости и безжалостного людского закона была не окончательно развращена.

Простые люди, относившиеся в те давние и мрачные времена с преувеличенным ужасом ко всему, что занимало их воображение, рассказывали об алой букве небылицы, которые мы вполне могли бы изложить в виде устрашаю-

щей легенды. Они утверждали, что алый знак не выкрашен в обыкновенном чане, а докрасна раскален в адском горниле и пылает на груди у Гестер, когда молодая женщина идет ночью по улицам. И мы должны прибавить, что он так глубоко прожег сердце Гестер Прин, что в этих россказнях, возможно, было больше правды, чем склонно признать наше современное неверие.

Глава VI
ПЕРЛ

До сих пор мы ничего не говорили о девочке, об этом маленьком существе, чья невинная жизнь — прелестный и бессмертный цветок — возникла по неисповедимой воле провидения из буйного порыва греховной страсти. С каким неослабным удивлением следила скорбная женщина за ростом своей дочери, за красотой, которая с каждым днем становилась все ярче, за разумом, озарявшим, словно трепетный солнечный луч, тонкое детское личико! Ее Перл! Гестер дала такое имя девочке не потому, что оно подходило к внешнему облику малютки, в котором не было ничего от спокойного, бледного, бесстрастного блеска, могущего оправдать сравнение с жемчужиной, а потому, что «Перл» означало нечто бесконечно дорогое, купленное ценой всего достояния Гестер, ее единственное сокровище! Поистине, как удивительно! Люди отметили прегрешение этой женщины алой буквой, оказывавшей такое могучее и пагубное воздействие, что человеческую симпатию Гестер вызывала

только у таких же грешных душ, как она сама. Бог дал ей прелестного ребенка — прямое следствие вины, заклейменной людьми, — чье место было на той же опозоренной груди, ребенка, который должен был навеки соединить мать со всеми живыми людьми и их потомками, а потом занять место среди праведных на небесах! Однако эти мысли внушали Гестер Прин скорее страх, чем надежду. Она знала, что совершила нечто дурное, и с трудом верила, что плод этого дурного будет хорош. День за днем она боязливо всматривалась в подраставшую дочь, вечно боясь обнаружить какую-нибудь страшную, чудовищную особенность, порожденную грехом, которому Перл была обязана жизнью.

Никаких физических изъянов Гестер в ней не находила. Девочка была так хорошо сложена, так здорова, с такой естественной ловкостью владела своими еще не развитыми членами, что была вполне достойна Эдема, достойна того, чтобы остаться там после изгнания наших прародителей и служить игрушкой ангелам. В ней таилось прирожденное изящество, не всегда сопровождающее безупречную красоту, и как бы просто она ни была одета, зрителю всегда казалось, что именно это платье ей особенно к лицу.

К тому же одета она была отнюдь не как замарашка. Ее мать, преследуя какую-то сумрачную цель, которая в дальнейшем станет понятнее, покупала самые дорогие ткани и давала полную волю фантазии, обдумывая и украшая наряды Перл, предназначенные для выходов в город. Так ослепительна была красота девочки, так прекрасна ее фигурка в пышных платьях, от которых померкла бы менее яркая внешность, что, казалось, вокруг нее на темном полу домика ложится сверкающий круг. Но и в коричневом платьице, испачканном и разорванном в пылу необузданных игр. Перл была не менее хороша собой. Ее очарование было бесконечно разнообразно: один ребенок воплощал в себе множество детей, начиная от прелестной, похожей на полевой цветок крестьяночки, и кончая уменьшенным подобием великолепной принцессы крови. Но во всех обличьях она сохраняла присущие ей пылкость и богатство красок. Если бы хоть раз девочка предстала хрупкой или бледной, она больше не была бы собой, не была бы Перл!

Эта внешняя изменчивость была лишь свидетельством и довольно точным выражением разносторонности ее натуры. В характере Перл она сочеталась с глубиной, но если только стра-

хи Гестер не были напрасны, ее дочь не умела приспособляться, приноравливаться к миру, в котором жила. Девочка не подчинялась никаким правилам. Ее рождение нарушило великий закон, и вот на свет появилось создание, наделенное качествами, быть может выдающимися и прекрасными, но находившимися в полном беспорядке или же в совершенно особом порядке, в котором трудно, почти невозможно было отличить многообразие от хаоса. Для того чтобы хоть как-то, хоть поверхностно понять своего ребенка, Гестер приходилось вспоминать, какова была она сама в тот знаменательный период, когда душа Перл складывалась из нематериальных элементов, а тело — из праха земного. Прежде чем проникнуть в душу еще не родившегося младенца, лучи духовной жизни должны были пройти сквозь грозовую мглу страстного увлечения матери, и как бы ни были они вначале белы и ясны, эта промежуточная среда окрасила их в золотисто-алые тона, придала им жгучий блеск, черные тени и нестерпимую яркость. Более же всего отразилась на Перл буря, сотрясавшая тогда душу Гестер. Мать различала в дочери свои необузданные, безумные чувства, бросавшие вызов всему миру, неустойчивость нрава, и даже

слезы отчаянья, омрачавшего, подобно туче, ее сердце. Теперь все это было озарено утренним сиянием детской жизнерадостности, но позднее, к полудню земного существования, сулило вихри и грозы.

Семейная дисциплина в те временна была куда строже нашей. Хмурый взгляд, сердитый окрик, частенько розга, подкрепленная авторитетом священного писания, применялись не только в виде наказания за совершенные проступки, но и в качестве средства, полезного для развития и совершенствования всех ребячьих добродетелей. Но Гестер Прин, нежной матери единственного ребенка, не грозила опасность оказаться излишне суровой. Памятуя о своих заблуждениях и несчастьях, она рано начала думать о необходимости мягкого, но неукоснительного надзора за бессмертной душой девочки, вверенной ее попечению. Эта задача оказалась ей не по плечу. Испробовав улыбки и суровые взгляды, убедившись, что ни то, ни другое не производит впечатления, Гестер принуждена была отойти в сторону, предоставив Перл ее собственным порывам. Конечно, физическое принуждение обуздывало девочку, но только на то время, пока оно длилось. Что же касается увещаний и других

воспитательных мер, обращенных к уму или сердцу девочки, то маленькая Перл поддавалась или не поддавалась им в зависимости от владевшего ею в этот миг каприза. Гестер научилась распознавать в глазах Перл, когда та была совсем еще малюткой, особенное выражение, которое предупреждало ее, что просить, убеждать или настаивать теперь бесполезно. Встречая этот взгляд, умный и в то же время непонятный, своенравный, а порою и злой, сопровождавшийся обычно буйными выходками, Гестер спрашивала себя, вправду ли Перл человеческое дитя. Она скорее была похожа на воздушного эльфа,[53] который поиграет в неведомые игры на полу комнаты, а потом лукаво улыбнется и улетит. Стоило такому выражению показаться в страстных, блестящих, совершенно черных глазках девочки, как вся она становилась странно отчужденной и недосягаемой, словно парила где-то в воздухе и могла исчезнуть, подобно блуждающему огоньку, который появился бог весть откуда и исчезнет бог весть куда. В эти минуты Гестер невольно бросалась к дочери, ловила на бегу

[53] Примечания: 53

Эльфы — сказочные волшебные существа, населяющие леса и горы. Маленькие грациозные и веселые эльфы, любящие музыку и танцы, воплощают в себе дружественные человеку силы природы.

старавшуюся ускользнуть шалунью и, осыпая поцелуями, крепко прижимала к груди не столько от переполнявшей ее любви, сколько из желания увериться, что Перл не плод фантазии, а ребенок из плоти и крови. Но смех пойманной девочки, веселый и гармоничный, все же звучал так странно, что сомнения матери лишь усиливались.

Порою, доведенная до отчаяния этим удивительным, непонятным наваждением, которое так часто становилось между ней и ее единственным сокровищем, купленным столь дорогой ценой и заменявшим ей весь мир, Гестер разражалась бурными слезами. В ответ иной раз — ибо точно предсказать поведение Перл было невозможно — девочка хмурила брови, сжимала кулачки, и на ее насупившемся личике появлялось суровое, неодобрительное выражение. Нередко она начинала смеяться еще громче, чем раньше, словно ей было неведомо и чуждо человеческое горе. Или — но это случалось реже — ее начинали сотрясать горькие рыдания, и она, всхлипывая, запинаясь, изливала свою любовь к матери, словно хотела доказать, что раз ее сердцу так больно, значит оно у нее существует. Но довериться этой порывистой нежности Гестер никак не могла, потому что улетучивалась она так же быстро, как появля-

лась. Размышляя над характером дочери, Гестер чувствовала себя подобно человеку, вызвавшему духа, но, из-за какой-то ошибки в заклинаниях, не находившему магического слова, которое должно было управлять странным и непонятным существом. Тревога покидала Гестер только когда девочка мирно спала в своей кроватке. Тогда, успокоившись за нее, мать переживала часы тихого, грустного, блаженного счастья, пока Перл снова не просыпалась, быть может все с тем же недобрым взглядом, поблескивающим из-под приоткрытых век.

Как скоро, с какой непостижимой быстротой достигла Перл возраста, когда дети начинают нуждаться не только во всегда готовых материнских улыбках и бессмысленных ласковых словах, но и в общении с другими детьми! И как счастлива была бы Гестер, если бы звонкий щебет дочери смешивался с криками других детей, если бы в слитном гомоне, играющих ребятишек можно было услышать, распознать дорогой ее сердцу голосок! Но об этом нечего было и думать. В детском мирке Перл была отщепенкой. Отпрыск порока, следствие и воплощение греха, она не имела права находиться в обществе христианских детей. С помощью какого-то необыкновенного чутья

девочка, казалось, поняла свое одиночество, свою судьбу, замкнувшую ее в неприступном кругу, словом, всю особенность своего положения среди сверстников. Со дня выхода из тюрьмы Гестер ни разу не появлялась в городе без дочери. Когда Перл была крошкой, мать носила ее на руках, а когда подросла и превратилась в маленькую подругу матери, она бежала рядом с ней по улицам, ухватившись кулачком за ее палец и делая три-четыре шага, пока та успевала сделать один. На порогах домов и на поросших травою обочинах улиц она видела детей, которые развлекались мрачными играми, подсказанными пуританским воспитанием: ходили в воображаемую церковь, наказывали плетьми квакеров, дрались с индейцами и снимали с них скальпы или гримасничали, изображая ведьм и пугая друг друга. Перл видела, внимательно смотрела, но никогда не пыталась знакомиться. Если с ней заговаривали, она не отвечала. Если иной раз дети окружали ее, она становилась просто страшной в своей детской ярости, хватала камни и бросалась ими с такими пронзительными, нечленораздельными возгласами, что Гестер пробирала дрожь: настолько они напоминали проклятия ведьм на каком-то неведомом языке!

Надо сказать, что маленькие пуритане, принадлежа к самому нетерпимому на свете племени, смутно чувствовали в матери и ребенке что-то иноземное, чуждое, не схожее с другими людьми, и поэтому сердца их были полны презрения, а губы нередко произносили грубую брань. Перл чувствовала их отношение и отвечала на него такой острой ненавистью, какая только может гнездиться в детской груди. Гестер одобрительно смотрела на эти бурные взрывы гнева и даже находила в них какое-то успокоение, потому что они свидетельствовали о понятной пылкости натуры, а не о прихотливом своенравии, так часто ее огорчавшем. И все-таки она приходила в ужас, узнавая и в этом смутное отражение дурного начала, жившего в ней самой. По неоспоримому праву Перл унаследовала страстную враждебность, наполнявшую сердце Гестер. Одна и та же черта отделяла мать и дочь от человеческого общества, и в характере ребенка словно запечатлелась неуравновешенность чувств самой Гестер Прин, чувств, которые сбили ее с пути до рождения Перл и начали утихать лишь под смягчающим влиянием материнства.

Внутри и вокруг материнского домика Перл не нуждалась в широком и разнообразном дет-

ском обществе. Жизненная сила, излучаемая ее неутомимым творческим духом, сообщалась тысяче вещей, как пламя факела охватывает все, к чему оно ни прикасается. Самые неподходящие предметы — палка, свернутые в узелок тряпки, цветок — становились куклами Перл и, оставаясь внешне неизменными, словно по волшебству приспособлялись к драме, которая разыгрывалась на подмостках внутреннего мира девочки. Ее детским голосом разговаривало между собой множество воображаемых существ, молодых и старых. Древние черные величавые сосны, печально вздыхавшие и охавшие под порывами ветра, без труда превращались во взрослых пуритан, а уродливые сорные травы — в их детей, которых Перл ожесточенно топтала и старалась вырвать с корнем. Поразительно, в какие многообразные формы отливалось ее воображение, не признававшее никакой последовательности. Девочка прыгала и плясала, обуреваемая сверхъестественной жаждой деятельности, потом падала, словно обессилев под напором столь быстрого и лихорадочного потока жизни, вновь вскакивала и с такой же бурной энергией начинала воплощаться в новые образы. Более всего это было похоже на фантасмагориче-

скую игру северного сияния. Но такую живость развившегося ума и работу воображения можно наблюдать у многих одаренных детей, с той лишь разницей, что, не имея товарищей игр, Перл вынуждена была ограничиваться созданными ею призраками. Особенность заключалась в том, что ко всем этим отпрыскам своего сердца и ума она относилась с глубокой враждебностью. У нее не было ни одного вымышленного друга, она всегда словно сеяла зубы дракона, дававшие обильную жатву вооруженных врагов, с которыми девочка потом вступала в яростный бой. Не только матери, чувствовавшей себя виновницей этого, но даже стороннему наблюдателю было бесконечно грустно видеть в таком юном существе понимание неприязненности окружающего мира и неустанное упражнение всех жизненных сил, которые понадобятся, чтобы одержать победу в предстоящей борьбе.

Глядя на Перл, Гестер Прин часто роняла рукоделие на колени и начинала плакать от горя, которое, как ни силилась она его скрыть, невольно вырывалось из ее груди в словах, похожих на стон: «Отец небесный, если ты по-прежнему мой отец, ответь мне, что за существо я произвела на свет!» А Перл, услышав восклицание матери

или почувствовав каким-то иным, неуловимым путем этот взрыв муки, поднимала к Гестер оживленное прелестное личико, улыбалась понимающей улыбкой эльфа и возобновляла игру.



Нельзя не рассказать еще об одной особенно-

сти поведения девочки. Что впервые в жизни привлекло к себе внимание Перл? Материнская улыбка, на которую она ответила, подобно другим детям, смутной улыбкой младенческих губ, вызывающей потом исполненное нежности недоумение, — действительно ли то была улыбка? О нет! Первым ее сознательным впечатлением была — увы! — алая буква на груди у Гестер. Однажды, когда мать склонилась над колыбелью, детский взгляд привлекло мерцание золотой вышивки вокруг буквы. Протянув ручонку, девочка попыталась схватить ее, улыбаясь не смутной, а самой настоящей улыбкой, сразу придавшей ее лицу недетское выражение. Задыхаясь, Гестер сжала в горсти роковое украшение, непроизвольно стараясь сорвать его: так мучительно было ей осмысленное прикосновение детской руки. А маленькая Перл посмотрела в глаза матери и снова улыбнулась, словно этот отчаянный жест позабавил ее. С той минуты Гестер забывалась и спокойно радовалась материнству только когда ребенок засыпал. Правда, случалось, что в течение нескольких недель глаза Перл ни разу не останавливались на алой букве, но потом неожиданно, словно удар грома с ясного неба, все повторялось сызнова, с той же странной улыбкой

и необыкновенным выражением во взгляде.

Однажды этот озорной нечеловеческий взгляд появился в глазах Перл, когда Гестер, по излюбленному обыкновению всех матерей, смотрела на свое отражение в них. И так как одиноких и смятенных женщин часто мучают непонятные фантазии, Гестер показалось, что она видит в маленьких черных зеркалах детских глаз не свой уменьшенный портрет, а чье-то чужое лицо. Черты этого дьявольски-злобного, насмешливого лица были ей хорошо знакомы, только в жизни они редко светились улыбкой и никогда не искажались глумлением. Словно нечистый дух, вселившись в девочку, издевательски выглядывал из ее глаз. Это наваждение потом не раз мучило Гестер, хотя уже не так остро.

Однажды летом, когда Перл уже научилась бегать, она забавлялась тем, что, собрав охапку полевых цветов, кидала их, один за другим, на грудь матери, приплясывая, как настоящий эльф, если ей удавалось попасть в алую букву. Сперва Гестер невольно попыталась закрыть сплетенными руками грудь. Потом, то ли из гордости, то ли из смирения, то ли считая, что эта невыразимая боль будет лучшим искуплением греха, она подавила свой порыв и сидела прямо,

бледная как смерть, горестно глядя в исступленно блестевшие глаза маленькой Перл. Цветы летели градом, почти неизменно попадая в букву и нанося сердцу матери раны, которым не было исцеления в этом мире и неизвестно, могло ли быть, — в ином. Наконец, исчерпав весь свой запас снарядов, девочка остановилась, глядя на Гестер, и в бездонной пропасти ее черных глаз появилось, — а если не появилось, то во всяком случае так почудилось Гестер, — маленькое смеющееся изображение нечистого духа.

— Девочка моя, кто ты такая? — воскликнула мать.

— Я твоя маленькая Перл! — ответила девочка.

Но, говоря это, Перл смеялась и подпрыгивала, забавно гримасничая, как маленький эльф, который вот-вот улетит через трубу.

— Неужели ты моя дочь? — допытывалась Гестер.

Гестер задала этот вопрос не для забавы, она была вполне искренна, ибо такова была удивительная сметливость Перл, что матери иногда казалось, будто ребенок знает тайну своей колдовской сущности и может рассказать о ней.

— Да, я твоя маленькая Перл! — повторила девочка, не прекращая своих ужнмок.

— Ты не мой ребенок! Ты не моя Перл! — полушутливо возразила Пастор, ибо в минуты самых тяжелых страданий ее нередко охватывало порывистое веселье. — Скажи, кто ты такая и кто тебя послал сюда?

— Нет, ты мне окажи, мама! — серьезно отозвалась девочка, подходя к матери и прижимаясь к ее коленям. — Скажи мне!

— Тебя послал твой небесный отец, — ответила Гестер Прин.

Но голос ее дрогнул, и это не ускользнуло от проницательности ребенка. Движимая обычной своей проказливостью или, быть может, владевшим ею злым духом, она протянула пальчик и коснулась алой буквы.

— Он не посылал меня, — уверенно заявила она. — Нет у меня небесного отца!

— Замолчи, Перл, замолчи! Не смей так говорить! — ответила мать, подавляя стон. — Он всех нас послал в этот мир, — даже меня, твою мать. Тем более тебя. А если нет, то ответь мне, удивительный, бесовский ребенок, откуда же ты взялась?

— Скажи сама! Скажи сама! — повторила Перл, но уже не серьезно, а прыгая и смеясь. — Это ты должна сказать!

Но Гестер, которая блуждала в мрачном лабиринте сомнений, не могла ей ответить. С улыбкой и одновременно с содроганием она вспомнила болтовню своих сограждан, которые, потеряв надежду узнать, кто был отцом Перл, и заметив некоторые ее странности, пришли к выводу, что бедняжка — отродье дьявола, подобное тем, которые, как издавна утверждали католики, порою появляются на земле с помощью своих согрешивших матерей и во исполнение неких нечистых и порочных целей. Лютер,[54] по вымыслу враждебных монахов, являлся отпрыском сатанинского племени, да и Перл была отнюдь не единственным ребенком, которому пуритане Новой Англии приписывали это не слишком приятное происхождение.

[54] Примечания: 54

Лютер, Мартин (1483–1546) — видный деятель реформации в Германии, основатель лютеранства. Выступление Лютера с тезисами против продажи индульгенций в 1517 году положило начало широкому общественному движению, направленному против католической церкви. Естественно поэтому, что враждебные Лютеру католические монахи считали его порождением ада и распространяли о нем всякие небылицы.

Глава VII
У ГУБЕРНАТОРА

Однажды Гестер Прин отправилась к губернатору Беллингхему, взяв с собой пару отделанных бахромой и вышитых перчаток, заказанных ей по поводу какого-то торжества, ибо, хотя случайности очередных выборов[55] заставили бывшего правителя спуститься на несколько ступенек по должностной лестнице, все же он занимал почетное и влиятельное место среди сановников колонии.

Но было еще одно обстоятельство, значительно более важное, чем заказ на вышитые перчатки, заставившее Гестер искать в этот день встречи с человеком, принимавшим такое большое и деятельное участие в делах поселенцев. До ее слуха дошло, что кое-кто из именитых граждан, придерживавшихся особенно строгих взглядов в вопросах религии и управления страной, задумал отобрать у нее ребенка. Основываясь на ранее упомянутой гипотезе о бесовском происхожде-

---

[55] Примечания: 55

...случайности очередных выборов... — Беллингхем после 1641 года не занимал поста губернатора вплоть до 1654 года.

нии Перл, эти добрые люди довольно резонно утверждали, что христианская забота о душе матери велит им убрать такой камень преткновения с ее пути. С другой стороны, если ребенок способен к моральному и религиозному совершенствованию и душа его может быть спасена, ему, конечно, пойдут на пользу преимущества, которые сулит опекун более праведный и мудрый, нежели Гестер Прин. В числе самых ярых сторонников этого замысла называли губернатора Беллингхема. Может показаться странным и даже немного смешным, что дело, которое в более поздние времена не пошло бы выше членов городского управления, публично обсуждалось и вызывало разногласия среди почтенных государственных мужей. Но в ту эпоху патриархальной простоты вопросы еще меньшего общественного интереса и значения, чем благополучие Гестер и ее ребенка, каким-то удивительным образом влияли на решения законодателей и государственные акты. Приблизительно, а может быть и точно, в описываемые годы возник спор о праве

собственности на свинью,[56] повлекший за собой не только бурную дискуссию в законодательном органе, но и существенные изменения в самой структуре законодательной власти.

Гестер Прин вышла из своего уединенного домика озабоченная, но настолько уверенная в своем праве, что схватка между обществом, с одной стороны, и одинокой женщиной, опиравшейся лишь на сочувствие природы, с другой, не казалась ей слишком неравной. С ней была, конечно, маленькая Перл. Девочка уже умела вприпрыжку бежать рядом с матерью, а так как с восхода и до заката солнца она находилась в непрерывном движении, то могла бы совершить путешествие и подлиннее предстоявшего. Тем не менее, скорее из каприза, чем по необходимости, она то и дело просилась на руки, а потом так же настойчиво требовала, чтобы ее опустили на землю, и забегала вперед, нередко спотыкаясь и падая на поросшей травой тропинке, но не причиняя себе никакого вреда. Мы уже говорили

---

[56] Примечания: 56

...возник спор о праве собственности на свинью... — Возникший в 1642 году спор между миссис Шерман и капитаном Робертом Кэйном о праве собственности на свинью, несмотря на ничтожность повода, вскрыл острые противоречия между богатыми и бедными членами пуританской общины. Он привел к разделению законодательного органа колонии на две палаты.

о горячей, бьющей в глаза красоте Перл, сверкавшей богатыми, яркими тонами. У девочки были глубокие блестящие глаза, темные волосы с каштановым отливом, которые обещали в будущем стать почти черными, и великолепный цвет лица. Вся она была пронизана огнем и казалась воплощением внезапно налетевшей страсти. Мать, обдумывая одежду для дочери, дала волю своей пылкой фантазии и нарядила ее в пунцовое бархатное платье необычного покроя, пышно расшитое узорами и завитками из золотых ниток. Эти ослепительные краски, от которых побледнели бы и померкли менее цветущие щеки, восхитительно шли к внешности Перл, превращая ее в самый яркий язычок пламени, когда-либо плясавший на земле.

Но замечательная особенность наряда, да и всего облика девочки, заключалась в том, что он неуклонно и неизменно напоминал зрителю о знаке на груди Гестер Прин, который она была осуждена носить. Это тоже была алая буква, но в иной форме, алая буква, наделенная жизнью! Красный символ бесчестья так глубоко прожег сознание Гестер, что все ее представления приняли его форму, и теперь, после долгих часов горького раздумья, она сумела искусно создать сходство

между предметом своей нежной любви и эмблемой позора и страданий. По существу Перл была и тем и другим, и только благодаря этому неразрывному единству Гестер удалось особенно полно воплотить в образе дочери алую букву.

Когда обе путницы подошли к черте города, несколько мальчишек оторвались от игр — вернее, от того, что эти мрачные маленькие пуритане называли играми, — и кто-то из них торжественно заявил:

— Смотрите-ка, вон идет женщина с алой буквой, а рядом с ней, честное слово, бежит еще одна алая буква! Давайте забросаем их грязью!

Но Перл, отличавшаяся бесстрашием, нахмурилась, топнула ногой, угрожающе замахала руками и, бросившись на кучку врагов, обратила их в бегство. Во время этого яростного преследования она была похожа на маленькую чуму, или скарлатину, или еще какого-нибудь полуоперившегося ангела правосудия, посланного на землю покарать подрастающее поколение за его грехи. Она вопила, визжала и вообще издавала неописуемые звуки, которые, несомненно, приводили в трепет сердца улепетывавших противников. Одержав победу. Перл спокойно вернулась к матери и с улыбкой подняла на нее глаза.

Без дальнейших приключений они добрались до жилища губернатора Беллингхема. Этот большой деревянный дом был выстроен в стиле тех зданий, которые все еще встречаются на улицах наших старейших городов, — замшелые, осыпающиеся и печально затаившие воспоминания о множестве событий, грустных и веселых, забытых и памятных, некогда случившихся и потом навеки похороненных в глубине сумрачных комнат. Но в то время внешность особняка хранила и свежесть первого года его существования и сверкавшую в залитых солнцем окнах приветливость человеческого жилья, куда еще ни разу не заглядывала смерть. Вид у него был очень веселый: к штукатурке стен было примешано множество стеклянных осколков, и когда косые лучи солнца падали на фасад, он переливался и искрился, точно осыпанный пригоршнями брильянтов. Этот блеск скорее подошел бы дворцу Аладдина,[57] чем дому старого и сурового пуританского правителя. Кроме того, здание было украшено, во вкусе эпохи, таинственными — по-видимому

[57] Примечания: 57

...дворцу Аладина... — В восточной сказке «Аладин и волшебная лампа» гений волшебной лампы построил герою за одну ночь дворец сказочной красоты.

каббалистическими[58] — знаками и фигурами, выделанными в сырой штукатурке и впоследствии до такой степени затвердевшими, что их прочность вызывала восхищенную зависть последующих поколений.

Увидев это сверкающее чудо, Перл стала прыгать, плясать и настойчиво требовать, чтобы со стены сняли весь солнечный свет и отдали ей поиграть.

— Нет, моя маленькая! — ответила мать. — Ты сама должна раздобыть для себя солнечный свет. Я тебе его не могу дать.

Они подошли к полукруглой двери, расположенной между двумя выступами в виде узких башенок, с решетчатыми окнами, которые можно было в случае надобности закрыть деревянными ставнями. Гестер приподняла железный молоток, висевший на двери, и постучала; ей открыл слуга губернатора, некогда свободный англичанин, от-

[58] Примечания: 58

Каббалистическими. — *Каббала* — возникшее в средние века мистическое тайное еврейское учение, связанное с магией, с символикой чисел, букв и геометрических фигур.

данный на семь лет в рабство.[59] В течение этого срока он был собственностью хозяина, таким же предметом купли и продажи, как вол или складной стул. На рабе была синяя куртка — обычная одежда слуг в старинных наследственных холлах англичан той эпохи, да и значительно более давних времен.

— Дома ли его милость губернатор Беллингхем? — осведомилась Гестер.

— Точно так! — ответил слуга, уставившись широко раскрытыми глазами на алую букву, которую он, будучи новым человеком в этих краях, видел впервые.

— Да, его милость дома. Но у него сейчас его преподобие священник, а может и два священника, да еще лекарь. Его милость сейчас нельзя видеть.

— Все равно, я войду, — ответила Гестер Прин, и слуга, сочтя, вероятно, что такой сверкающий знак на груди и решительный тон могут быть только у очень важной дамы, не стал ей препят-

---

[59] Примечания: 59

...отданный на семь лет в рабство. — В Новой Англии широко применялась «контрактация» белых рабочих, которые в уплату за переезд через океан принудительно обращались в рабство на семь лет. Таких «законтрактованных» рабочих можно было так же покупать и продавать с аукциона, как негров, их можно было наказывать плетью, а в случае побега — продлевать им срок кабалы.

ствовать.

Гестер Прин и маленькая Перл вошли в холл губернаторского дома. С многими видоизменениями, вызванными различиями в строительных материалах, климате и общественной жизни, губернатор Беллингхем замыслил свое жилище по образцу резиденций состоятельных джентльменов своей родины. Поэтому там был просторный и довольно высокий холл, протянутый во всю глубину дома и сообщавшийся с остальными комнатами. С одной стороны свет проникал в это обширное помещение через окна башенок, образовывавших небольшие ниши по обе стороны от входа; с другого конца его значительно ярче освещало полускрытое занавесом окно, — одно из тех осененных растениями окон, о которых мы читаем в старинных романах. На мягком, удобном диване в оконной амбразуре лежал том in folio — по-видимому Английские хроники[60] или иное, не менее поучительное произведение; точно так же мы, в наше время, разбрасываем на круглом столе золотообрезные книги, чтобы случайно забредшему гостю было что полистать.

---

[60] Примечания: 60

Английские хроники — памятник английской средневековой литературы, представляющий собой изложение истории Англии, начиная с легендарного короля Брута и кончая XIV–XV веками.

Обстановка холла состояла из громоздких дубовых кресел со спинками, украшенными искусной резьбой в виде венков из дубовых листьев, и стола в том же стиле: все эти вещи, елизаветинского или даже более раннего времени, достались губернатору в наследство и были вывезены им из отчего дома. На столе, в знак того, что и на новом месте старинное гостеприимство не забыто, стояла оловянная пивная кружка, и если бы Гестер или Перл заглянули в нее, они увидели бы на дне пенистые остатки только что выпитого эля.

На стене в ряд висели портреты предков Беллингхема; иные из них были изображены в латах, другие — в пышных брыжах и придворных костюмах. У всех был строгий и суровый вид, характерный для старинных портретов, словно это были не картины, а духи усопших мужей, глядящие с гневом и нетерпимым порицанием на дела и радости живых.

Приблизительно посередине одной из дубовых панелей, которые шли вокруг всего холла, висели доспехи — не наследственные реликвии, вроде портретов, а настоящие латы, самой современной выделки, изготовленные на заказ искусным лондонским оружейником в тот год, когда губернатор Беллингхем уехал в Новую Англию. Тут

были и стальной шлем, и панцирь, и латный воротник, и наголенники, а ниже — пара рукавиц и меч; все, в особенности же шлем и нагрудник, было начищено до такой степени, что искрилось белым блеском, отбрасывая яркие блики на пол. Эти блистающие доспехи являлись не просто бесполезным украшением, но частенько служили губернатору на торжественных смотрах и воинских ученьях, а также сверкали на нем, когда он выступал во главе полка во время Пекватской кампании.[61] Ибо хотя по образованию Беллингхем был законоведом и привык говорить о Бэконе,[62] Коке,[63] Нуа[64] и Финче[65] как о своих собратьях по профессии, требования новой родины превратили его не только в государственного мужа и правителя, но и в воина.

---

[61] Примечания: 61

Пекватская кампания — война против индейского племени пекватов (1633–1637). Белые колонисты в Новой Англии проводили жестокое и планомерное истребление индейских племен, вырезали поголовно целые поселения, устанавливали премии за индейские скальпы. Война против индейского племени наррангансетов и их союзников окончилась только в 1670-х годах. Индейцы были окончательно уничтожены. Их король Филипп, сын Массасойта, спасшего первых переселенцев от голодной смерти, был казнен, а его голова надета на кол. Пуританский священник Котон Мэзер взял себе на память кусок его челюсти.

[62] Примечания: 62

Бэкон, Франсис (1561–1626) — выдающийся философ, родо начальник английского материализма. Здесь упоминается не столько как философ, сколько как прославленный законовед, занимавший пост лорда-канцлера Великобритании.

[63] Примечания: 63

Кок, Эдвард (1552–1634) — английский юрист.

[64] Примечания: 64

Нуа, Уильям (1577–1634) — английский юрист, занимал должность генерального прокурора в царствование Карла I.

[65] Примечания: 65

Финч, Генри (ум. в 1625) — английский юрист и автор ряда теоретических работ в области права.

Сверкающие латы понравились маленькой Перл не меньше, чем искрящийся фасад дома, и она загляделась на отполированный до зеркального блеска нагрудник.

— Мама! — воскликнула она. — Я вижу тебя! Посмотри! Посмотри!

Чтобы доставить девочке удовольствие, Гестер посмотрела и прежде всего увидела алую букву, увеличенную, благодаря свойствам этого изогнутого зеркала, до гигантских размеров. Она почти совсем заслонила собою Гестер. Перл показала пальцем вверх, на такое же отражение в зеркальной поверхности шлема, улыбаясь насмешливой улыбкой эльфа, столь обычной на ее личике. Это выражению недоброго веселья было так подчеркнуто и усилено зеркалом, что Гестер опять показалось, будто она видит не свою дочь, а какого-то злого бесенка, принявшего облик Перл.

— Пойдем, Перл, — сказала она, уводя девочку. — Посмотри, какой замечательный сад! Наверно, там есть такие красивые цветы, каких мы не видели в лесу.

Перл тотчас же подбежала к оконной амбразуре в дальнем конце холла и взглянула на лужайку, покрытую низко срезанной травой и обсаженную низкорослым, некрасивым подобием кустарни-

ка. Здесь, по эту сторону Атлантического океана, на неблагодарной почве и в условиях жестокой борьбы за существование, владелец дома, видимо, изменил традиционному английскому пристрастию к декоративному садоводству. На самом виду росли капустные кочаны, а посаженная в отдалении тыква дотянулась плетями до дома и принесла один из своих огромных плодов прямо под окно холла, словно предупреждая губернатора, что лучшего украшения, чем эта глыба растительного золота, земля Новой Англии дать не может. Однако в саду все же росло несколько кустов роз и много яблонь, потомков тех, быть может, что были посажены достопочтенным мистером Блэкстоном,[66] первым поселенцем на полуострове, полулегендарной личностью, проезжающей по страницам наших старинных летописей верхом на буйволе.

Увидев кусты роз. Перл стала умолять, чтобы ей дали красную розу, и никак не хотела успокоиться.

---

[66] Примечания: 66

Блэкстон, Уильям (1595–1675) — один из самых ранних колонистов Новой Англии. Он первым поселился на том месте, где позднее был заложен город Бостон, но впоследствии уехал оттуда, не ужившись с пуританами. Образованный, свободомыслящий человек, любитель одиночества, владелец множества книг, запросто друживший с индейцами. О нем возникло много легендарных слухов, которые отражали одновременно и неприязнь и уважение со стороны пуритан.

— Тише, доченька, тише! — уговаривала ее Гестер. — Не плачь, маленькая Перл! Я слышу голоса в саду. Сюда идет губернатор, и с ним еще джентльмены.

Действительно, в просвете садовой аллеи показалось несколько человек, направлявшихся к дому. Перл, не обращая ни малейшего внимания на уговоры матери, издала душераздирающий вопль, но сразу же смолкла — не из послушания, а потому, что появление неизвестных людей задело ее живое и неустойчивое любопытство.

Глава VIII
ЭЛЬФ И ПАСТОР

Губернатор Беллингхем в просторном халате и удобном берете, то есть в излюбленном домашнем костюме пожилых джентльменов, шел впереди, показывая, очевидно, свою усадьбу и объясняя, какие усовершенствования он собирается в ней ввести. Его седая борода покоилась на широком круге брыжей, туго накрахмаленных, как полагалось в минувшие времена короля Иакова I,[67] придавая голове губернатора некоторое сходство с головой Иоанна Крестителя на блюде.[68] Чопорность, непреклонность облика этого пуританина, тронутого изморозью поздней, осен-

---

[67] Примечания: 67

Иаков I (1566–1625) — английский король (1603–1625) из династии Стюартов. Пытался укрепить феодально-абсолютистский строй накануне буржуазной революции XVII века. Пышная одежда вельмож при дворе Иакова I резко отличалась от подчеркнуто аскетической черной одежды пуритан.

[68] Примечания: 68

...головой Иоанна Крестителя на блюде. — Иоанн Креститель — библейский пророк, которого считали предшественником Христа, осуществившим над ним обряд крещения в реке Иордан.

Согласно легенде, Иоанн был казнен Иродом Антипой, и его отрубленная голова была внесена на блюде напоказ супруге Ирода, которую оскорбил Иоанн в своей проповеди.

ней поры жизни, плохо вязалась с обстановкой мирских радостей, которой он явно старался себя окружить. Но было бы ошибкою полагать, что наши славные прадеды, постоянно говорившие и думавшие о человеческой жизни как о временно ниспосланном испытании и тяжкой борьбе и непритворно готовые отречься во имя долга от всех земных благ и от самой этой жизни, считали делом своей чести отказ от таких удобств и даже роскоши, какие им были доступны. Этому, например, никогда не учил почтенный пастор Джон Уилсон, чья белоснежная борода виднелась за плечом губернатора Беллингхема, в то время как ее владелец доказывал, что груши и персики вполне могут приспособиться к климату Новой Англии, а румяные гроздья будут вызревать возле солнечной садовой ограды. У старого священника, вскормленного обильной грудью англиканской церкви,[69] был давно сложившийся и законный вкус ко всем приятным, удобным

[69] Примечания: 69

Англиканская церковь — протестантская государственная церковь в Англии. Возникла в 1534 году при Генрихе VIII, который объявил, что король, а не папа римский является главой церкви. Называется еще епископальной церковью, так как руководящую роль в ней играют епископы, входящие в палату лордов во главе с архиепископом Кентерберийским — примасом церкви и первым пэром королевства. В XVII веке против епископальной церкви боролись пуритане, считавшие ее структуру и ритуал слишком близкими к католицизму.

вещам, и хотя Джон Уилсон казался суровым, произнося проповеди или публично осуждая таких грешниц, как Гестер Прин, тем не менее в частной жизни он отличался сердечной благожелательностью, и поселенцы питали к нему более теплые чувства, чем к его коллегам.

Вслед за губернатором и мистером Уилсоном шло еще двое гостей: преподобный Артур Димсдейл, которого читатель безусловно помнит, как невольного и кратковременного участника сцены у позорного столба, и, плечо к плечу с ним, старый Роджер Чиллингуорс, весьма искусный в медицине человек, два или три года назад поселившийся в городе. Ученый муж, по общему мнению, был не только врачом, но и другом молодого священника, здоровье которого сильно пострадало за последнее время из-за чрезмерной приверженности к трудам и обязанностям, связанным с его саном. Шедший впереди губернатор поднялся по ступеням и, раскрыв створки стеклянной двери холла, очутился лицом к лицу с маленькой Перл. Тень от занавеса, падая на Гестер, частично скрывала ее.

— Это что за явление? — удивленно спросил губернатор, глядя на алую фигурку, стоявшую перед ним. — Право же, я ничего подобного не ви-

дел со времен старого короля Иакова, когда я был суетен и считал великой честью, если меня приглашали на придворный маскарад. На рождество там появлялся целый рой подобных маленьких существ, и мы называли их детьми деда Мороза. Но как попала эта гостья в мой дом?

— Да, действительно! — воскликнул добрый старый мистер Уилсон. — Что это за птичка с алыми перышками? Знаете, я видел точно такие фигурки, когда солнечные лучи проникали сквозь цветные оконные стекла и на пол ложились золотые и пурпурные пятна. Но это было на старой родине. Скажи нам, малютка, кто ты такая и почему твоей матери пришла фантазия так странно тебя нарядить? Ты христианский ребенок? Учили тебя катехизису? Может быть, ты злой эльф или фея, которых, нам казалось, мы оставили вместе с разными папистскими пережитками[70] в доброй старой Англии?

— Я — мамина дочка, — ответило алое видение, — и зовут меня Перл.

— Перл? Скорее Рубин, или Коралл, или в крайнем случае Красная Роза, если судить по твоему цвету! — (заметил старый священник, тщетно

---

[70] Примечания: 70

...папистскими пережитками... — «Папистами» пуритане презрительно называли католиков.

пытаясь потрепать рукой щечку маленькой Перл. — А где же твоя мама? О, я вижу! — добавил он и, повернувшись к губернатору Беллингхему, шепнул: — Это то самое дитя греха, о котором мы с вами беседовали. А вон стоит несчастная Гестер Прин, ее мать.

— Что вы говорите? — воскликнул губернатор. — Впрочем, мы могли предвидеть, что мать такого ребенка должна быть блудницей, подлинной вавилонской блудницей.[71] Но пришла она вовремя, и мы сразу же займемся этим делом.

Губернатор Беллингхем и его спутники вошли в холл.

— Гестер Прин, в последнее время о тебе было много разговоров, — сказал губернатор, и его суровые глаза впились в носительницу алой буквы. — Нам пришлось всесторонне обсудить вопрос о том, согласно ли с совестью поступили мы, облеченные властью и влиянием люди, вручив бессмертную душу стоящего здесь ребенка попечению женщины, которая оступилась и попала в западню соблазнов мира сего. Ты мать

---

[71] Примечания: 71

...вавилонской блудницей. — В библии Вавилон, живший шумной распущенной жизнью богатого торгового и административного центра, именовался «великой блудницей», а также «матерыо блудницам и мерзостям людским».

этого ребенка, скажи же свое слово! Не думаешь ли ты, что если девочку возьмут у тебя, и скромно оденут, и будут держать в строгости, и научат истинам, божественным и человеческим, это послужит благополучию твоей дочери на земле и спасению ее души на небе? Что для этого можешь сделать ты?

— Я могу научить мою маленькую Перл тому, чему меня научило вот это! — ответила Гестер Прин, дотрагиваясь пальцем до красной буквы.

— Женщина, это символ твоего позора! — сурово ответил губернатор. — Мы хотим передать ребенка в другие руки именно из-за нечистого пятна, на которое указывает буква.

— Тем не менее, — бледная, но не теряя спокойствия, ответила мать, — этот знак научил меня, учит каждый день, учит в эту самую минуту тому, что поможет моему ребенку стать благоразумнее и лучше, чем была я, хотя мне уже ничто не поможет.

— Мы будем судить с осмотрительностью, — оказал Беллингхем, — и глубоко обдумаем, как нам надлежит поступить. Достопочтенный отец Уилсон, задайте вопросы Перл — поскольку таково ее имя — и выясните, получает ли она ту христианскую пищу, какую должен получать

каждый ребенок в этом возрасте.

Старый пастор сел в кресло и попробовал притянуть к себе Перл. Но девочка, не привыкшая к прикосновению чьих-либо рук, кроме материнских, выбежала в открытую дверь и остановилась на верхней ступеньке, похожая на неприрученную тропическую птичку с яркими перышками, готовую вот-вот вспорхнуть и улететь. Мистер Уилсон, весьма удивленный тем, что Перл вырвалась от него, ибо его добродушная старческая внешность обычно располагала к нему детей, все же попытался задать ей вопрос.

— Перл, — торжественно произнес он, — ты должна прилежно учиться, чтобы в должное время в твоем сердце засиял драгоценный перл. Можешь ты сказать, дитя мое, кто тебя создал?

Перл отлично знала, кто ее создал, так как Гестер, дочь благочестивых родителей, вскоре после разговора с дочерью о небесном отце начала внушать ей истины, которые человеческий разум, не достигший еще полной зрелости, впитывает в себя с неослабным вниманием. Успехи Перл за три первых года ее жизни были таковы, что она могла бы с успехом ответить на все во-

просы по Ново-английскому букварю[72] или по первому столбцу Вестминстерского катехизиса, хотя и в глаза не видела этих прославленных учебников. Но именно в эту на редкость неподходящую минуту девочкой овладело упрямство, так или иначе свойственное всем детям, а ей в особенности, и она либо вообще молчала, либо говорила невпопад. Сперва маленькая Перл, сунув палец в рот, сердито отказалась отвечать на вопросы доброго мистера Уилсона, а под конец заявила, что никто ее не создал, а просто мать нашла в розовом кусте у дверей тюрьмы.

Эта выдумка была, очевидно, навеяна как близостью красных роз губернатора, — Перл все еще стояла на ступеньке лестницы, — так и воспоминанием о розовом кусте возле тюрьмы, мимо которого она в этот день проходила.

Старый Роджер Чиллингуорс, улыбаясь, шепнул что-то на ухо молодому священнику. Гестер взглянула на врача, и даже в эту минуту, когда решалась ее судьба, не могла не поразиться перемене, происшедшей в нем с тех давних пор, когда она близко его знала: он стал еще безобразнее

---

[72] Примечания: 72

Ново-английский букварь и *Вестминстерский катехизис* — книги, по которым производилось начальное обучение пуританских детей закону божьему.

— смуглые щеки еще потемнели, искривленная фигура совсем сгорбилась. На мгновение глаза их встретились, но Гестер сразу же пришлось сосредоточить все свое внимание на том, что происходило в холле.

— Это ужасно! — возмущался губернатор, медленно приходя в себя от изумления, в которое поверг его ответ Перл. — Девочке уже три года, а она не знает, кто ее создал! Ее душа погружена во тьму, она не понимает ни своей теперешней порочности, ни того, что ей уготовано в будущем! Я думаю, джентльмены, нам не о чем больше спрашивать.

Гестер схватила Перл и прижала ее к себе, гневно глядя на старого пуританина. Одинокая, отвергнутая миром, владевшая только этим сокровищем, отогревавшим ее сердце, она считала свои права неотъемлемыми и готова была ценой собственной жизни отстаивать их против всего мира.

— Эту девочку мне дал господь! — воскликнула она. — Он дал мне ее, чтобы возместить все, что вы у меня отняли! В ней мое счастье и мое мучение! Перл удерживает меня в жизни, и она же меня карает! Разве вы не видите, что она тоже — алая буква, но эту алую букву я люблю, и поэтому

нет для меня на свете страшнее возмездия, чем она! Вы не отнимете ее у меня! Прежде отнимите жизнь!

— Бедная женщина! — оказал не совсем очерствевший старый священник. — За ребенком будут хорошо присматривать, гораздо лучше, чем ты сама.

— Господь вверил ее мне! — почти до крика повышая голос, повторила Гестер. — Я ее не отдам! — И тут, движимая внезапным порывом, она обернулась к молодому священнику, мистеру Димсдейлу, на которого до сих пор, казалось, ни разу не взглянула. — Вступись же хоть ты за меня! — воскликнула она. — Ты был моим пастырем и пекся о моей душе; ты знаешь меня лучше, чем эти люди! Я не отдам ребенка! Вступись за меня! В тебе больше доброты, чем в них, и ты знаешь, что скрыто в моем сердце, и каковы материнские права, и насколько они велики, когда у матери нет ничего, кроме ее ребенка и алой буквы! Защити же меня! Я не отдам ребенка! Защити меня!



Услышав этот странный и страстный призыв, говоривший о том, что Гестер доведена почти до безумия, мистер Димсдейл побледнел и, прижав руку к сердцу, как делал всякий раз, когда что-

нибудь задевало его необычайно обостренную чувствительность, сразу же выступил вперед. Он казался еще более измученным и исхудалым, чем во время описанной нами сцены у позорного столба, и потому ли, что его здоровье пошатнулось, по другой ли причине, но в беспокойной и печальной глубине больших черных глаз молодого священника таился целый мир страданий.

— В ее словах есть правда, — оказал он голосом, мягким и дрожащим, но столь сильным, что по холлу прокатилось эхо, на которое отозвались пустые доспехи. — Есть правда и в словах Гестер и в чувствах, ее одушевляющих! Господь дал ей ребенка, а вместе с ним и бессознательное понимание его нужд и характера — совсем необычного, насколько можно судить; такого понимания больше не может быть ни у единого смертного существа. А кроме того, разве не таится нечто высокое и священное в отношениях этой матери и этого ребенка?

— Что вы хотите оказать, любезный мистер Димсдейл? — прервал его губернатор. — Объяснитесь, пожалуйста!

— Безусловно, таится, — ответил сам себе мистер Димсдейл. — Ибо, не согласившись с этим, мы тем самым стали бы утверждать, что небесный

отец — создатель всего сущего — легко принимает греховный проступок и не делает различия между нечестивой страстью и святой любовью. Это дитя отцовского греха и материнского позора явилось на свет по воле вседержителя, чтобы множеством способов воздействовать на сердце той, которая так горячо и с такой горькой мукой молит о праве не расставаться с ним. Ребенок дан был матери как благословение — единственное благословение ее жизни! Дан он был также, — и это признала она сама, — как наказание, как пытка, как острая боль, которая настигает в самые неожиданные минуты, как удар хлыста, как вечное терзание среди отравленной радости. Разве не выразила она этого в одеянии несчастной малютки, которое неуклонно напоминает нам о красном знаке, испепеляющем грудь грешницы?

— Хорошо оказано! — воскликнул добрый мистер Уилсон. — Я боялся, что женщиной движет низменное желание превратить девочку в фиглярку.

— Нет, о нет! — продолжал священник. — Поверьте мне, она понимает, что, подарив ей ребенка, господь сотворил великое чудо. Пусть же она чувствует — а иначе, по моему мнению, и быть не может, — что это благодеяние было

свершено для того, чтобы сохранить живой душу матери и предостеречь от еще более черных бездн греха, куда, в противном случае, ее мог бы ввергнуть дьявол. Поэтому правильно, что бедной грешнице вверено дитя с бессмертной душой, существо, могущее заслужить вечные муки или вечное блаженство, ребенок, порученный ее попечению, дабы она воспитала его в добродетели и ежесекундно помнила, глядя на него, о своем падении и вместе с тем понимала, что если она вырастит этого ребенка — священный дар творца — достойным небес, ребенок откроет врата небес и для своей матери. В этом грешная мать счастливее грешного отца. Во имя Гестер Прин, а также во имя несчастного ребенка, оставим их жить так, как предначертало провидение!

— Мой друг, вы говорите с удивительным пылом, — заметил, улыбаясь, старый Роджер Чиллингуорс.

— В словах моего молодого брата содержится глубокая правда, — добавил преподобный мистер Уилсон. — А что скажете вы, глубокоуважаемый мистер Беллингхем? Он убедительно говорил в защиту бедной женщины, не так ли?

— Очень убедительно, — ответил губернатор, — и привел такие веские доводы, что мы оставим

все по-старому, во всяком случае до тех пор, пока эта женщина не свершит нового греха. Однако нужно позаботиться, чтобы вы или мистер Димсдейл как следует, по всем правилам, проверили знания ребенка в катехизисе. Сверх того, в должное время нужно будет позаботиться о том, чтобы девочка начала посещать школу и церковь.

Окончив речь, мистер Димсдейл отошел в сторону и стал так, что его лицо частично скрылось за тяжелыми складками занавеса, а залитая солнцем фигура отбросила тень на пол, — и эта тень трепетала от волнения, только что пережитого молодым священником. Перл, необузданный и ветреный маленький эльф, тихонько подкралась к нему и, обхватив обеими ручонками его руку, прижалась к ней щекой. Эта ласка была так нежна и ненавязчива, что Гестер, следившая взглядом за дочерью, подумала: «Неужели это моя Перл?» Однако она знала, что сердце ее дочери способно к любви, хотя выражалась эта любовь главным образом в страстных порывах и едва ли два раза за всю жизнь девочки была смягчена такой нежностью. И так как на свете нет ничего слаще, — не считая долгожданного внимания женщины, — чем знаки детского предпочтения, оказанного внезапно, по какой-то внутренней

симпатии, и поэтому словно подтверждающего, что в нас действительно таится нечто достойное любви, священник обернулся, положил руку на головку девочке и, секунду поколебавшись, поцеловал ее в лоб. Но неожиданный прилив чувств у Перл тут же сменился весельем, и она запрыгала по холлу с такой воздушной легкостью, что старый мистер Уилсон усомнился, касается ли она ножками пола.

— Я готов поверить, что в девчонке скрыта колдовская сила, — сказал он мистеру Димсдейлу. — Ей не нужно старушечьего помела, чтобы улететь через трубу!

— Странный ребенок! — заметил старый Роджер Чиллингуорс. — В ней очень заметно сходство с матерью. Но как вы думаете, джентльмены, может ли философ, изучив характер девочки, восстановить душевный облик отца и таким образом догадаться, кто он такой?

— Нет, мы взяли бы грех на душу, если бы в таком вопросе положились на мирскую философию — сказал мистер Уилсон. — Лучше уж просить откровения в посте и молитве, а еще лучше — вовсе не касаться тайны, пока провидение само не пожелает раскрыть ее нам. К тому же каждый добрый христианин имеет право проявлять от-

цовскую доброту по отношению к несчастному покинутому ребенку.

Таким образом, все уладилось наилучшим образом, и Гестер с Перл покинули дом губернатора. Говорят, что когда они спускались с лестницы, в одной из комнат вдруг распахнулось решетчатое окно, и солнце осветило лицо миссис Хиббинс, сварливой сестры губернатора, той самой, которую несколько лет спустя сожгли на костре как ведьму.

— Тс-с! — прошептала она, и ее зловещая физиономия словно бросила тень на сияющий приветливой новизной дом. — Хочешь погулять с нами нынче ночью? В лесу соберется веселая компания, и я вроде как поручилась Черному человеку, что пригожая Гестер Прин придет со мной.

— Передайте от моего имени извинения, — с торжествующей улыбкой ответила Гестер. — Мне нужно быть дома и присматривать за моей маленькой Перл. Если бы ее отняли у меня, я, не раздумывая, пошла бы с тобой в лес и собственной кровью подписала свое имя в книге Черного человека.

— Все равно, мы скоро тебя заполучим! — нахмурившись, ответила ведьма и скрылась в

глубине комнаты.

И этот разговор, если только он не вымышлен, а происходил в действительности, служит доказательством того, что молодой священник был прав, возражая против разлучения падшей матери с плодом ее слабости. Будучи совсем крошкой, девочка уже спасла ее от козней сатаны.

Глава IX
ВРАЧ

Читатель помнит, что Роджер Чиллингуорс некогда носил другое имя, но пришел к решению никогда и никому его не открывать. Мы рассказывали о пожилом, утомленном дальней дорогой человеке, который оказался в толпе, созерцавшей отвратительную сцену бесчестья Гестер Прин; он только что выбрался из грозного девственного леса и сразу же увидел женщину, с которой были связаны все его надежды на радости и тепло домашнего очага, выставленной на всеобщее поругание, как символ греха. Ее женская честь была втоптана в грязь. Сплетни жужжали вокруг нее на рыночной площади. Если бы вести об этой женщине дошли до ее родных или спутников незапятнанного прошлого, им пришлось бы разделить этот позор в точном соотношении и соответствии со степенью нерушимости и святости их прежних с нею связей. Зачем же было человеку, соединенному с павшей женщиной узами особенно тесными и священными, выходить вперед и требовать столь сомнительное

достояние, раз от него самого зависело — делать это или не делать? Он не пожелал стать рядом с нею у позорного столба. Узнанный одной лишь Гестер, владея ключом к ее молчанию, он решил скрыть свое имя, отрешиться от прежних интересов и привязанностей и в этом смысле полностью исчезнуть из жизни, словно его и впрямь поглотила глубь океана, как давным-давно утверждали досужие толки. Как только это совершится, у него появятся новые интересы, новая цель в жизни — пусть темная, а может быть и предосудительная, но такая захватывающая, что для ее достижения он должен будет напрячь все свои силы и способности.

Приняв это решение, он поселился в пуританском городке под именем Роджера Чиллингуорса; единственными его рекомендациями были незаурядные знания и ум. Благодаря прежним своим занятиям он был весьма сведущ в современной ему медицине, поэтому представился как врач, и как таковой был всеми радушно принят. Искусные лекари и хирурги редко появлялись в колонии. Они в общем не разделяли того религиозного пыла, который заставил эмигрантов пересечь Атлантический океан. Возможно, что эти люди, употребив свои самые благородные

и ценные способности на исследование человеческого тела и отдавшись изучению сложных хитросплетений этого удивительного механизма, столь мастерски выполненного, словно он заключает в себе всю суть жизни, утратили понимание духовной стороны бытия. Так или иначе, здоровье добрых жителей Бостона, в той мере, в какой это касалось медицины, находилось до сих пор под опекой престарелого дьякона и одновременно лекаря, который в подтверждение своей осведомленности мог сослаться не столько на диплом, сколько на благочестие и добродетельную жизнь. Единственным костоправом был человек, соединявший случайные упражнения в этом высоком искусстве с ежедневным фехтованием бритвой. Для такой врачебной корпорации Роджер Чиллингуорс был блестящим приобретением. Он быстро доказал свое знакомство со старинным, внушительным и громоздким процессом приготовления лекарств, где каждое снадобье содержало множество мудреных, разнородных ингредиентов в таких замысловатых сочетаниях, словно в результате должен был получиться эликсир жизни. К тому же во время индейского плена он хорошо изучил свойства местных трав и растений и не скрывал от своих пациентов, что

эти простые лекарства — дар природы неученым дикарям — внушают ему не меньше доверия, чем европейская фармакопея, которую сотни лет разрабатывали просвещенные врачи.

Этот ученый чужеземец мог служить образцом благочестия, — внешнего, во всяком случае. Вскоре после прибытия в Бостон он избрал своим духовным отцом преподобного мистера Димсдейла. Молодой богослов, чьи редкие познания все еще служили темой разговоров в Оксфорде,[73] слыл среди наиболее ревностных своих почитателей почти что апостолом, осененным благодатью и предназначенным, если ему удастся прожить обычный жизненный срок, совершить столь же славные деяния во имя неокрепшей новоанглийской церкви, какие совершили отцы церкви[74] в младенческие годы христианской веры. Однако как раз в то время здоровье мистера Димсдейла начало явно сдавать. Люди, ближе всего знакомые с его жизнью, утверждали, что

---

[73] Примечания: 73

...в Оксфорде... — В Оксфорде (Англия) находится старейший университет Европы, основанный в 1163 году. В XVII веке этот университет был одним из центров богословской науки.

[74] Примечания: 74

Отцы церкви — старейшие богословские писатели ранних веков христианства; Тертулиан, Иероним, Блаженный Августин и др. — своими трудами во многом обусловили современную догматику христианской, в особенности католической церкви.

бледность молодого священника объясняется слишком большим пристрастием к ученым занятиям, до щепетильности добросовестным исполнением своих обязанностей в приходе и, особенно, частыми постами и бдениями, которыми он угнетал грубую земную плоть, дабы она не смела затемнять и туманить светоч духа. Некоторые утверждали, что если мистер Димсдейл умрет, значит земля недостойна носить его. Сам же священник, с присущим ему смирением, заявлял, что если провидение сочтет нужным прибрать его, значит он недостоин исполнять свою скромную миссию в этом мире. При всех разногласиях по поводу причины недуга мистера Димсдейла в самом недуге, никто не сомневался. Священник исхудал; в голосе его, все еще звучном и мягком, появилась болезненная трещинка — печальное предвестие телесного разрушения; люди замечали, что стоило мистеру Димсдейлу испугаться или почувствовать какое-нибудь внезапное волнение, как он прижимал руку к сердцу, вспыхивал и сразу же бледнел, что было свидетельством испытываемой им боли.

Таково было состояние здоровья мистера Димсдейла, чей слабеющий жизненный огонь, казалось, вот-вот преждевременно погаснет, когда

в городе поселился Роджер Чиллингуорс. Мало кто знал обстоятельства его появления в Бостоне, столь неожиданного, словно старик свалился с неба или вышел из преисподней, и окруженного тайной, которой легко было придать оттенок чуда. Потом он стал известен как врач; многие видели, что он собирает травы, полевые цветы, выкапывает корни, срезает сучки с лесных деревьев с уверенностью человека, который знает скрытые целебные свойства растений, кажущихся бесполезными невежественным глазам. О сэре Кинельме Дигби[75] и других знаменитостях, чьи познания в науке почитались почти сверхъестественными, он не раз упоминал как о людях, с которыми вместе работал или состоял в переписке. Почему, занимая такое положение в ученом мире, он приехал сюда? Что понадобилось в этом диком краю человеку, чье место было в большом городе? В ответ на эти вопросы распространился слух, — бессмысленный и тем не менее подхваченный некоторыми вполне разумными людьми, — будто небеса сотворили

[75] Примечания: 75

Дигби, Кинельм Генри (1603–1665) — английский политический деятель, человек сложной авантюрной биографии. Много ездил по Европе с дипломатическими поручениями — не то агент монархистов, не то шпион Кромвеля. Был известен еще и как ученый врач, автор научных трудов, сделавший ряд ценных открытий.

небывалое чудо и перенесли прославленного врача по воздуху из немецкого университета прямо к дверям рабочей комнаты мистера Димсдейла! Лица более здравомыслящие, которые понимали, что небеса достигают своих целей без помощи сценических эффектов, носящих название чудесного вмешательства, все же склонны были видеть в столь своевременном приезде Роджера Чиллингуорса перст провидения.

Эту точку зрения подкреплял глубокий интерес врача к молодому священнику: мистер Чиллингуорс избрал последнего в качестве своего духовного наставника и всячески старался завоевать доверие и дружеское расположение замкнутого от природы юноши. Он выражал большое беспокойство по поводу здоровья своего пастыря и страстно желал поскорее приступить к лечению, считая, что, если не мешкать, еще вполне возможно добиться хороших результатов. Старейшины, дьяконы, почтенные матери семейств, молодые и привлекательные девицы из паствы мистера Димсдейла также настаивали на том, чтобы он испробовал искренне предложенную помощь искусного врача. Мистер Днмсдейл мягко отклонял их просьбы.

— Мне не нужны лекарства, — говорил он.

Но кто мог поверить словам молодого священника, если с каждой неделей щеки его становились все бледнее, голос — все более надтреснутым, а рука прижималась к сердцу уже не случайным, а привычным жестом? Он устал от своих обязанностей? Ищет смерти? Об этом торжественно спрашивали мистера Димсдейла и старейшие бостонские священники и дьяконы его церкви, которые, по их собственным словам, «взывали» к больному, указывая на то, что грешно отвергать помощь, столь явно предлагаемую провидением. Мистер Димсдейл молча слушал их и, наконец, обещал поговорить с врачом.

— Будь на то божья воля, — сказал преподобный мистер Димсдейл, когда, решив сдержать свое слово, он обратился за врачебной помощью к Роджеру Чиллингуорсу, — я предпочел бы не служить доказательством вашего искусства, а окончить в скором времени свое земное существование, чтобы вместе со мной исчезли все мои труды и горести, грехи и болезни, чтобы все суетное успокоилось в могиле, а все духовное обрело новую жизнь.

— Именно так должен говорить молодой священник, — ответил Роджер Чиллингуорс с тем напускным или врожденным спокойствием,

которое было присуще всему его поведению. — Юноши легко расстаются с жизнью, потому что они еще не успели пустить в нее глубокие корни. А праведники, которые ходят по земле, будучи душою с богом, хотели бы уйти из этой юдоли и быть с ним на мощенных золотом улицах Нового Иерусалима.[76]

— Нет, — возразил молодой пастор, прижимая руку к сердцу и слегка морщась от боли, — будь я более достоин Нового Иерусалима, мне легче было бы нести свое бремя здесь.

— Добродетельные люди всегда дурно думают о себе! — заметил врач.

Так случилось, что старый Роджер Чиллингуорс, человек, окруженный тайной, стал постоянным врачом преподобпого мистера Димсдейла. И поскольку душевные качества и склад характера пациента интересовали его не меньше, чем сам недуг, постепенно эти люди, столь различные по возрасту, начали проводить много времени вместе. Священнику нужен был свежий воздух, врачу — целебные растения, поэтому они предпринимали далекие прогулки по морскому берегу или

[76] Примечания: 76

Новый Иерусалим — град божий, ожидающий праведного человека после его смерти. Название взято из книги пуританского писателя Джона Бэньяна (1628–1688) «Путь паломника».

по лесу, и часто слова их смешивались с журчанием и плеском волн или торжественным гимном ветра в древесных вершинах. Нередко также они навещали друг друга, и каждый видел комнату, где в уединении работал другой. Священника привлекало общество ученого, обладавшего такой глубиной и свободой мысли, таким широким кругозором, какого напрасно было бы искать у коллег мистера Димсдейла. По правде говоря, его изумляло и даже приводило в смущение это обстоятельство. Он был священником по призванию, человеком истинно религиозным, и самый склад ума увлекал его на путь страстной, благоговейной веры, которая с годами становилась все глубже и глубже. При любом общественном устройстве он не мог бы оказаться среди людей так называемых «свободных взглядов», ибо для душевного спокойствия нуждался в тяжелом железном каркасе религии, который, стесняя движения, в то же время поддерживал его. Однако, глядя на вселенную через призму мировоззрения, отличного от мировоззрения обычных его собеседников, он порою испытывал какую-то трепетную радость. Словно распахнули окно в душной, непроветренной комнате, где медленно увядала его жизнь; словно в эту комнату, оза-

ренную лишь лампой или затененным дневным светом и наполненную затхлым — в прямом и переносном значении этого слова — запахом, источаемым книгами, ворвался ветер. Но долго вдыхать слишком свежий и прохладный воздух мистер Димсдейл не мог. Поэтому священник, а вслед за ним и врач возвращались в пределы круга, очерченного для них церковью.

Роджер Чиллингуорс внимательно наблюдал за своим пациентом и в часы, когда тот шел привычной будничной тропой в границах знакомых мыслей, и в часы, когда он оказывался в иной духовной атмосфере, новизна которой могла бы вызвать на поверхность какие-то новые черты его характера. Казалось, врач считал необходимым изучить больного, прежде чем приступить к лечению. Особенности души и разума всегда накладывают печать на болезни тела. Духовная жизнь и воображение Артура Димсдейла были так богаты, способность чувствовать так остра, что причину физического недуга, по-видимому, следовало искать именно в них. Вот почему Роджер Чиллингуорс, искусный, добрый и благожелательный врач, старался поглубже проникнуть в душу своего пациента, рылся в его моральных принципах, заглядывал в воспоми-

нания и, подобно человеку, ищущему в темной пещере клад, осторожно ощупывал все, до чего мог дотянуться. Трудно скрыть что-нибудь от исследователя, который располагает возможностью и правом предпринять такие поиски, а также умеет их вести. Человек, обремененный тайной, должен особенно избегать близости со своим врачом. Если последний от природы наделен проницательностью и еще чем-то неуловимым — назовем это хотя бы интуицией; если он не проявляет назойливого самомнения или иных слишком заметных неприятных свойств; если у него есть врожденное умение до такой степени настроиться в лад со своим пациентом, что тот, сам того не замечая, думает вслух и проговаривается; если подобные признания вызывают в ответ тихое сочувствие, выражаемое не столько речами, сколько молчанием, отрывистым вздохом и лишь изредка — отдельным словом, которые указывают, что говорящий понят; если качества, нужные наперснику, усилены преимуществами, создаваемыми положением врача, — неизбежно должна наступить такая минута, когда душа страдальца откроется и темным, но прозрачным потоком вынесет на дневной свет свои сокровенные тайны.

Роджер Чиллингуорс обладал всеми — или почти всеми — перечисленными качествами. Как мы уже говорили, нечто вроде дружбы завязалось между этими образованными людьми, чьи умы могли встречаться на таком обширном поприще, как весь простор человеческой мысли и знания. Они обсуждали вопросы морали и религии, дела общественные и частные, много говорили о вещах, касавшихся как будто каждого из них; и все же время шло, а священник ни разу не заикнулся о тайне, существование которой предполагал врач. Последний подозревал даже, что ему не до конца известны проявления телесного недуга мистера Димсдейла. Скрытность, поистине необыкновенная!

Спустя некоторое время друзья мистера Димсдейла, по наущению Роджера Чиллингуорса, устроили так, что эти двое людей поселились в одном доме, и уже ни единая волна из потока жизни священника не могла ускользнуть от взора его заботливого и преданного врача. Когда это столь желанное событие совершилось, ему радовались все жители города. Лучшей меры для выздоровления молодого священника, по-видимому, нельзя было придумать, если не считать женитьбы, о которой частенько напоминали ему

имевшие на то право люди: ведь он мог выбрать любую из многих духовно преданных ему юных девиц, обещавшую стать в будущем преданной супругой. Впрочем, никто не надеялся, что Артура Димсдейла можно будет в ближайшее время подвигнуть на этот шаг: он отклонял все предложения такого рода, словно безбрачие духовенства было одним из тех краеугольных камней, которые он клал в основу церковной дисциплины. И поскольку мистер Димсдейл добровольно обрек себя на безрадостную трапезу за чужим столом и страдания от холода, — ибо таков жребий тех, кто желает греться у чужого очага, — постольку умудренный опытом, благожелательный старый лекарь, почтительно и вместе с тем по-отцовски любивший молодого священника, казался наиболее подходящим человеком для жизни бок о бок с ним.

Друзья поселились у благочестивой и почтенной вдовы, владелицы дома, расположенного невдалеке от места, где потом было выстроено внушительное здание Королевской церкви. С одной стороны дом граничил с кладбищем, некогда усадьбой Айзека Джонсона, и, следовательно, был отлично приспособлен для глубокомысленных размышлений, подобающих как священнику, так

и врачу. Добрая вдова, по-матерински заботливая, предоставила мистеру Димсдейлу солнечные комнаты с выходящими на улицу окнами, завешенными тяжелыми шторами, чтобы можно было, при желании, устроить себе днем тень. На стенах висели ковры, вытканные, как говорили, в мастерских Гобелена[77] и изображавшие историю Давида и Вирсавии,[78] а также пророка Натана;[79] краски на коврах все еще не поблекли и придавали красавице из библейской легенды почти такую же мрачную живописность, как и предвещавшему беды ясновидцу. Сюда-то и перевез исхудалый священник все свои книги, среди которых было много переплетенных в пергамент творений отцов церкви, и писаний раввинов, и даже ученых монашеских трудов,

---

[77] Примечания: 77

…а *мастерских Гобелена…* — по имени красильщика Гобелена был назван квартал в Париже — квартал Гобеленов, — в котором в 1622 году была учреждена французская королевская мануфактура, изготовлявшая прославившиеся на весь мир художественные декоративные ткани.

[78] Примечания: 78

…историю Давида и Вирсавии… — Давид — царь древнего Израильского царства (конец XI — начало X века до н. э.). Ему впервые удалось объединить под своей властью северные и южные израильские племена и после ряда побед над внешними противниками создать могучее государство со столицей в Иерусалиме. Согласно библейскому преданию, Давид влюбился в Вирсавию, жену полководца Урии. Послав Урию на верную смерть, Давид женился на его вдове, которая стала матерью будущего наследника Давида — прославленного царя Соломона.

[79] Примечания: 79

Натан — библейский пророк, смело порицавший Давида за его греховную женитьбу на Вирсавии. Любовь Давида к замужней женщине и связанное с этой любовью преступление так же созвучны настроению Димсдейла, как и образ негодующей церкви в лице пророка Натана.

к которым протестантские богословы, хуля и понося их авторов, все же не могли не прибегать. В другой половине дома старый Роджер Чиллингуорс устроил свой кабинет и лабораторию — не такую, какая сколько-нибудь удовлетворила бы современного ученого, но все же снабженную перегонным кубом и приборами для смешивания снадобий и химических веществ, хорошо знакомых этому опытному алхимику. Окруженные такими удобствами, оба ученых мужа, устроившись в своих апартаментах, запросто навещали друг друга, и каждый не без интереса наблюдал за работой соседа.

Повторяем, что самые проницательные друзья преподобного Артура Димсдейла, естественно, видели во всем этом руку провидения, пекущегося о здоровье молодого священника, за которого так много людей молились в церкви, и дома, и в тайниках сердца. Нужно, однако, сказать, что другая часть паствы начала постепенно склоняться к иному взгляду на отношения между мистером Димсдейлом и таинственным старым врачом. Когда невежественная толпа пытается составить собственное мнение о вещах, ее очень легко обмануть. Но если она судит, — а именно так обычно и бывает, — по подсказке своего большого и го-

рячего сердца, то нередко приходит к выводам столь глубоким и правильным, что они кажутся откровениями свыше. В случае, о котором мы рассказываем, люди не могли обосновать своего предубеждения против Роджера Чиллингуорса никакими фактами или аргументами. Правда, какой-то престарелый ремесленник, живший в Лондоне во время убийства сэра Томаса Овербери,[80] лет за тридцать до описываемых событий, клялся, что видел лекаря, носившего тогда другое имя, а какое — рассказчик запамятовал, — в обществе доктора Формена,[81] знаменитого старого чернокнижника, замешанного в деле Овербери. Несколько человек намекали, что, будучи в плену у дикарей, ученый обогащал свои медицинские познания, принимая участие в заклинаниях ин-

[80] Примечания: 80

Томас Овербери (1581–1613) — английский писатель, ставший жертвой придворной интриги. Будучи лично близок с лордом Сомерсетом, он отговаривал своего высокопоставленного друга от женитьбы на графине Эссекс. Мстительная графиня добилась заключения Овербери в Тауэр и с помощью своих агентов отравила его искусно составленными медленно действующими ядами. Характерно, что самые ученые врачи того времени не могли распознать отравления и рассматривали смерть писателя как результат болезни. Только спустя два года истина случайно раскрылась. Возникло громкое сенсационное дело, о котором упоминает Готорн. Четверо непосредственных виновников отравления были казнены, но главные вдохновители убийства — лорд Сомерсет и вышедшая за него замуж графиня Эссекс, хотя и признанные виновными по суду, были помилованы королем.

[81] Примечания: 81

Формен, Саймон (1552–1611) — псевдоученый астролог и врач-шарлатан, многократно арестовывавшийся за обман пациентов. Был связан с графиней Эссекс и ее доверенным лицом Энн Тэрнер, которых он снабжал любовными эликсирами. По некоторым источникам, Энн Тэрнер была его незаконной дочерью.

дейских жрецов, всеми признанных волшебников, нередко совершающих чудесные исцеления при помощи черной магии. Многие — и среди них лица трезвого ума и большой наблюдательности, с чьим мнением во всех других вопросах вполне стоило считаться, — утверждали, что со времени появления в городе Роджера Чиллингуорса и в особенности с тех пор, как он поселился с мистером Димсдейлом, его внешность очень изменилась. Вначале у него было спокойное и задумчивое лицо ученого. Потом в этом лице появилось что-то уродливое, злое, какие-то черты, прежде никем не замеченные, но тем более явные, чем пристальней в них вглядываться. По мнению простых людей, в лаборатории врача горел огонь преисподней, питавшийся адским топливом, а поэтому, как и следовало ожидать, лицо старика почернело от копоти.

Короче говоря, по городу поползли слухи, что сам сатана или его посланец в образе старого Роджера Чиллингуорса искушает преподобного Артура Димсдейла. Такому искушению подвергались на всем протяжении истории христианства люди особенно святой жизни. Этот сатанинский слуга получил господне соизволение на то, чтобы, втершись на какой-то срок в доверие

к священнику, злоумышлять против его духа. Ни один разумный человек не может, конечно, сомневаться, на чьей стороне будет победа. Народ доверчиво ожидал, что священник выйдет из борьбы, озаренный ореолом новой славы. Тем не менее нельзя было не опечалиться при мысли о мучительных страданиях, быть может претерпеваемых им на пути к полному своему торжеству.

Увы! Если судить по сумрачному ужасу, затаившемуся в глазах бедного священника, борьба была нелегкой, а победа — весьма сомнительной.

Глава X
ВРАЧ И БОЛЬНОЙ

Старый Роджер Чиллингуорс, человек уравновешенного нрава и доброго, хотя и не слишком пылкого сердца, всю свою жизнь был неподкупно прям и чист в отношениях с людьми. Поэтому он верил, что начинает расследование с честным и суровым беспристрастием судии, стремящегося только к истине, словно речь идет о воображаемых линиях и фигурах геометрической задачи, а не о человеческих чувствах и нанесенных ему самому обидах. Но чем дальше он заходил, тем безраздельнее им овладевала одна-единственная страсть, свирепая, холодная и неотвратимая как рок, которая, захватив старика, уже не отпускала до тех пор, пока он не исполнил всех ее требований. И он рылся в душе несчастного священника, как рудокоп, ищущий золота, или, вернее, как могильщик, который раскапывает могилу, думая найти на теле покойника драгоценности, хотя скорее всего найдет лишь прах и тление. Горе тому, кто только их ищет!

Порою в глазах врача появлялся недобрый си-

ний огонь, подобный отблеску горна или, скорее, вспышкам того страшного пламени,[82] которое, вырываясь из описанных Бэньяном зловещих врат в склоне холма, озаряло лицо пилигрима. По-видимому, в породе, которую извлекал этот мрачный рудокоп, было нечто вселявшее в него надежду!

«Хотя они и считают этого человека чистым, — размышлял он в одну из таких минут, — хотя на первый взгляд в нем так сильно духовное начало, все же он унаследовал от отца или от матери могучие животные инстинкты. Будем же и дальше разрабатывать эту жилу!»

После долгих поисков в темных глубинах души священника, обнаружив множество драгоценных материалов, в виде высоких чаяний блага для своего народа, горячей любви к людям, чистых чувств, природного благочестия, усиленного размышлениями и учеными занятиями и озаренного откровением свыше, обескураженный Роджер Чиллингуорс, считая, быть может, это прекрасное золото бесполезным хламом, возвращался вспять и начинал вести подкоп в другую сторону. Он шел ощупью, так осторожно, такими

---

[82] Примечания: 82

...вспышкам того страшного пламени... — образ взят из книги «Путь паломлика», принадлежащей перу Джона Бэньяна.

бесшумными шагами и так часто оглядывался по сторонам, точно был вором, пробиравшимся в спальню, чтобы украсть сокровище, хранимое как зеница ока дремлющим, а возможно, и бодрствующим владельцем. Вор заранее принял все меры предосторожности, но пол временами поскрипывает, одежда шелестит, а когда он приближается к постели, тень его падает на жертву. Иными слогами, мистер Димсдейл, нервная чувствительность которого порою казалась какой-то сверхъестественной интуицией, начал смутно ощущать, что в его жизнь вторглось нечто враждебное его душевному покою. Но острота восприятия старого Роджера Чиллингуорса также граничила с интуицией, поэтому священник, иногда удивленно вскидывавший на него глаза, видел перед собой лишь врача, лишь бдительного, сочувственного, доброго, но не навязчивого друга.

Быть может, мистер Димсдейл лучше разобрался бы в характере Чиллингуорса, если бы некоторая мнительность, присущая несчастным людям, не заставляла его относиться подозрительно ко всему человеческому роду. Никто не пользовался его дружеским доверием, поэтому он не сумел распознать врага, когда тот действи-

тельно появился. Он продолжал поддерживать приятельские отношения со своим врачом, ежедневно встречаясь с ним либо у себя в кабинете, либо в лаборатории старика, где любил отдыхать, наблюдая, как растения превращаются в целительные снадобья.



Однажды, облокотившись на подоконник открытого окна, выходившего на кладбище, и опершись лбом на руку, мистер Димсдейл беседовал с Роджером Чиллингуорсом, который рассматривал в это время пучок невзрачных растений.

— Где, — спросил священник, искоса поглядывая на них, ибо у него в последнее время появилась привычка смотреть только исподтишка на интересующие его предметы — одушевленные и неодушевленные, — где, мой милый доктор, вы нашли эти растения с такими темными, вялыми листьями?

— На кладбище, совсем близко отсюда, — ответил врач, не отрываясь от своего занятия. — Я таких никогда раньше не встречал. Они росли на могиле, где не было ни надгробья, ни дощечки с именем — одни эти уродливые травы, и старались сохранить память о покойнике. Надо думать, они выросли из его сердца и воплощают какую-нибудь отвратительную тайну, погребенную вместе с ним. Лучше бы он исповедался в ней при жизни!

— Может быть, он искренне желал этого, но не мог? — возразил мистер Димсдейл.

— А почему? — откликнулся врач. — Почему не

мог, если сама природа так горячо призывает к покаянию, что даже эти черные травы выросли из мертвого сердца, открыто свидетельствуя о преступлении?

— Но ведь все это ваша фантазия, сэр! — ответил священник. — Мне думается, что, кроме воли провидения, нет в мире такой силы, которая могла бы раскрыть в словах, в символе или эмблеме тайну, погребенную в человеческом сердце. Сердца, хранящие подобные грешные тайны, волей или неволей должны скрывать их до того дня, когда все тайное станет явным. И в святом писании я нигде не нашел прямого или косвенного указания на то, что раскрытие человеческих мыслей и поступков во время Страшного суда должно стать частью кары. Такое толкование было бы очень поверхностным. Быть может, я глубоко заблуждаюсь, но мне кажется, что признания эти послужат лишь для того, чтобы не оставить в неведении мыслящие существа, которые будут ждать в этот день разрешения всех запутанных жизненных вопросов. А для полной их разгадки понадобится знание человеческого сердца. И я склонен думать, что сердца, скрывающие постыдные тайны, о которых вы только что говорили, откроют их в тот последний день не с

отвращением, а с несказанным ликованием.

— Так почему же не поделиться ими на этом свете? — спросил Роджер Чиллингуорс, бросив исподлобья беглый взгляд на священника. — Почему грешникам заранее не доставить себе этой несказанной радости?

— Большей частью они так и поступают, — ответил священник, крепко прижимая руку к груди, словно там все время что-то болело. — Сколько страдальцев исповедовалось мне, — и не на смертном одре, а пользуясь добрым здоровьем и незапятнанной репутацией. И я своими глазами всякий раз видел, какое облегчение испытывали мои грешные братья после таких излияний! Точно они, наконец, вышли в сад после того, как долгое время принуждены были вдыхать воздух, осквернённый их же дыханием! Да и может ли быть иначе? Неужели несчастный, виновный, скажем, в убийстве, предпочтет хранить труп в собственном сердце, если у него есть возможность выбросить его на улицу, где о нем позаботились бы добрые люди?

— Однако некоторые люди поступают со своими тайнами именно таким образом, — спокойно возразил врач.

— Правильно, есть такие люди, — ответил ми-

стер Димсдейл. — Но, не говоря уже об очевидных причинах, может быть дело в том, что самый склад характера замыкает им уста? Или же, я допускаю, что они хотя и грешны, но все же полны рвения послужить во славу божью и на благо человечества; поэтому им страшно предстать столь черными и порочными перед людьми, ибо после этого они уже не смогут совершать добро и благочестивыми делами искупить содеянное. Они принуждены жить среди себе подобных, чистые снаружи, словно только что выпавший снег, и испытывают при этом невыразимые страдания, так как сердца их запятнаны и загрязнены пороком и отмыть их они не могут.

— Эти люди обманывают себя, — сказал Роджер Чиллингуорс несколько горячее обычного и слегка погрозил пальцем. — Они страшатся позора, который по справедливости должен быть их участью. Любовь к людям, ревностное благочестие — кто знает, живут ли в сердцах эти святые чувства одновременно с порочными помыслами, которым грех отпер дверь, чтобы они в свою очередь размножали дьявольское семя? Но если грешники хотят воздать хвалу богу, пусть не поднимают к небесам нечистые руки! Если хотят послужить людям, пусть принудят себя

к покаянному унижению, доказав тем самым существование и могущество совести! О мой мудрый и благочестивый брат, не хочешь ли ты убедить меня, что славе господней и людскому благоденствию лицемерие нужнее, чем святая истина? Поверь мне, эти люди обманывают себя!

— Может быть, и так, — равнодушно ответил молодой священник, словно не желая продолжать несвоевременный или неуместный спор; он обладал редким умением уклоняться от любых разговоров, слишком сильно затрагивавших его впечатлительную и нервную натуру. — А теперь я хотел бы спросить у моего искусного врача, действительно ли он считает, что его трогательная забота о моем немощном теле пошла мне на пользу?

Не успел Роджер Чиллингуорс ответить, как с кладбища, расположенного рядом с их домом, донесся звонкий и неудержимый детский смех. Невольно выглянув в открытое окно, — дело происходило летом, — священник увидел Гестер Прин, которая вместе с маленькой Перл шла по тропинке между могилами. Перл была прелестна как утро, но ею владел один из тех приступов злобного веселья, во время которых она становилась совершенно недоступна жалости и

состраданию к людям. Сперва она непочтительно перескакивала с одной могилы на другую, потом, добравшись до широкого, плоского, украшенного гербом надгробья какого-то почтенного поселенца, может быть самого Айзека Джонсона, начала на нем плясать. В ответ на материнские просьбы и приказания вести себя как следует маленькая Перл остановилась и начала обрывать колючки с высокого куста репейника, росшего возле могилы. Набрав горсть, она расположила их по линиям алой буквы на платье матери, к которому колючки, как и следовало ожидать, сразу же прицепились. Гестер не стала их отцеплять.

В эту минуту Роджер Чиллингуорс подошел к окну.

— Этому ребенку неизвестны правила поведения и уважение к старшим, он не считается ни с какими человеческими обычаями и взглядами, правильными или неправильными, — мрачно улыбаясь, сказал он не то самому себе, не то собеседнику. — Я однажды наблюдал, как в Спринг-лейн она обрызгала губернатора водой из корыта для скота. Объясните мне, пожалуйста, что она такое? Злобный бесенок? Способна ли она любить кого-нибудь? Есть ли в ней разумное, доброе начало?

— Нет, если не считать свободы, проистекающей от нарушенного закона, — негромко ответил мистер Димсдейл, словно размышляя вслух. — А способна ли она на что-нибудь хорошее, не знаю.

Девочка, очевидно, услышала их голоса, потому что, взглянув в окно, она сверкнула улыбкой, капризной, насмешливой и веселой, и бросила колючку в преподобного мистера Димсдейла. Священник, вздрогнув, непроизвольным нервным движением отстранился от игрушечного снаряда. Заметив его испуг, маленькая Перл в буйном восторге захлопала в ладоши. Гестер Прин также невольно взглянула наверх, и все четверо — ребенок и взрослые — молча смотрели друг на друга, пока Перл не засмеялась и не закричала:

— Мама, уйдем отсюда! Уйдем, или тот черный старик схватит тебя! Священника он уже поймал! Уйдем, мама, или он схватит и тебя! А вот маленькую Перл ему не схватить!

И она увела мать от окна, прыгая, приплясывая и необузданно резвясь между холмиками, под которыми лежали мертвецы, словно не имела ничего общего с ушедшими и погребенными поколениями и не желала признавать свое родство с ними. Казалось, Перл была создана из нового, иного материала, чем остальные люди,

и волей-неволей приходилось прощать все ее дикие выходки, позволяя ей жить по своей, а не по общей мерке.

— Вот женщина, — помолчав, заметил Роджер Чиллингуорс, — которая, каковы бы ни были ее проступки, отнюдь не делает из своего греха тайны, столь мучительной, по вашему мнению, для грешника. Вы считаете, что алая буква на груди облегчает жизнь Гестер Прин?

— Да, считаю, — ответил священник. — Однако ручаться не могу. Во взгляде этой несчастной Гестер Прин проскальзывает боль, которую я предпочел бы не видеть. И все же мне кажется, что страдальцу легче, когда он может свободно проявить свое страдание, как эта бедная женщина, нежели когда он принужден таить его в глубине сердца.

Они опять помолчали, и врач снова принялся разбирать и сортировать собранные им травы.

— Вы спрашивали мое мнение, — сказал он наконец, — о вашем здоровье.

— Да, я очень хотел бы знать его, — ответил священник. — И прошу вас, говорите прямо, даже если дело идет о смерти.

— В таком случае я буду до конца откровенен, — сказал врач, продолжая возиться с травами, но

украдкой поглядывая на мистера Димсдейла. — Вы больны странным недугом, но странен он не сам по себе, не по своим внешним проявлениям; во всяком случае не по тем симптомам, которые были доступны моему наблюдению. Я повседневно присматривался к вам, много месяцев следил за переменами в вашем внешнем облике и пришел к выводу, что хотя вы и тяжко больны, однако не настолько, чтобы образованный и внимательный врач потерял надежду вас вылечить. Это очень трудно объяснить, но ваша болезнь мне и понятна и одновременно непонятна.

— Вы говорите загадками, мой ученый друг, — ответил священник, бледнея и украдкой поглядывая в окно.

— Что ж, скажу прямее, — продолжал врач, — и умоляю, сэр, простить меня, если вас обидит вынужденная обстоятельствами прямота. Позвольте мне, в качестве вашего друга, в качестве человека, отвечающего, волею провидения, за ваше здоровье и жизнь, спросить вас, все ли явления, сопровождающие этот недуг, откровенно изложены и объяснены мне?

— Как вы можете сомневаться в этом? — спросил мистер Димсдейл. — Было бы непростительным ребячеством позвать врача и скрыть от него

болезнь!

— Значит, вы заверяете меня, что я знаю все? — медленно произнес Роджер Чиллингуорс, впиваясь в лицо священника взглядом, в котором светилась напряженная и сосредоточенная мысль. — Пусть будет так! Но ведь тот, кому открыто только внешнее, физическое недомогание, лишь наполовину понимает болезнь, которую призван лечить. Телесное заболевание, рассматриваемое нами как независимое явление, может в конечном счете быть лишь признаком душевного недуга. Еще раз прошу прощения, дорогой сэр, если в моих словах содержится хотя бы тень чего-нибудь обидного. Вы, сэр, больше чем кто-либо другой, кажетесь мне человеком, чье тело находится в теснейшей связи с душой, можно сказать — проникнуто ею, воплощает эту душу и служит ей орудием.

— Тогда мне больше не о чем спрашивать, — вставая с некоторой поспешностью, сказал священник. — Ведь вы не занимаетесь лечением душ!

— И поэтому болезнь, — продолжал Роджер Чиллингуорс, который, не меняя тона и не обращая внимания на слова мистера Димсдейла, встал с места и загородил дорогу бледному, исху-

далому священнику своей низкорослой, мрачной и безобразной фигурой, — болезнь или, если так можно выразиться, язва в вашей душе немедленно скажется и на телесной оболочке. Вы хотите, чтобы врач вылечил телесный недуг? Но это станет возможно лишь после того, как вы откроете ему рану или тайное страдание вашей души!

— Нет! Не тебе! Не земному врачу! — страстно воскликнул мистер Димсдейл, глядя прямо в лицо старому Роджеру Чиллингуорсу сверкающими, гневными глазами. — Не тебе! Если у меня больна душа, я предамся в руки единственного врачевателя душ! Он вылечит меня, если такова будет его воля, или убьет! Пусть свершится его мудрый и справедливый приговор! Но кто ты такой, чтобы вмешиваться в это дело? Чтобы становиться между страдальцем и его господом?

Неистово взмахнув руками, он выбежал из комнаты.

— И все-таки я сделал правильный ход, — пробормотал Роджер Чиллингуорс, с невеселой улыбкой глядя ему вслед. — Ничего не потеряно. Мы снова будем друзьями. Но до какой степени этот человек в плену у страсти и не владеет собой! Так, видно, было и с другой страстью. Какие безумства совершил, повинуясь страсти, этот

благочестивый мистер Димсдейл!

Возобновить дружеские отношения на прежних основаниях и в прежних пределах было делом нетрудным. Проведя несколько часов в уединении, молодой священник понял, что больные нервы толкнули его на недостойную вспышку гнева и что в словах старого врача не содержалось ничего, могущего служить для нее поводом или извинением. Он сам дивился резкости, с которой оттолкнул друга, когда тот, во исполнение своего долга и его, мистера Димсдейла, прямой просьбы, хотел помочь болящему. Движимый угрызениями совести, священник, не теряя времени, полностью признал свою неправоту и попросил доброго старика продолжать лечение, которое хотя и не восстановило здоровья, но, по всей вероятности, продлило до этого часа его хиреющую жизнь. Роджер Чиллингуорс охотно согласился и по-прежнему оказывал мистеру Димсдейлу врачебную помощь, действительно влагая в это все свое искусство, но после каждого осмотра больного уходил от него с загадочной и недоуменной улыбкой. Этой улыбки никогда не было в присутствии мистера Димсдейла, но она немедленно появлялась, стоило старику выйти из комнаты священника.

— Редкий случай! — бормотал он. — Я непременно должен докопаться до сути. Необычайная связь между душой и телом! Необходимо разобраться в этом хотя бы из чисто научного интереса!

Как-то в полдень, вскоре после описанного происшествия, преподобный мистер Димсдейл, сидя в кресле перед раскрытой на столе большой книгой, напечатанной старинным английским готическим шрифтом, неожиданно забылся крепким-крепким сном. Должно быть, он читал произведение, относившееся к первосортным образчикам снотворной литературы. Глубокое забытье священника было тем более примечательно, что он принадлежал к людям, чей сон обычно так же некрепок, беспокоен и чуток, как у птиц, пристроившихся на сучке. И однако его душа настолько погрузилась в собственные глубины, что он даже не пошевелился в кресле, когда в комнату без особых предосторожностей вошел Роджер Чиллингуорс. Старик прямо подошел к своему пациенту, положил ему руку на грудь и расстегнул одежду, которой тот прежде никогда не снимал даже в присутствии врача.

Священник, естественно, вздрогнул и слегка пошевелился.

Немного постояв возле него, врач вышел из комнаты. Но какое неистовство было в его взгляде, полном ликования, удивления и ужаса! Какой страстный, нечеловеческий восторг владел стариком, отражаясь не только в глазах и лице, но и во всей его уродливой фигуре, в притоптывающих ногах, в жесте воздетых к небу рук! Если бы кто-нибудь увидел старого Роджера Чиллингуорса в эту минуту торжества, он понял бы, как ведет себя сатана, когда убеждается, что драгоценная человеческая душа потеряна для небес и выиграна для преисподней.

Но торжество врача отличалось от торжества сатаны тем, что к нему примешивалась какая-то доля удивления.

Глава XI
ТАЙНИКИ СЕРДЦА

Хотя после описанного случая отношения между священником и врачом внешне не изменились, по сути дела они стали совсем иными, чем прежде. У Роджера Чиллингуорса уже не было сомнений, какой путь ему следует избрать. Правда, этот путь несколько отличался от того, который он наметил себе ранее. Несчастный старик был неизменно спокоен, мягок и бесстрастен, но мы опасаемся, что на поверхность его души всплыла прежде сдерживаемая и глубоко скрытая злоба, побудившая его придумать такую тайную месть, какой никогда еще не изобретал для своего врага ни один смертный. Стать единственным задушевным другом, которому изливают весь ужас, все угрызения совести, муки, напрасное раскаяние, вихрь налетающих и напрасно гонимых грешных мыслей! Ему, безжалостному, ему, непрощающему, сделаться восприемником излияний горестной, преступной души, излияний, утаенных от мира, чье великодушное сердце сумело бы понять и простить! Безраздельно

обладать этим неведомым сокровищем, — вот единственное, что могло бы ему оплатить долг мести!

Пугливая и настороженная сдержанность священника нарушила этот план. Однако Роджер Чиллингуорс был доволен, и даже очень доволен, ходом событий, словно нарочно задуманных для его темных умыслов провидением, которое пользовалось и мстителем и его жертвой для достижения собственных целей и, быть может, прощало там, где, на первый взгляд, особенно жестоко наказывало. Но старик готов был думать, что ему ниспослано откровение; кем — небесами или преисподней, было для него несущественно. Встречаясь с мистером Димсдейлом, старик, с помощью этого дара, видел не только внешний облик священника, но и его душу, видел так отчетливо, что, казалось, мог уловить и понять каждое ее движение. Таким образом, Роджер Чиллингуорс стал не только соглядатаем, но и главным действующим лицом внутренней жизни несчастного. Он мог играть с ним, как кошка с мышью. Ему хотелось заставить свою жертву смертельно страдать. Священник всегда был на дыбе — нужно было только знать, где находится рычаг, приводящий в действие орудие пытки,

а это врач знал отлично! Хотелось ему подвергнуть мистера Димсдейла мукам страха? Словно по мановению волшебной палочки, вырастал страшный призрак, вырастали тысячи страшных призраков в образе ли смерти или в еще более ужасном образе позора и, столпившись вокруг священника, указывали пальцами на его грудь.

Все это проделывалось с такой необычайной тонкостью, что мистер Димсдейл хотя все время и чувствовал присутствие какой-то враждебной силы, но не понимал, откуда она исходит. Правда, он с сомнением и страхом, а порою с ужасом и бесконечной ненавистью, взирал на уродливую фигуру старого врача. Жесты, походка, седая борода, любые, самые незначительные поступки, даже покрой одежды старика внушали священнику такое отвращение, такую глубокую антипатию, что он не хотел признаться в ней даже самому себе. Ибо, поскольку разумной причины для такого недоверия и омерзения не существовало, мистер Димсдейл, понимая, что яд, источаемый больным местом в его сердце, отравляет все его существо, именно этим ядом и объяснял свое предубеждение. Он корил себя за недружелюбные чувства к Роджеру Чиллингуорсу и, вместо того чтобы отнестись к ним с

доверием, старался их искоренить. И хотя это ему не удавалось, он все же считал своим долгом не порывать внешне дружеских отношений со стариком, все время способствуя, таким образом, осуществлению цели, которой посвятил свою жизнь мститель — жалкое, одинокое создание, еще более несчастное, чем его жертва.

Страдая от телесного недуга, раздираемый и мучимый каким-то невидимым душевным расстройством, опутанный темными происками своего смертельного врага, мистер Димсдейл приобрел в это время огромную популярность среди паствы. Он завоевал ее в значительной степени именно благодаря своим страданиям. Его умственная одаренность, нравственные представления, способность загораться чувством и заражать им других находились в состоянии нечеловеческого напряжения из-за вечных мук и угрызений совести. Слава мистера Димсдейла хотя и не достигла еще вершины, однако уже затмевала менее громкую известность других священников, несмотря на то, что среди них были выдающиеся люди. Некоторые из этих священников, потратив на приобретение нелегко дающихся знаний больше лет, чем исполнилось мистеру Димсдейлу, обладали настоящей

ученостью и поэтому располагали лучшей подготовкой к своей профессии, нежели их юный собрат. Встречались среди них также люди непреклонной воли, наделенные несравненно более проницательным умом и твердым, железным или гранитным характером, что, в сочетании с должной дозой доктринерства, образует наиболее респектабельных, полезных и неприятных представителей духовного сословия. Были там и другие, действительно святые, отцы, чьи душевные качества, выработанные тяжким трудом над книгами и терпеливыми размышлениями, озарялись сиянием горнего мира, куда благодаря чистоте жизни эти безупречные люди уже почти проникли, хотя бренная оболочка все еще довлела над ними. Им не хватало лишь ниспосланного в день троицы избранным ученикам дара[83] в виде огненных языков, обозначающих, надо думать, способность говорить не столько на чужих и неведомых языках, сколько на языке человеческого сердца, понятного всем людям. Эти отцы, во

[83] Примечания: 83

...ниспосланного в день троицы... дара... — Согласно религиозным преданиям, на пятидесятый день после пасхи произошло «сошествие святого духа» на апостолов, которое изображалось в виде спускающихся с неба огненных языков. Этот день отмечается христианской церковью как праздник пятидесятницы. Позднее его стали именовать троицын день.

всем остальном подобные апостолам, не владели огненным языком — последним и редчайшим, даруемым свыше, подтверждением пастырского призвания. Напрасно пытались бы они, приди им в голову такое намерение, выразить высочайшие истины с помощью жалких обыденных слов и образов. Эти люди пребывали на таких высотах, откуда человеческие голоса доносятся слабо и невнятно.

Мистер Димсдейл, судя по многим признакам, принадлежал именно к разряду ученых священнослужителей. Он поднялся бы на недосягаемые высоты веры и святости, если бы не бремя, будь то преступления или страдания, под тяжестью которого ему суждено было влачиться. Он был придавлен к земле наравне с самыми униженными, — он, человек столь одухотворенный, что ему могли бы внимать и ответствовать ангелы! Но именно это бремя тесно породнило его со всем грешным братством людей и заставило сердце священника трепетать заодно с их сердцами. Он переживал их горе, как свое, и умел поведать о собственных страданиях тысяче других людей в потоках горестного и убедительного красноречия. Часто — убедительного, но порой — страшного! Прихожане не понимали, что это

за сила, которая так их волнует. Они считали мистера Димсдейла чудом святости. Он казался им глашатаем божественной мудрости, и порицания, и любви! В их глазах даже земля, по которой он ходил, была священна. Его юные прихожанки, жертвы страсти, до того исполненной религиозного чувства, что она казалась им внушенной одним лишь благочестием, чахли и открыто несли в своих девственных сердцах эту страсть, как лучший дар небесам. Престарелые члены общины, видя хрупкость телесной оболочки мистера Димсдейла, тогда как сами они, несмотря на возраст, здоровы и сильны, считали, что он отправится на небеса раньше, чем они, и завещали своим детям похоронить их старые кости как можно ближе к святой могиле молодого священника! И, возможно, все это время бедный мистер Димсдейл сомневался, вырастет ли трава на его могиле, ибо в ней будет похоронен человек, проклятый богом!

Невозможно описать, как его мучило это всеобщее благоговение. Он искренне поклонялся истине и считал все земное тенью, лишенной всякого смысла и значения, если в нем не таилось божественного начала, которое и есть жизнь внутри жизни. Но чем, в таком случае, был он

сам? Субстанцией? Или самой неясной из всех теней? Он жаждал заговорить с кафедры полным голосом и поведать людям, кто он такой. «Я, кого вы видите в черных священнических одеяниях; я, осмелившийся взойти на эту кафедру, чтобы, подняв бледное лицо к небесам, обратиться, от вашего имени, к всеведущему; я, чью повседневную жизнь вы считаете безупречной, как жизнь Еноха;[84] я, чьи шаги, по вашему представлению, оставляют на пройденном земном пути сияющий след, долженствующий привести путников, идущих за мной, в обитель блаженства; я, крестивший ваших детей; я, шептавший отходную молитву вашим умирающим друзьям, до слуха которых смутно доносилось из покидаемого ими мира „Аминь!“; я, ваш пастырь, кого вы так почитаете и кому так верите, — я исполнен скверны и лжи!»

Не раз мистер Димсдейл всходил на кафедру с твердым решением сойти с нее лишь когда будут произнесены эти слова. Не раз он прочищал горло и делал долгий, глубокий и трепетный вдох, чтобы выдохнуть потом воздух, отягчен-

[84] Примечания: 84

Енох — библейский патриарх, живший, согласно легенде, до всемирного потопа. Прожив 365 лет, он за особое благочестие был взят богом на небо.

ный мрачной тайной, хранившейся в его сердце. Не один, а сотни раз он действительно говорил. Говорил! Но как? Он объяснял прихожанам, что он глубоко порочен, порочнее самого порочного человека, худший из грешников, мерзкое, невыразимо грязное существо, и поистине непонятно, что до сих пор его жалкое тело не сожжено на их глазах жгучим гневом всевышнего! Что могло быть прямее этих слов? Неужели люди не подымутся со скамей в едином порыве и не стащат его с кафедры, которую он оскверняет? Но нет! Они слушали его и почитали еще больше. Они не догадывались об ужасном смысле его бичующих слов. «Благочестивый юноша! — говорили они. — Ангел во плоти! Увы, если он считает такой греховной свою белоснежную душу, то какое страшное зрелище открылось бы ему в твоей или моей!» Священник, этот искусный, хотя и терзаемый угрызениями совести лицемер, отлично понимал, в каком свете предстает перед паствой его неопределенная исповедь. Стараясь признанием заглушить голос грешной совести, он вел нечистую игру, впадал в новый грех и заново ощущал стыд, не испытывая того временного облегчения, какое бывает у человека, которому удалось себя обмануть. Он говорил только правду,

но превращал ее в величайшую ложь. А между тем по самой своей природе он любил правду и ненавидел ложь так, как лишь немногие умеют любить и ненавидеть. Поэтому более всего на свете он ненавидел свое собственное презренное существо.

Внутреннее смятение привело его к действиям, более согласным с практикой старой развращенной католической церкви, чем с просвещенными взглядами той веры, в которой он был рожден и воспитан. В потайном ящике под семью замками мистер Димсдейл хранил окровавленный бич. Нередко этот протестантский и пуританский священник стегал себя по плечам, горько смеясь над собою, и стегал тем безжалостнее, чем горше был его смех. Подобно многим благочестивым пуританам, он часто прибегал к постам, но не для того, чтобы, очистив плоть, сделать ее более достойной божественного откровения, а в виде акта покаяния, изнуряя себя до того, что у него начинали подгибаться колени. Он также проводил ночи в бдениях, порою в полном мраке, порою при свете колеблющегося ночника, а порою — глядя на свое отражение в ярко освещенном зеркале. Непрерывно копаясь в душе, он не очищал ее, а только истязал. Во время этих

продолжительных бдений обессилевший мозг мистера Димсдейла нередко сдавал, рисуя ему призраков, то смутно светившихся и с трудом различаемых в темных углах комнаты, то более отчетливых, витавших рядом с его отражением в глубине зеркала. Иногда это была свора дьявольских образин, которые, кривляясь и смеясь над бледным пастором, манили его за собой, иногда — рой сияющих ангелов, тяжело взлетавших к небесам и словно обремененных скорбью, то постепенно становившихся все прозрачнее и легче; иногда появлялись умершие друзья его юности, и седобородый отец с благочестиво нахмуренным челом, и мать, которая проходила мимо, отвернув лицо. Дух матери, призрачнейший ее образ, — думается, она все же могла бы бросить сострадательный взгляд на своего сына! А иногда по комнате, такой жуткой из-за этих потусторонних образов, скользила Гестер Прин, ведя за руку маленькую Перл в алом платье и показывая пальцем сперва на грудь себе, где горела алая буква, а потом на грудь священника.

Эти видения никогда целиком не обманывали мистера Димсдейла. В любую минуту он мог сделать над собой усилие и различить сквозь их туманную неощутимость ощутимые предметы,

мог убедить себя, что они не обладают непроницаемостью, как тот резной дубовый стол или этот огромный квадратный богословский трактат в кожаном переплете с бронзовыми застежками. И все же в каком-то смысле они содержали в себе больше истинности и материальности, нежели все остальное, с чем соприкасался теперь несчастный священник. Невыразимое несчастье столь лживого существования заключается в том, что ложь отнимает всю сущность и вещественность у окружающих нас реальностей, которые небесами предназначены для того, чтобы радовать и питать наш дух. Неискреннему человеку вся вселенная кажется лживой, — она неосязаема, она превращается под его руками в ничто. И сам он, — в той мере, в какой показывает себя в ложном свете, — становится тенью или вовсе перестает существовать. Единственной правдой, придававшей подлинность существованию мистера Димсдейла на земле, было страдание, сокрытое в глубине его души, и печать этого страдания, лежавшая на его облике и всем видимая. Найди мистер Димсдейл в себе силы улыбнуться и сделать веселое лицо, он, как таковой, перестал бы существовать!

В одну из таких мучительных ночей, на ко-

торые мы лишь намекнули, — от дальнейшего их описания мы воздержимся, — священник вскочил со своего кресла. Ему пришла в голову новая мысль. Быть может, он сумеет обрести хоть минуту покоя! Тщательно облачившись, словно для богослужения, он осторожно спустился по лестнице, отпер дверь и вышел на улицу.

Глава XII
ПАСТОР НЕ СПИТ

Ступая словно в сонном забытьи, а может быть, и действительно находясь в сомнамбулическом состоянии, мистер Димсдейл дошел до того места, где Гестер Прин когда-то пережила первые часы своего позора. Тот же помост, или эшафот, за семь долгих лет потемневший от ненастья, выцветший на солнце, истертый шагами многих осужденных, с тех пор всходивших на него, все еще стоял под балконом молитвенного дома. Пастор поднялся по ступенькам.

Была темная ночь, как обычно в начале мая. Неподвижная завеса облаков укрыла весь простор небосвода от зенита до горизонта. Если бы та самая толпа, которая была свидетельницей публичного наказания Гестер Прин снова собралась здесь, она не распознала бы в серой полуночной мгле очертаний фигуры, возвышавшейся над помостом, а тем более лица этого человека. К тому же город спал. Священнику не грозила опасность быть узнанным. Если бы ему пришло в голову оставаться здесь, пока на востоке не забрезжит

рассвет, ему и тогда нечего было бы опасаться, кроме разве сырого холода ночи, который мог проникнуть в тело пастора, свести суставы, застудить горло, вызвать у мистера Димсдейла кашель и тем самым лишить его завтрашних слушателей молитвы и проповеди. Ничей взор не коснулся бы его, кроме того всевидящего ока, которое могло проследовать за ним даже в спальню и узреть его там с окровавленным бичом в руках. Зачем же пришел он сюда? Неужели — ради издевки над покаянием? Да, ради издевки, но только над самим собой. Ради издевки, от которой ангелы заливались краской и плакали, а дьяволы ликовали, оглашая вселенную насмешливым хохотом! Священника привели сюда угрызения совести, неотступно преследовавшей его, в то время как трусость, сестра и неразлучная спутница раскаяния, дрожащей рукой неизменно тянула его прочь даже в ту минуту, когда признание уже трепетало у него на устах. Несчастный, жалкий человек! Какое право имел он, столь слабохарактерный, обременять себя преступлением? Преступление под силу лишь людям с железными нервами, которые в состоянии нести тяжесть свершенного, или, если оно слишком давит на плечи, напрячь свою свирепую, буйную волю для

благой цели и разом сбросить с себя этот гнет! Его же немощная и чувствительная душа была не способна ни к тому, ни к другому, хотя все время металась в попытках найти исход! Ужас перед осужденным небесами преступлением и бессильное раскаяние переплелись в запутанный клубок.

Стоя на помосте и предаваясь напрасным терзаниям, мистер Димсдейл испытывал непередаваемый ужас, ибо ему казалось, что весь мир смотрит на него не отрываясь и видит на его обнаженной груди прямо над сердцем алый знак. Действительно, в этом месте уже давно таилась грызущая боль, подтачивая своим ядом его здоровье. Не в силах сдержаться, он помимо своей воли громко закричал. Этот крик, раздавшийся в ночи, прокатился от дома к дому и эхом отозвался в далеких холмах; казалось, дьяволы, почуяв, сколько горя и ужаса в этом крике, сделали его своей игрушкой и перебрасывали взад и вперед.

— Свершилось! — прошептал мистер Димсдейл, закрывая лицо руками. — Теперь весь город проснется, сбежится сюда и увидит меня!

Но этого не произошло. Возможно, что объятому страхом священнику крик показался куда более громким, чем был в действительности. Го-

род не проснулся, а если обитатели и услышали что-нибудь сквозь сон, то либо решили, что кого-то мучает кошмар, либо приписали этот крик ведьмам, которые в те времена часто носились по воздуху вместе с сатаной, тревожа своими голосами людей в поселках и одиноких жилищах. Поэтому священник, не замечая никаких признаков общей тревоги, отнял руки от лица и осмотрелся. В одном из окон губернатора Беллингхема, — его дом стоял в некотором отдалении на улице, параллельной площади, — он заметил самого старого губернатора с лампой в руке. В белом колпаке я длинном белом халате он казался приведением, без нужды вызванным из могилы. Крик, по-видимому, удивил его. В другом окне того же дома показалась старая миссис Хиббинс, сестра губернатора, тоже с лампой; даже издали было видно, какое у нее злое лицо. Высунув голову, из-за решетки окна, она напряженно смотрела вверх. Почтенная леди ведьма, без сомнения, слышала крик мистера Димсдейла и приняла его, вместе с многочисленными отголосками, за вопли ночных духов обоего пола, с которыми, как было известно, она частенько совершала прогулки в лес.

Заметив отсвет лампы губернатора Беллингхе-

ма, старая леди поспешно погасила свой ночник и исчезла. Может быть, она унеслась в облака. Священник больше ее не видел. Судья, пристально вглядевшись во тьму, сквозь которую он, однако, мог видеть не лучше, чем сквозь мельничный жернов, отошел от окна.

Мистер Димсдейл немного успокоился. Но вскоре его глаза различили слабый мерцающий свет, который сначала мелькнул где-то вдалеке, а потом начал приближаться по улице. Огонек этот выхватывал из темноты знакомые предметы: столб, садовую ограду, решетчатую раму окна, водокачку и полный воды желоб, иногда — арку и под ней дубовую дверь с чугунной колотушкой и грубым обрубком, служившим порогом. Преподобный мистер Димсдейл замечал все эти подробности, хотя был твердо убежден, что возмездие близко, что он уже слышит неумолимую поступь судьбы и что через несколько минут свет фонаря упадет на него и откроет долго хранимую тайну. Когда огонек приблизился, он увидел в его свете своего духовного брата, или, если говорить более точно, наставника и высокочтимого друга, преподобного мистера Уилсона, который, как догадался мистер Димсдейл, вероятно молился у изголовья умирающего. Действительно, добрый

старый священник только что отошел от смертного ложа губернатора Уинтропа,[85] который в тот самый час покинул земную жизнь ради небесной. Освещая дорогу фонарем, отец Уилсон направлялся к своему дому, окруженный, как святые минувших времен, ореолом света, озарявшего его средь грешной тьмы этой ночи, будто покойный губернатор оставил ему в наследство свою славу или на самого священника упало сияние далекого небесного града, когда он смотрел, как торжествующий путник проходил в его врата. Мерцанье светильника и вызвало приведенные выше представления в голове у мистера Димсдейла, который улыбнулся — нет, почти засмеялся им, — а затем подумал, что сходит с ума.

Когда преподобный мистер Уилсон, одной рукой плотно запахивая плащ, а другой неся перед собой фонарь, поравнялся с помостом, мистер Димсдейл едва удержался, чтобы не сказать:

«Добрый вечер, преподобный отец Уилсон! Молю вас подняться сюда и провести часок со

---

[85] Примечания: 85

Уинтроп, Джон (1587–1649) — первый губернатор Массачусетса, главный организатор пуританской группы эмигрантов, прибывших в Новую Англию в 1630 году на корабле «Арабелла». Действие романа «Алая буква» начинается в год, когда губернатором был Беллингхем, и заканчивается в год смерти Джона Уинтропа — это позволяет установить хронологические рамки романа Готорна — 1641–1649 годы, то есть несколько больше семи лет.

мной!»

Всеблагие небеса! Неужели мистер Димсдейл в самом деле сказал это? На мгновенье он поверил, что слова сорвались с его губ. Нет, они были произнесены только в его воображении. Отец Уилсон, ни разу не повернув головы в сторону лобного места, медленно прошествовал дальше, с опаской поглядывая на грязную дорогу под ногами. Когда свет мерцающего фонаря замер вдали, пастор понял по охватившей его внезапной слабости, что истекшие минуты были для него минутами страшного, мучительного кризиса, хотя ум и пытался невольно развлечь себя мрачными шутками.

Немного спустя жуткое сознание нелепости его поведения снова закралось в торжественные мысли мистера Димсдейла. Он почувствовал, что члены его костенеют от непривычного ночного холода, и усомнился, сможет ли он спуститься по ступеням помоста. Наступит утро и застанет его тут. Начнет просыпаться округа. Первый, кто выйдет в предрассветном сумраке, увидит неясную фигуру на помосте и, обезумев от страха и любопытства, побежит стучаться во все двери, созывая народ посмотреть на призрак, — он, конечно, решит, что это призрак какого-то каз-

ненного злодея. Мрачное возбуждение будет взмахивать крылами, перелетая из дома в дом. Затем, когда утренний свет станет ярче, сюда поспешат почтенные старцы во фланелевых халатах и старые дамы, не успевшие даже снять ночное одеяние. Вся компания именитых горожан, у которых никто доселе никогда не замечал даже плохо зачесанного волоска, появится на глазах у народа в фантастически непристойном виде. Придет суровый старый губернатор Беллингхем в сбившихся на бок брыжах времен короля Иакова, и миссис Хиббинс с лесными сучками, зацепившимися за ее юбки, еще более злая, чем обычно, так как ей не удалось выспаться после ночной прогулки, и добрый отец Уилсон, которому, после бдения у смертного ложа, будет совсем не по душе, что его так рано потревожили, оторвав от снов о прославленных святых. Придут сюда также старейшины и дьяконы прихода мистера Димсдейла и молоденькие девушки, так боготворящие своего священника и замкнувшие его образ как святыню в своей нежной груди, которую теперь, между прочим, в спешке и суматохе они едва ли успеют прикрыть платочком. Словом, все жители бросятся сюда, спотыкаясь о пороги своих жилищ и обращая изумленные и

потрясенные ужасом лица к помосту. Кого же они увидят там, с красным отблеском зари на челе? Кого, как не преподобного Артура Димсдейла, полузамерзшего, раздавленного стыдом и стоящего там, где стояла Гестер Прин!

Захваченный этим страшным гротескным видением, пастор, к собственному неописуемому ужасу, внезапно разразился громким хохотом. На его хохот немедленно откликнулся звонкий серебристый детский смех, и с замиранием сердца, — он сам не знал, было ли это от острой боли или от столь же острой радости, — он понял, что это смеется маленькая Перл.

— Перл! Малютка Перл! — воскликнул он после минутного молчания, а затем, понизив голос, спросил: — Гестер! Гестер Прин! Ты ли это здесь?

— Да, это я, Гестер Прин! — удивленно ответила она, и священник услышал, что она свернула с дороги, по которой шла. — Это я и моя маленькая Перл.

— Откуда вы идете, Гестер? — спросил священник. — Что привело вас сюда?

— Я пробыла ночь у постели умирающего, — ответила Гестер Прин, — у постели губернатора Уинтропа. Я сняла мерку для савана и сейчас иду домой.

— Взойди сюда, Гестер, ты и малютка Перл, — сказал преподобный мистер Димсдейл. — Вы обе уже стояли здесь прежде, но тогда меня не было с вами. Поднимитесь сюда вновь, и теперь мы будем стоять все трое вместе!

Она молча взошла по ступеням и остановилась на помосте, держа за руку маленькую Перл. Священник нащупал другую ручку ребенка и взял ее. И в тот же миг ему показалось, что стремительный поток новой жизни, совсем иной, чем его собственная, хлынул в его сердце и заструился по жилам, как будто мать и ребенок передали свое жизненное тепло его полуокоченевшему телу. Все трое составляли как бы единую электрическую цепь.

— Пастор! — прошептала маленькая Перл.

— Что ты хочешь сказать, дитя? — спросил мистер Димсдейл.

— Ты постоишь здесь с мамой и со мной завтра днем? — спросила Перл.

— Нет, нет, моя маленькая Перл, — ответил священник, ибо в эту минуту нового прилива сил к нему вернулся страх публичного разоблачения, который так долго терзал его; положение, в котором он очутился, одновременно вызывало у него и трепет и какую-то непонятную радость. — Нет,

дитя мое! Я буду, конечно, стоять с твоей мамой и тобой в некий иной день, но не завтра.

Перл засмеялась и хотела выдернуть руку. Но священник крепко держал ее.

— Еще минутку, дитя мое! — сказал он.

— А ты обещаешь, — спросила Перл, — подержать за руку меня и маму завтра днем?

— Не завтра, Перл, — ответил священник, — но в другой раз.

— В какой другой раз? — допытывался ребенок.

— В великий день Страшного суда, — прошептал священник; и странно, именно сознание, что он всю жизнь обучал истине, заставило его так ответить ребенку. — Тогда твоя мать, и ты, и я вместе будем стоять перед престолом великого судии. А дневной свет этого мира не должен видеть нас вместе!

Перл снова засмеялась.

Но прежде чем мистер Димсдейл договорил, далекий свет широко разлился по окутанному тучами небу. Причиной тому, без сомнения, был один из тех метеоров, сгорающих дотла в разреженных слоях атмосферы, которые так часто можно увидеть ночью. Сверкание метеора было настолько мощным, что пронизало густую завесу

туч между небом и землей. Величественный свод засиял, подобно абажуру гигантской лампы. Он осветил знакомую улицу, и она стала видна, как днем; он придал ей тот грозный вид, какой приобретают знакомые предметы в непривычном освещении. Деревянные дома с выступающими верхними этажами и своеобразными высокими фронтонами, пороги и крылечки с пробивающейся вокруг них молодой травой, садики, чернеющие недавно вскопанной землей, колея от повозок, еще мало проторенная и даже на рыночной площади окаймленная с обеих сторон зеленью, — все это было видно как на ладони, но имело необычный облик, который, казалось, сообщал предметам окружающего мира иное внутреннее значение, чем они имели прежде. А на помосте стояли священник, положивший руку на сердце, Гестер Прин с вышитой буквой, поблескивавшей у нее на груди, и маленькая Перл — символ и соединительное звено между ними. Они стояли в центре этого странного и торжественного блеска, будто это и был свет, которому надлежало раскрыть все тайны на заре того дня, который соединит всех, кто принадлежит друг другу.

Во взоре маленькой Перл было что-то колдов-

ское; и когда она подняла глаза на священника, на лице ее появилась лукавая улыбка, часто делавшая ее похожей на эльфа. Она высвободила свою руку из руки мистера Димсдейла и указала пальцем на другую сторону улицы. Но он скрестил руки на груди и поднял глаза к небу.

В те дни было более чем обычно толковать все атмосферные и прочие природные явления, происходившие с меньшей равномерностью, чем восход и заход солнца и луны, как проявления сверхъестественных сил. Так, сверкающее копье, огненный меч, пучок стрел, усмотренные в полуночном небе, знаменовали набег индейцев. Всем было известно, что поток багрового света предвещает чуму. Мы сомневаемся, произошло ли в Новой Англии со времен ее первых поселений и до приобретения ею независимости хотя бы одно событие, доброе или худое, о котором жители не были бы предупреждены каким-нибудь видением в этом роде. Нередко его замечало множество людей. Однако гораздо чаще его достоверность лежала на совести какого-нибудь одного свидетеля, который созерцал чудо сквозь расцвечивающую, увеличивающую и искажающую среду своего воображения, а затем, значительно позднее, мысленно облекал

его в более отчетливую форму. Было нечто величественное в представлении, что будущность народов открывается в этих страшных иероглифах на небесном своде. Столь обширный свиток казался вполне достойным того, чтобы провидение начертало на нем судьбы людей. Наши предки охотно разделяли это верование, ибо оно как бы служило залогом того, что их молодая республика находится под непосредственным и неусыпным небесным покровительством. Но что можно сказать об отдельном человеке, открывающем истину, адресованную ему одному на том же самом огромном листе! Во всяком случае, можно считать лишь признаком крайнего смятения ума, если человек, из-за долгого, сильного и тайного страдания склонный к болезненному самосозерцанию, распространяет свой эгоизм на всю природу, пока сам небесный свод не начинает представляться ему всего лишь страницей, куда вписаны история и судьба его души!

Поэтому мы объясняем только болезнью глаз и сердца пастора то, что он, устремив свой взор к небу, увидел там изображение огромной буквы, буквы «А», начертанной полосами тусклого красного цвета. Быть может, в этом месте показался метеор, смутно просвечивая сквозь покров

облаков. Но он не мог иметь такую форму, какую придало ему воображение грешника, разве лишь настолько расплывчатую, что чья-либо иная вина могла усмотреть в ней совершенно иной символ.

И еще одно особое обстоятельство усиливало в эту минуту душевное смятение мистера Димсдейла. Смотря на небо, он в то же время отчетливо сознавал, что маленькая Перл указывает пальцем на старого Роджера Чиллингуорса, который стоял недалеко от помоста. Священник как будто охватывал и его тем же взглядом, которым созерцал удивительную букву. Лицу старика, как и всем другим предметам, свет метеора придал новое выражение, или, возможно, врач в этот миг был менее осторожен, чем обычно, и не скрывал той ненависти, с какой смотрел на свою жертву. Конечно, если метеор зажег небо и залил землю ужасным светом, который напомнил Гестер Прин и священнику о дне Страшного суда, Роджер Чиллингуорс вполне мог показаться им сатаной, с улыбкой злорадства поджидающим свою жертву. Потому ли, что эта улыбка была так выразительна, потому ли, что ее так остро воспринял пастор, но она осталась начертанной для него во мраке ночи и после того, как метеор исчез, а за ним, казалось, разом скрылись и улица

и все остальные предметы.

— Кто этот человек, Гестер? — с трудом проронил мистер Димсдейл, обуянный страхом. — Я трепещу перед ним! Ты знаешь этого человека? Я ненавижу его, Гестер!

Она помнила свою клятву и молчала.

— Говорю тебе, что душа моя трепещет при виде его! — снова тихо произнес священник. — Кто он? Кто он? Неужели ты не можешь помочь мне? Я испытываю невыразимый ужас перед этим человеком!

— Пастор, — проговорила маленькая Перл, — я могу сказать тебе, кто он!

— Скажи скорее, дитя! — шепнул священник, прикладывая ухо к ее губам. — Скорее! И говори как можно тише!

Перл пробормотала ему что-то на ухо. Это были звуки, похожие на человеческую речь, но лишенные всякого смысла, вздор, каким дети иногда развлекаются целыми часами. Во всяком случае, если эти звуки и содержали какие-нибудь тайные сведения относительно старого Роджера Чиллингуорса, последние были высказаны на языке, неведомом ученому священнику, и это только увеличило его замешательство ума. Проказливая девочка громко расхохоталась.

— Ты дразнишь меня? — спросил священник.

— Ты струсил! Ты побоялся правды! — ответил ребенок. — Ты не хочешь держать меня и маму за руку завтра днем!

— Достопочтенный сэр, — заговорил врач, который теперь приблизился к подножью помоста. — Благочестивый мистер Димсдейл, вы ли это? Вот уж, в самом деле!.. Мы, люди науки, чьи мысли заняты только книгами, нуждаемся в строгом присмотре! Мы спим, когда бодрствуем, и гуляем во сне! Пойдемте, добрый сэр и мой дорогой друг, прошу вас, разрешите мне проводить вас домой!

— Как ты узнал, что я здесь? — со страхом спросил священник.

— Клянусь честью, я ничего не знал об этом, — ответил Роджер Чиллингуорс. — Я провел большую часть ночи у постели почтенного губернатора Уинтропа, делая все, что позволяет мне мое скромное умение, дабы облегчить ему последние минуты. Но он отошел в лучший мир, и я отправился домой, как вдруг вспыхнул этот странный свет. Пойдемте со мной, умоляю вас, достопочтенный сэр, иначе завтра вы едва ли сможете исполнять ваши воскресные обязанности. Вы сами видите сейчас, как туманят мозг эти

книги! Книги! Вам бы следовало поменьше заниматься, сэр, и немного отдохнуть, а то ночные бдения вас доконают.

— Я пойду с тобой, — сказал мистер Димсдейл.

Будто пробудясь от страшного сна, обессиленный, с равнодушным унынием, он подчинился врачу, и тот увел его.

Однако на следующий день он произнес воскресную проповедь, которая, по общему мнению, была самой красноречивой, сильной и вдохновенной из всех когда-либо им произнесенных. Говорят, что не одна, а многие души были обращены к истине силой этой проповеди и дали про себя обет вечно хранить священную благодарность мистеру Димсдейлу. Но когда он спускался по ступеням кафедры, седобородый церковный сторож встретил его, держа в руках черную перчатку, в которой священник узнал свою.

— Ее нашли утром, — сказал сторож, — на помосте, где ставят преступников к позорному столбу. Наверно, сатана занес ее туда, намереваясь сыграть с вашим преподобием непристойную шутку. Слеп он и глуп был и будет. Безгрешной руке незачем скрываться под перчаткой!

— Благодарю вас, мой добрый друг, — сказал священник спокойно, но содрогаясь в душе; его

воспоминания были столь беспорядочны, что он готов был считать события прошлой ночи плодом воображения. — Да, это, кажется, в самом деле моя перчатка!

— А так как сатана сумел украсть ее, ваше преподобие должны впредь разделываться с ним без перчаток! — заметил старый сторож, мрачно улыбаясь.

— А изволили вы слышать, ваше преподобие, о знамении, *которое было видно нынешней ночью? Большая красная буква на небе — буква «А», которая, как мы понимаем, означает «Ангел». Ведь в эту ночь наш добрый губернатор Уинтроп перешел в рай, вот знамение и извещало нас об этом.

— Нет, — ответил священник, — я не слышал об этом.

Глава XIII
ЕЩЕ РАЗ ГЕСТЕР

Во время своей последней, довольно странной беседы с мистером Димсдейлом Гестер Прин была потрясена, увидя, в каком состоянии находится священник. Его нервы, несомненно, были совсем расшатаны, воля стала слаба, как у ребенка. Он был совершенно беспомощен, хотя рассудок его сохранял прежнюю силу, а возможно, и приобрел какую-то болезненную энергию, которую мог придать ему только недуг. Зная цепь предшествовавших событий, скрытых от других, Гестер легко догадалась, что к обычным для него угрызениям совести добавилось какое-то ужасное внешнее влияние, нарушавшее душевное благополучие и покой мистера Димсдейла. Она помнила, каким был некогда этот бедный, заблудший человек, и ее душа была глубоко тронута, когда он, содрогаясь от ужаса, обратился к ней — отверженной, — прося поддержки против врага, которого он инстинктивно чувствовал. И она сразу же решила, что он имеет право на ее посильную помощь. Изгнанная из общества и от-

выкшая соразмерять свои представления о добре и зле с какими-либо внешними нормами, Гестер увидела, а может быть ей так показалось, что на ней одной, и ни на ком более, лежит ответственность за священника, которую она должна нести, не считаясь ни с кем на свете. Узы, связывавшие ее со всем остальным миром, узы из цветов, шелка, золота или из любого другого материала, все были порваны. Здесь же были железные цепи их общего преступления, разорвать которые ни она, ни он не могли. Подобно всем другим узам, они налагали обязательства.

Теперь Гестер Прин занимала в обществе несколько иное положение, чем то, в котором мы застали ее в первые часы ее позора. Шли годы. Перл исполнилось семь лет. Ее мать с алым знаком на груди, поблескивавшим своей причудливой вышивкой, давно уже примелькалась жителям города. И, как обычно случается с теми, кто чем-либо выделяется из общества, а в то же время не вмешивается ни в общественные, ни в личные интересы и дела, Гестер Прин начала пользоваться своеобразным уважением. Здесь надо отдать должное человеческой природе: если на сцену не выступает эгоизм, она охотнее любит, чем ненавидит. Даже сама ненависть постепенно

и неприметно может перейти в любовь, если только этому не будет препятствовать непрестанное новое возбуждение первоначального враждебного чувства. Гестер Прин не раздражала, не надоедала. Она никогда не пыталась бороться с обществом и безропотно сносила самое дурное обращение; она не домогалась награды за свои страдания и не требовала сочувствия к себе. Да и безупречная чистота ее жизни за все эти годы, в течение которых, она была обречена на бесчестье, говорила в ее пользу. А так как ей нечего было терять в глазах людей и она не питала никаких надежд и, по-видимому, никакого желания чего-нибудь добиться, возвращение бедной скиталицы на путь истинный могло быть вызвано лишь искренней любовью к добродетели.

Люди видели также, что Гестер, никогда не претендовавшая даже на самые скромные мирские блага, за исключением права дышать общим воздухом и добывать честным трудом рук своих насущный хлеб для маленькой Перл и для себя самой, в то же время не отрекалась от своего родства с остальными людьми, когда нужно было оказать кому-нибудь благодеяние. Никто с большей готовностью не уделял из своего крошечного достояния неимущим даже тогда, когда ожесто-

ченный судьбою бедняк встречал ее насмешкой, вместо того чтобы поблагодарить за еду, которую она постоянно приносила к его порогу, или за одежду, сшитую для него руками, достойными вышить мантию для монарха. Никто не проявил такой самоотверженности, когда в городе свирепствовала чума. В годы бедствий, общественных или частных, эта изгнанница сразу находила свое место. Не как гостья, а как кто-то имеющий на это право, входила она в дом, омраченный несчастьем, словно его скорбные сумерки были той средой, в которой ей было дано право поддерживать общение со своими братьями и сестрами. Там ее вышитая алая буква сияла неземным лучом утешения. Клеймо греха становилось свечой у изголовья больного. В тяжкий последний час оно светило страдальцу через грань времен, озаряло ему путь, когда луч земной быстро угасал, а луч вечности еще не мог ему просиять. В такие минуты натура Гестер — неисчерпаемый источник человеческой доброты — изливала свое тепло и щедрость на людей. Ее грудь с эмблемой позора становилась мягкой подушкой для головы больного. Гестер сама посвятила себя в сестры милосердия, или, пожалуй, тяжелая рука общества посвятила ее, когда ни свет, ни она сама

не могли предвидеть, что так будет. Алая буква стала символом ее призвания. Гестер была так щедра на помощь, проявляла такую ловкость в работе и такую готовность сочувствовать, что многие люди отказывались толковать алое «А» в его первоначальном значении. Они утверждали, что эта буква означает «Able» (сильная), — столько было в Гестер Прин женской силы.

Она заходила только в дома, омраченные несчастьем. Когда их снова озаряло солнце, Гестер уже не было там. Ее тень исчезала за порогом. Женщина, сеявшая добро, уходила, даже не оглянувшись, чтобы принять благодарность, может быть наполнявшую сердца тех, кому она служила с таким усердием. Встречая их на улице, она никогда не поднимала головы в ожидании приветствия. Если они все же решались обратиться к ней, она прикасалась пальцем к алой букве и проходила мимо. В таком поведении можно было бы усмотреть гордыню, но в то же время оно так напоминало смирение, что общественное мление не могло постепенно не смягчиться. Общество деспотично по своему нраву; оно способно отказывать в простейшей справедливости, слишком настойчиво требуемой по праву, но почти так же часто оно награждает щедрее, чем следует,

подобно деспоту, который любит, когда взывают к его великодушию. Истолковывая поведение Гестер Прнн именно как обращение такого рода, общество было склонно взирать на свою прежнюю жертву с большим доброжелательством, чем она могла надеяться или, быть может, даже заслуживала.

Правители города, а также люди, умудренные опытом и образованные, дольше, чем народ, не признавали добрых качеств Гестер. Предрассудки, которые они разделяли с простым людом, подкреплялись в них железным строем мышления, поэтому освободиться от предубеждений им было гораздо труднее. Тем не менее день за днем их угрюмые и жесткие морщины разглаживались, и с годами на их лицах появилось выражение, близкое к благосклонности. Так было с людьми высокого ранга, которых их видное положение делало опекунами общественной нравственности. Простые же люди давно простили Гестер Прин ее грех; более того, они начали смотреть на алую букву не как на символ того единственного проступка, за который она несла такое долгое и тяжкое наказание, а как на напоминание о множестве добрых дел, совершенных ею с тех пор. «Вы видите женщину с вышитой буквой на гру-

ди? — обычно спрашивали они приезжих. — Это наша Гестер, которую знает весь город и которая так добра к беднякам, так ухаживает за больными, так утешает несчастных!» Правда, при этом, со свойственной человеческой натуре склонностью чернить других, они не упускали случая рассказать о ее позорном прошлом. Тем не менее в глазах тех самых людей, которые это говорили, алая буква приобрела значение креста на груди у монахини. Она сообщала носившей ее женщине священную неприкосновенность, избавлявшую ее от всех опасностей. Случись Гестер оказаться среди разбойников, эта буква защитила бы ее и там. Многие рассказывали, сами этому веря, что однажды индеец направил стрелу в грудь Гестер, но стрела, ударившись о букву, упала на землю, те причинив никакого вреда.

Влияние буквы или, скорее, того положения, в которое она ставила свою носительницу по отношению к обществу, на дух самой Гестер Прин было могущественным и своеобразным. Легкая и изящная листва ее внутреннего мира была иссушена этим докрасна раскаленным клеймом и давно опала, обнажив голый и суровый контур, который мог бы отпугнуть друзей и знакомых, если бы они были у этой женщины.

Даже внешность ее претерпела такое же изменение. Возможно, что отчасти оно было вызвано подчеркнутой строгостью ее одежды и величайшей сдержанностью манер. Грустно было и то, что ее роскошные густые волосы не то были обрезаны, не то так запрятаны под чепец, что ни один блестящий локон никогда не выскальзывал на солнечный свет. В силу всех этих причин, а может быть, еще более из-за чего-то другого, казалось, что в лице Гестер уже нет того, что могло бы привлечь взор любви, что стан ее, все еще величественный, как у статуи, страсть уже не мечтала бы заключить в свои объятия и что на груди ее уже не обрело бы покоя пылкое чувство. У нее исчезло какое-то качество, постоянное присутствие которого необходимо для того, чтобы женщина оставалась женщиной. Нередки такие случаи, когда под влиянием тяжелых переживаний и характер женщины и ее внешность приобретают черты суровости. Если она была воплощением нежности, она умирает. Если же она выдерживает испытание, ее нежность будет либо сокрушена, либо — а внешне это то же самое — столь глубоко вдавлена в ее сердце, что никогда не появится на свет. Последнее предположение, пожалуй, самое верное. Та, которая когда-то была женщиной

и перестала быть ею, может в любой миг стать женщиной вновь, для этого нужно лишь, чтобы ее коснулась палочка волшебника. Впоследствии мы увидим, коснулась ли эта палочка Гестер Прин и свершилось ли чудо превращения.

Мраморную холодность внешнего облика Гестар нужно отнести в значительной мере за счет того обстоятельства, что ее жизнь круто повернула от страсти и чувства к мысли. Одинокая в мире, лишенная поддержки общества, с маленькой Перл на руках, которую нужно было наставлять и защищать, одинокая и не лелеющая никакой надежды на восстановление своего положения, даже если бы она и не презирала такую мысль, Гестер отбросила от себя обрывки цепи. Закон света перестал быть законом для нее. Это был век, когда раскрепощенный человеческий разум стал проявлять себя более активно и более разносторонне, чем в долгие предшествовавшие века. Люди меча свергли вельмож и королей. Люди еще более храбрые, чем люди меча, сокрушили — не практически, а в рамках теории, которая была истинной средой их действия, — всю систему укоренившихся предрассудков, с которой в основном были связаны старинные воззрения. Гестер Прин усвоила этот дух. Она обрела свободу

мышления, уже распространившуюся тогда по ту сторону Атлантики, но которую наши предки, если бы они проведали о ней, сочли бы более тяжким грехом, чем грех, заклейменный алой буквой. В уединенном домике на берегу моря Гестер посещали такие мысли, которые не посмели бы войти ни в какое иное жилище Навой Англии, призрачные гости, столь же опасные для своей хозяйки, как демоны ада, если бы кто-нибудь увидел их хотя бы только стучащимися в ее дверь.

Примечательно, что люди, особенно дерзкие в своих помыслах, часто с полнейшим спокойствием подчиняются внешним законам общества. Их удовлетворяет сама мысль, даже не воплощенная в плоть и кровь осуществления. Так, по-видимому, было и с Гестер. И все же, если бы не маленькая Перл, которая пришла к ней из мира духов, путь Гестер, возможно, был бы совсем иным. Она могла бы войти в историю рука об руку с Энн Хетчинсон как основательница религиозной секты или стала бы прорицательницей. А тогда, возможно, и пожалуй даже наверно, суровый суд того времени приговорил бы ее к смерти за попытку подорвать основы пуританского строя. Но все свои мыслительные силы мать вкладывала в воспитание ребенка. Подарив Гестер дочь, прови-

дение возложило на мать обязанность растить и лелеять среди множества трудностей зародыш и будущий расцвет женственности. Все было против Гестер. Мир был настроен враждебно. Даже в характере ребенка таилось что-то нездоровое, постоянно напоминавшее о том, что она была зачата в грехе, плод беззаконной страсти своей матери, и это часто побуждало Гестер с горечью в сердце вопрошать — на благо или на беду родилась это несчастное маленькое существо.

Нередко с такой же горечью думала она об участи всех женщин. Имеет ли какую-нибудь ценность жизнь даже самых счастливых представительниц женского пола? Что касалось ее собственного существования, то она уже давно решила вопрос отрицательно и перестала думать о нем. Склонность к размышлению хотя и может сдерживать порывы женщин, равно как и мужчин, наполняет их печалью. Быть может, они чувствуют, что перед ними — непосильная задача. Ведь в качестве первого шага необходимо разрушить и выстроить заново всю общественную систему. Далее, сама природа женщины или ее наследственные привычки, превратившиеся во вторую натуру, должны значительно измениться, прежде чем женщина сможет занять

достойное и приемлемое положение. Наконец, если даже все прочие трудности будут устранены, женщина не сможет воспользоваться преимуществом этих предварительных преобразований до тех пор, пока в ней самой не произойдет еще более значительная перемена, но тогда, возможно, испарится та невесомая сущность, из которой и состоит ее подлинная жизнь. Женщине никогда не разрешить этих проблем, отпираясь лишь на разум. Для их разрешения существует один-единственный путь. Стоит лишь сердцу женщины взять верх над разумом, как они исчезнут. Так Гестер Прин, чье сердце утратило свой естественный здоровый ритм, блуждала без путеводной нити в мрачном лабиринте мыслей, то сворачивая при виде непреодолимой пропасти, то в ужасе отступая от глубокой бездны. Все вокруг нее было дико и пустынно, она нигде не находила приюта и поддержки. Случалось, что в ее душу закрадывалась страшная мысль: не лучше ли сразу же отправить Перл на небо и предать себя воле вечного судии?

Алая буква не оправдала своего назначения.

Однако теперь беседа с преподобным мистером Димсдейлом во время его ночного бдения дала ей новую пищу для размышлений и указала цель,

достойную любых усилий и жертв. Она стала свидетельницей ужасных мук, под бременем которых изнемогал или, вернее, изнемог священник. Она видела, что он стоял на грани безумия, если уже не переступил ее. Не приходилось сомневаться в том, что, при всей мучительности тайных угрызении совести, более смертельный яд добавляла к ним рука, предлагавшая облегчение. Тайный враг все время находился рядом, скрытый личиной друга и помощника, и, пользуясь предоставленными ему возможностями, постоянно давил на слабые стороны души мистера Димсдейла. Гестер невольно опрашивала себя, не потому ли, что у нее не хватило правдивости, мужества и верности, священник оказался в таком положении, которое предвещало для него только терзания, без каких-либо надежд на благоприятный оборот. Ее единственное оправдание заключалось в том, что она не видела иного способа спасти его от еще более страшного крушения, чем пережитое ею, как согласиться на условия, предложенные Роджером Чиллингуорсом. Именно это и заставило ее сделать выбор, который, как теперь оказалось, был роковым. И она решила по мере сил своих исправить ошибку. Закаленная годами тяжелых и суровых испытаний, она те-

перь чувствовала себя не такой бессильной перед Роджером Чиллингуорсом, как в ту ночь, когда, униженная грехом, почти потеряв рассудок от еще непривычного позора, встретилась с ним в камере тюрьмы. С тех пор она поднялась на более высокую ступень. Старик же, напротив, опустился до ее уровня, а может быть, месть, ставшая целью его жизни, низвела его еще ниже.

Словом, Гестер Прин решила повидаться со своим бывшим мужем и сделать все, что было в ее власти, чтобы спасти жертву, которую он держал в неумолимых тисках. Случай представился скоро. Однажды, гуляя с Перл в уединенной части полуострова, Гестер увидела старого врача с корзинкой в одной руке и тростью в другой, склонившегося к земле в поисках корней и трав, необходимых ему для приготовления лекарств.

Глава XIV
ГЕСТЕР И ВРАЧ

Гестер велела Перл спуститься к берегу и поиграть там ракушками и морскими водорослями, пока она не поговорит с человеком, собирающим травы. Девочка улетела, как птичка, и, разув белые ножки, зашлепала по влажному прибрежному песку. Временами она останавливалась и с любопытством вглядывалась в лужицы, оставленные отступившим прибоем для того, чтобы в них, как в зеркало, могла смотреться Перл. Из воды на нее глядела девочка с блестящими черными кудрями вокруг головки и шаловливой улыбкой в глазах. Перл, у которой не было подруг, звала ее взяться за руки и побегать. Девочка тоже манила к себе, как бы говоря: «Здесь лучше! Иди ко мне!» Но Перл, ступив по колено в воду, видела в глубине лишь свои ножки, в то время как на еще большей глубине во взбаламученной воде то тут, то там снова мелькали как бы обрывки чьей-то улыбки.

Между тем ее мать окликнула врача.

— Я хотела бы договорить с тобой, — оказала

она, — поговорить о деле, которое касается нас обоих.

— Ага! Никак миссис Гестер соизволила заговорить со старым Роджером Чиллингуорсом? — ответил он, выпрямляясь. — Очень рад! Ну, миссис, я со всех сторон слышу добрые вести о вас! Не далее как вчера вечером судья, умный я благочестивый человек, говорил о ваших делах, миссис Гестер, и намекал, что в совете стоял вопрос о вас. Там обсуждали, можно ли без ущерба для общего блага снять алую букву с вашей груди. И, честное слово, Гестер, я попросил почтенного судью, чтобы это было сделано немедленно!

— Не от милости судьи зависит снять этот знак, — спокойно возразила Гестер. — Будь я достойна освободиться от него, он отпал бы сам или обрел совсем иной смысл.

— Ну что ж, носи его, если он тебе так нравится! — ответил врач. — Женщина всегда должна выбирать для себя украшения, следуя собственной фантазии. Буква очень красиво вышита и весело блестит на твоей груди!

Все это время Гестер, не отрываясь, смотрела на старика: она была изумлена и потрясена при виде перемены, происшедшей в нем за эти семь лет. Нельзя сказать, чтобы он очень постарел,

ибо, хотя годы и оставили свой след, он еще хорошо выглядел для своего возраста и, казалось, сохранял неукротимую энергию и живость. Но прежнее выражение лица, лица мыслителя и ученого, спокойного и тихого человека, каким она хорошо помнила его, совершенно исчезло, уступив место настороженному, хищному, жестокому, хотя и тщательно запрятываемому взгляду. По-видимому, Роджер Чиллингуорс пытался смягчить это выражение улыбкой, но она выдавала его, судорожно искажая лицо глумливой гримасой, и тем еще больше обнажала всю черноту его души. Время от времени в его глазах сверкал красный огонек, будто душа старика, раскаленная, тлела в его груди, пока случайная вспышка страсти не раздувала огонь в жаркое пламя. Однако он старался тотчас же затушить его и делать вид, словно ничего не произошло.

Словом, старый Роджер Чиллингуорс был ярким свидетельством того, что человек может превратиться в дьявола, если достаточно долго будет заниматься дьявольскими делами. Несчастный старик подвергся подобному превращению из-за того, что в течение семи лет непрестанно обнажал душу, полную мук, и наслаждался, усиливая эти жестокие муки, которые он с восторгом

исследовал и наблюдал.

Алая буква жгла грудь Гестер. Перед ней стоял еще один погибший, и ответственность за его падение тоже лежала частично на ней.

— Что в моем лице заставляет тебя так сурово смотреть на меня? — опросил врач.

— То, что заставило бы меня плакать, если бы существовали слезы, достаточно горькие, — ответила она. — Но не будем говорить об этом! Я хочу поговорить с тобой об известном тебе несчастном человеке.

— О нем? — с жадностью воскликнул Роджер Чиллингуорс, как будто эта тема нравилась ему и он был рад возможности поделиться своими мыслями с единственным человеком, которому мог довериться. — Сказать по правде, миссис Гестер, как раз сейчас мои мысли были заняты этим джентльменом. Итак, говори открыто, я отвечу тебе.

— Когда мы в последний раз разговаривали с тобой, — сказала Гестер, — семь лет назад, ты взял с меня слово сохранить в тайне наши прежние отношения. Поскольку жизнь и честь этого человека находились в твоих руках, мне не оставалось иного выбора, как согласиться на твои условия и хранить молчание. Не без тяжких предчувствий

связала я себя этим обещанием. Отказавшись от обязанностей перед всеми другими людьми, я все же не могла отказаться от долга перед ним, и что-то говорило мне, что этим сговором с тобой я отступала от своего долга. С того дня ты стал для него самым близким человеком. Ты следуешь за каждым его шагом. Ты всегда рядом с ним — во сне и наяву. Ты проникаешь в его мысли. Ты копаешься в его душе и терзаешь ее! Ты сжал в своей руке его жизнь и ежедневно заставляешь его умирать страшной смертью, а он все еще не знает, кто ты! Допустив это, я, конечно, поступила низко с единственным человеком, которому мне еще дано было сохранить верность.

— А что тебе оставалось делать? — опросил Роджер Чяллингуорс. — Стоило мне указать на этого человека, и он был бы сброшен с церковной кафедры и отправлен в темницу, а оттуда, быть может, на виселицу!

— Так было бы лучше! — сказала Гестер Прин.

— Какое зло причинил я этому человеку? — снова опросил Роджер Чиллингуорс. — Говорю тебе, Гестер Прин, я окружал этого жалкого священника такой заботой, что ее не окупило бы самое щедрое вознаграждение, какое врач когда-либо получал от монарха! Не будь моей помощи, он

сгорел бы в муках за первые два года после вашего совместного преступления. Ибо его воля, Гестар, утратила силу, и он не мог бы вынести тяжесть, подобную этой алой букве, которую вынесла ты. О, я мог бы открыть недурную тайну! Но хватит! Я исчерпал на него все мое искусство. Тем, что он сейчас дышит и ползает по земле, он обязан только мне!

— Лучше бы он умер сразу! — сказала Гестер Прин.

— Да, женщина, ты говоришь правду! — воскликнул старый Роджер Чиллингуорс, и ей на миг стал виден зловещий огонь в его сердце. — Лучше бы он умер сразу! Никогда еще смертный не страдал так, как страдает он. И все, все это на глазах самого жестокого врага! Он знает обо мне. Он чувствует влияние, тяготеющее над ним, как проклятье. Он знает — каким-то особым чутьем, Ибо творец никогда еще не создавал существа более чуткого, — он знает, что рука врага перебирает струны его сердца и что в него с любопытством всматривался взор, искавший только дурное и его нашедший. Но он не знает, что это моя рука и мой взор! С суеверием, свойственным этой братии, он воображает, что предал себя дьяволу, терзающему его страшными сновидениями и

безотрадными мыслями, угрызениями совести и отсутствием надежд на прощение, причем считает все это лишь предвкушением того, что ожидает его за гробом. Однако это лишь тень, отбрасываемая мною, постоянная и тесная близость человека, которого он подлейшим образом оскорбил и который живет только этим медленным ядом жестокой мести. Да, конечно! Он не ошибся! У его локтя стоит дьявол! Простой смертный, у которого когда-то было человеческое сердце, стал дьяволом, не перестающим мучить его!

Произнося эти слова, несчастный старый врач простер ругай с выражением ужаса, на лице, как будто, заглянув в зеркало, он вместо собственного изображения увидел какой-то страшный незнакомый образ. Это было одно из тех редких мгновений, когда нравственный облик человека внезапно открывается его умственному взору. Возможно, что раньше он никогда не видел себя таким, как в эту минуту.

— Разве ты еще мало мучил его? — спросила Гестер, заметив этот взгляд старика. — Разве он не заплатил тебе сполна?

— Нет! Нет! Он только увеличил свой долг! — ответил врач; и по мере того как он говорил, злоба его сменялась угрюмой тоской. — Ты пом-

нишь, Гестер, каким я был девять лет назад? Уже тогда я переживал осень моих дней, и не раннюю осень. Но вся моя жизнь состояла из серьезных, посвященных науке, полных размышлений, спокойных лет, честно отданных расширению моих знаний и благу других людей, хотя последнее только вытекало из первого. Ничья жизнь не была столь безмятежна и невинна, как моя, и редко чья — так обильна добрыми делами. Помнишь ли ты об этом? Может быть, ты и считала меня равнодушным, но разве я не заботился о других, требуя для себя лишь малого, разве я не был человеком добрым, честным, справедливым, способным если не на теплые, то на постоянные привязанности? Разве я не был таким?

— Таким и даже лучше, — оказала Гестер.

— А кто я сейчас? — опросил он, глядя ей прямо в глаза, и вся злоба, которая кипела в его душе, отразилась в его чертах. — Я уже сказал тебе, кто я: дьявол! А кто сделал меня таким?

— Я! — содрогаясь, воскликнула Гестер. — Я виновна не меньше, чем он. Почему же ты не мстишь мне?

— Я предоставил тебя алой букве, — ответил Роджер Чиллингуорс. — Если она не отомстила за меня, я не могу сделать большего.

Улыбаясь, он коснулся буквы.

— Она отомстила за тебя! — подтвердила Гестер Прин.

— Я так и думал, — оказал врач. — А теперь, почему ты хочешь говорить со мной об этом человеке?

— Я должна открыть ему тайну, — твердо ответила Гестер. — Он должен узнать, кто ты такой. Что из этого выйдет, я не знаю. Но это старый долг доверия, мой долг человеку, несчастьем и гибелью которого я оказалась, будет, наконец, выплачен! Что же касается опорочения или сохранения его доброго имени и земной славы, а может быть, даже его жизни, он — в твоих руках. Алая буква приучила меня почитать истину, хотя эта истина иногда подобна раскаленному железу, орошающему живую душу. Я не считаю, что ему стоит длить свою жизнь среди этой ужасной пустоты, и не стану молить тебя о пощаде. Поступи с ним как хочешь. Ему нет счастья в этом мире, как нет счастья мне, нет счастья тебе и нет счастья маленькой Перл! Нет пути, который вывел бы нас из этого страшного лабиринта.

— Женщина, мне жаль тебя! — сказал Роджер Чиллингуорс, не будучи в состоянии сдержать порыв восхищения, ибо в отчаянии Гестер было

нечто величественное. — Ты наделена высокими качествами. Возможно, это зло не свершилось бы, если бы ты раньше встретила лучшую любовь, чем моя. Мне жаль тебя, жаль того хорошего, что не могло расцвести в твоей натуре!

— А мне жаль тебя, — ответила Гестер Прин, — ибо ненависть превратила мудрого и справедливого человека в дьявола! Но, может быть, ты сумеешь выбросить эту мерзость из души своей и снова стать человеком? Если не ради священника, то хотя бы ради самого себя! Прости его и предоставь дальнейшую кару высшим силам. Я только что сказала, что не будет блага в этом мире ни ему, ни тебе, ни мне, блуждающим в мрачном лабиринте зла и на каждом шагу, куда бы мы ни направились, натыкающимся на наш грех. Но это не верно! Еще возможно благо для тебя, для тебя одного, ибо ты был глубоко обижен и в твоей воле простить. Неужели ты откажешься от этого единственного преимущества? Неужели отвергнешь эту бесценную милость?

— Замолчи, Гестер, замолчи! — с мрачной суровостью проговорил старик. — Мне не дано прощать. У меня нет той воли, о которой ты говоришь. Моя прежняя вера, давно забытая, пробуждается вновь и объясняет все, что мы делаем,

и все, за что страдаем. При первом своем ложном шаге ты посеяла это зерно зла, а все остальное с тех пор было грозной неизбежностью. Вы, оскорбившие меня, грешны только потому, что поддались какому-то обману чувств; а я похож на дьявола только потому, что взялся сам исполнить его дело. Такова наша судьба. Пусть цветет, как ему положено, черный цветок зла! А теперь иди своей дорогой и поступай с тем человеком как хочешь.

Он махнул рукой и опять занялся собиранием трав.

Глава XV
ГЕСТЕР И ПЕРЛ

Роджер Чиллингуорс — кривобокий старик с лицом, надолго оставлявшим у людей жуткое воспоминание, отошел от Гестер Прин и двинулся дальше, часто нагибаясь. То тут, то там он срывал травы или выкапывал коренья и складывал их в корзинку, висевшую у него на руке. Когда он наклонялся, его седая борода почти касалась земли. Гестер еще некоторое время следила за ним, со странным любопытством ожидая, не завянет ли нежная весенняя трава под его нетвердыми шагами, не оставят ли они сухой и бурый след на ее веселой зелени. Какие травы так усердно собирает старик? — подумала она. Не породит ли земля, зараженная его злобным взглядом, ядовитые, доселе неведомые растения, поднявшиеся навстречу его протянутым пальцам? Может быть, его прикосновения достаточно, чтобы любое безвредное растение превратилось в ядовитое и пагубное? Неужели солнце, которое так ярко все освещает, бросает свои лучи и на него? Или зловещая тень сопровождает его уродливую фи-

гуру повсюду, куда бы он ни повернул? И куда он сейчас идет? Не провалится ли он внезапно сквозь землю, оставив страшное и пустое место, где потом долгое время будут расти смертоносный паслен, куруслеп, белена и прочие ядовитые растения, какие могут процветать в здешнем климате? Или он взмахнет крыльями летучей мыши и улетит, становясь тем уродливее и страшнее, чем выше он будет подниматься к небу?

— Грех это или нет, — с горечью сказала Гестер Прин, все еще глядя ему вслед, — но я ненавижу этого человека!

Она укоряла себя за это чувство, но не могла ни побороть, ни ослабить его. Пытаясь его преодолеть, она вспомнила давно минувшие дни, прожитые в далекой стране, когда он, бывало, по вечерам выходил из своего уединенного кабинета и грелся у домашнего очага и она, супруга, дарила его своей улыбкой. И он говорил, что ему необходимо отогреть в лучах этой улыбки сердце ученого, застывшее от долгих часов, проведенных среди книг. Тогда эти вечера казались ей счастьем, но теперь, когда она видела их сквозь призму своей страшной дальнейшей жизни, они стояли в одном ряду с ее самыми ужасными воспоминаниями. Она удивлялась тому, как были

возможны подобные сцены! Она удивлялась, как вообще ее уговорили выйти за него замуж. Своим главным преступлением, в котором она должна была каяться больше, чем в чем-либо другом, считала она то, что когда-то терпела вялое пожатие его руки и отвечала на него, что сливала свою улыбку с его, растворяла свой взор в его взоре. Теперь ей казалось, что Роджер Чиллингуорс совершил нечто гораздо худшее, чем причиненные ему впоследствии обиды, убедив ее, чье сердце было неопытно, что она счастлива рядом с ним.

— Да, я ненавижу его! — повторила Гестер с еще большим ожесточением. — Он обманул меня! Он поступил со мной гораздо хуже, чем я с ним!

Горе мужчине, который овладевает рукой женщины, не завоевав также и весь пыл ее сердца! Ибо его ждет печальный удел Роджера Чиллингуорса, если другое, более сильное прикосновение пробудит ее чувства; его будут упрекать даже за спокойное довольство, за мраморное подобие счастья, которое он навязал ей, уверив, что оно и есть полнокровная жизнь. Однако Гестер давно следовало забыть об этой несправедливости. О чем свидетельствовали чувства этой минуты? Неужели семь лет жизни под пыткой алой буквы, заставив так страдать, не привели ее к

раскаянию?

Чувства, вызванные этими несколькими минутами, пока она стояла, следя за искривленной фигурой старого Роджера Чиллингуорса, пролили тайный свет на состояние души Гестер, открыв много такого, в чем она иначе никогда не призналась бы самой себе.

Когда старик скрылся из виду, она позвала ребенка:

— Перл! Маленькая моя! Где ты?

Всегда жизнерадостная Перл во время разговора матери со старым собирателем трав находила себе множество развлечений. Сначала, как уже говорилось, она увлеклась игрой с собственным отражением в воде — манила его к себе, а когда оно отказалось выйти, попыталась найти путь в его область неосязаемой земли и недостижимого неба. Однако, убедившись, что либо она, либо отражение «не настоящие». Перл пустилась на поиски более интересного времяпрепровождения. Она делала лодочки из березовой коры, нагружала их раковинами улиток и пускала в плавание по неведомым водам большую флотилию, чем любой купец в Новой Англии, однако почти все ее суда шли ко дну у самого берега. Она поймала за хвост лангусту, взяла в плен

несколько морских звезд и положила медузу под лучи теплого солнца. Потом стала хватать белую пену набегавшего прибоя и, бросив ее в воздух, стремительно неслась вслед за ветром, стараясь поймать большие снежные хлопья, прежде чем они упадут на землю. Заметив стаю прибрежных птиц, порхавших вдоль берега в поисках корма, шалунья набрала полный передник камешков. Осторожно перебираясь с камня на камень вслед за этими крошечными морскими птичками, она удивительно ловко обстреливала их. Перл была почти уверена, что один из камешков попал в белогрудую серую птичку, которая все же улетела с перебитым крылом. Маленькая озорница вздохнула и бросила свою забаву: ее опечалило, что она причинила боль маленькому существу, вольному, как морской ветер и как она сама.

Напоследок она сплела себе из разных водорослей нечто вроде шарфа, или накидки, и головного убора и стала очень похожа на маленькую наяду. Она унаследовала от матери способность придумывать украшения и наряды. Для окончательной отделки своего костюма Перл взяла немного водорослей и соорудила, как могла, на своей груди украшение, которое она постоянно видела на груди матери, — букву «А», ту самую букву «А», но

светло-зеленую вместо алой! Девочка опустила голову и со странным любопытством рассматривала эту эмблему, словно единственная цель, ради которой она была послана в этот мир, заключалась в том, чтобы распознать скрытое значение этой буквы.

«Интересно, спросит ли меня мама, что это значит?» — подумала Перл.

Как раз в этот миг она услышала голос матери и, перепорхнув легко, как морская птичка, очутилась перед Гестер Прин, приплясывая, смеясь и показывая пальцем на украшение на своей груди.

— Моя маленькая Перл, — сказала Гестер после минутного молчания, — зеленая буква, да еще на твоей детской груди, не имеет никакого смысла. Но знаешь ли ты, дитя, что означает буква, которую обречена носить твоя мать?

— Да, мама, — ответила девочка. — Это заглавная буква «А». Ты показывала мне ее в букваре.

Гестер пристально всматривалась в личико дочери и хотя в ее черных глазах видела то особое выражение, которое часто замечала, она все же не была уверена, действительно ли Перл придает символу какое-то значение. Ею овладело болезненное желание выяснить этот вопрос.

— Знаешь ли ты, детка, почему твоя мать носит эту букву?

— Конечно! — ответила Перл, ясными глазами глядя в лицо матери. — По той же самой причине, почему пастор прижимает руку к сердцу!

— А что это за причина? — спросила Гестер; она сперва улыбнулась несообразности замечания ребенка, но, подумав, побледнела. — Что значит эта буква для любого сердца, кроме моего?

— Но, мама, я сказала тебе все, что знаю, — ответила Перл более серьезно, чем обычно. — Спроси того старика, с которым ты только что разговаривала. Может быть, он сумеет объяснять. А теперь, правда, мама дорогая, что означает эта алая буква?.. И почему пастор прижимает руку к сердцу?

Своими ручонками она схватила руку матери и смотрела ей в глаза с такой серьезностью, какая редко проявлялась в этой бурной, непостоянной натуре. Гестер пришло в голову, что ребенок с невинной доверчивостью, возможно, пытался понять ее и делал все что мог, чтобы встретить понимание и с ее стороны. Это казалось совсем необычным для Перл. До сих пор мать, любившая своего ребенка со всей силой единственной привязанности, приучала себя к мысли, что, видимо, ей не дождаться от Перл большего внимания,

чем от капризного апрельского ветерка, который проводит все время в забавах. Ему свойственны порывы необъяснимой страсти: он может быть вспыльчив при наилучшем настроении и чаще обдаст вас холодом, чем приласкает, если вы подставите ему грудь. А чтобы вознаградить вас за такое свое поведение, он иногда, как бы невзначай, поцелует вас в щеку с какой-то сомнительной нежностью и слегка поиграет вашими волосами, а затем улетит по своим праздным делам, оставив мечтательную радость в вашем сердце. И это было еще мнение родной матери о своем ребенке. Сторонний наблюдатель, возможно, заметил бы лишь отдельные неприятные особенности, но дал бы им гораздо более мрачное истолкование. Но теперь у Гестер возникла уверенность, что Перл с ее удивительно ранним развитием и сообразительностью, вероятно, уже приблизилась к тому возрасту, когда могла бы стать другом своей матери и узнать те из ее горестей, которые девочке можно было доверить без неуважения к матери или ребенку. В полном внутренних противоречий характере Перл все же заметны были прочные корни стойкого мужества, независимой воли, упрямой гордости, которые могли вырасти в чувство собственного

достоинства и высокомерного презрения к тому, что при внимательном рассмотрении оказалось бы носящим на себе налет лживости. Она была способна также к чувству привязанности, хотя до сих пор его проявления были резки и неприятны, как вкус самых лучших, но незрелых плодов.

«При таких прекрасных качествах, — подумала Гестер, — дурное начало, унаследованное ею от матери, должно быть поистине могуче, если из шаловливой девочки не вырастет благородная женщина».

Неуклонное стремление Перл понять значение алой буквы казалось врожденным ее свойством. С самой ранней поры своей сознательной жизни она приступила к этому, как к заранее предназначенной ей миссии. Гестер часто размышляла над тем, что провидение, наделив ребенка такой очевидной склонностью, должно было иметь своей целью правосудие и возмездие, но ей до сих пор не приходила в голову мысль, не было ли с этой целью связано также милосердие и прощение. И если поверить в то, что земное дитя является в то же время духовным посланцем, то не окажется ли миссия Перл в том, чтобы утишить горе, которое леденит сердце ее матери, превращая его в могилу, и помочь Гестер преодолеть страсть,

когда-то столь бурную и даже теперь не умершую, не уснувшую, а только замкнутую в этом, подобном могиле, сердце?

Эти мысли возникали в уме Гестер с такой живостью и отчетливостью, будто кто-то нашептывал их ей на ухо. А маленькая Перл, все это время державшая руку матери в своих ручонках и глядевшая ей в лицо, снова и снова повторяла свои пытливые вопросы:

— Что означает эта буква, мама?.. И почему ты носишь ее?.. И почему пастор прижимает руку к сердцу?

«Что ей ответить? — раздумывала Гестер. — Нет! Если это цена привязанности ребенка, я не могу уплатить ее».

— Глупышка Перл, — сказала она вслух, — к чему эти вопросы? На свете много вещей, о которых ребенок не должен спрашивать. Откуда мне знать про сердце пастора? Алую букву я ношу ради золотой вышивки.

За семь истекших лет Гестер Прин ни разу не солгала, говоря о значении символа на своей груди. Может быть, это был талисман сурового ангела-хранителя, теперь изменивший ей; и, словно проведав об этом, в ее столь строго охраняемое сердце закралось какое-то новое зло. А может

быть, там пробудилось старое, еще не окончательно изгнанное. Что же касается маленькой Перл, то серьезность вскоре исчезла с ее лица.

Но девочка не успокоилась. Несколько раз повторила она свои вопросы по пути домой, потом за ужином, потом ложась спать; и снова, когда сон уже, казалось, был крепок, она раскрыла глаза, в которых мерцал лукавый огонек.

— Мама, — сказала Перл, — что означает алая буква?

А наутро, лишь только пробудившись и подняв голову с подушки, она задала второй вопрос, который так странно сочетался с ее любопытством к алой букве.

— Мама!.. Мама!.. Почему пастор прижимает руку к сердцу?

— Замолчи, непослушная девчонка! — ответила мать так резко, как прежде никогда себе не позволяла. — Не приставай ко мне, не то запру тебя в темный чулан!

Глава XVI
ПРОГУЛКА В ЛЕСУ

Боязнь причинить боль и страх перед возможными последствиями не повлияли на решение Гестер Прин открыть мистеру Димсдейлу, кто в действительности был человек, проникший в его душевную жизнь. Но тщетно она несколько дней искала встречи с ним во время обычных для него уединенных прогулок по берегу моря или по заросшим лесом окрестным холмам. Конечно, никто не счел бы предосудительным и чистота доброго имени священника не была бы запятнана, если бы Гестер посетила мистера Димсдейла в его собственном кабинете, где многие грешники и прежде исповедовались в грехах, возможно не менее тяжких, чем тот, который был заклеймен алой буквой. Но, с одной стороны, она страшилась тайного или явного вмешательства старого Роджера Чиллингуорса, с другой — ее настороженное сердце преисполнялось подозрениями там, где их не почувствовал бы никто другой; к тому же, священнику и ей нужно было дышать полной грудью, когда они будут разговаривать

вдвоем, — одним словом, по всем этим причинам Гестер даже не думала о свидании среди меньшего простора, чем под открытым небом.

Наконец, ухаживая за больным, к которому собирались призвать преподобного мистера Димсдейла для прочтения молитвы, она узнала, что накануне он ушел навестить проповедника Элиота[86] среди его новообращенной индейской паствы. Мистер Димсдейл должен был вернуться во второй половине следующего дня. Поэтому на другой день Гестер заблаговременно взяла маленькую Перл, которая, как бы ни было стеснительно ее присутствие, повсюду сопровождала мать, и отправилась в путь.

После того как путники перешли с полуострова на материк, дорога превратилась в узкую тропинку. Она вилась все дальше, уводя в таинственную чащу первобытного леса. Между верхушками деревьев, стоявших черными, плотными стенами с обеих сторон, виднелись такие крошечные просветы неба, что Гестер этот лес казался вопло-

[86] Примечания: 86

Элиот, Джон (1604–1690) — пуританский священник, автор трактата «Христианская республика», в котором он отрицал всякую светскую власть и считал, что Христос должен наследовать престол династий Стюартов в Англии. Его книга была уничтожена в эпоху Реставрации. Элиот прославился как миссионер, пытавшийся защищать массачусетских индейцев от жестоких преследований со стороны колонистов, чем навлек на себя недовольство пуритан.

щением тех духовных дебрей, в которых она так долго блуждала. День был холодный и пасмурный. Над головой плыли светлые облака, слегка волнуемые ветром, и поэтому трепетные лучи солнца там и сям робко играли на тропинке. Это порхающее сияние всегда показывалось в конце какой-нибудь длинной просеки. Шаловливый солнечный луч, игривость которого была едва приметна среди нахмуренной мрачности дня и леса, прятался, как только приближались наши путники, и те места, где он прежде плясал, казались еще более унылыми оттого, что мать и дочь надеялись увидеть их яркими и веселыми.

— Мама, — сказала Перл, — солнечный свет не любит тебя. Он убегает и прячется, словно пугаясь чего-то на твоей груди. Смотри! Вот он играет вдали. Постой на месте, а я побегу и поймаю его. Я ведь только ребенок. Он не упорхнет от меня, потому что я еще ничего не ношу на груди!

— И надеюсь, никогда не будешь носить, дитя мое! — сказала Гестер.

— А почему, мама? — спросила Перл и остановилась, не успев разбежаться.

— Разве буква не появится сама, когда я стану взрослой?

— Беги, дитя, — сказала мать, — лови солнеч-

ный луч! Он скоро исчезнет.

Перл пустилась во всю прыть, и улыбавшаяся Гестер увидела, что девочка в самом деле поймала солнечный луч; смеясь, она стояла, залитая сверкавшим потоком света, оживленная и раскрасневшаяся от быстрого движения, Свет, словно радуясь такой подруге, задержался на ребенке до тех пор, пока мать не подошла так близко, что ей оставалось сделать еще лишь шаг, чтобы войти в этот волшебный круг.

— Он сейчас спрячется, — сказала Перл, покачивая головой.

— Смотри! — ответила Гестер, улыбаясь. — Вот я протяну руку и тоже поймаю его.

Но как только она попыталась сделать это, солнечный свет исчез; судя по светлому выражению, игравшему на лице Перл, ее мать могла бы вообразить, что ребенок поглотил этот свет и выпустит снова лишь для того, чтобы он озарил ее путь, когда они зайдут в еще более глухой мрак. Гестер особенно поражала в характере дочери эта свежая, непочатая жизненная сила, эта неизменная бодрость духа. Девочка не была заражена болезнью грусти, свойственной почти всем нынешним детям, наследующим ее вместе с золотухой от душевных неурядиц своих предков.

Быть может, эта живость тоже была болезнью — отражением той дикой энергии, с которой Гестер боролась со своими горестями перед рождением Перл. Резвость Перл очаровывала, но это было какое-то сомнительное очарование, придававшее жесткий металлический блеск характеру ребенка. Ей недоставало того, чего иным людям недостает всю жизнь, — горя, которое, глубоко затронув ее, тем самым смягчило бы и сделало способной к сочувствию. Но у маленькой Перл было еще довольно времени впереди.

— Пойдем, дитя мое, — сказала Гестер, глядя на Перл, которая все еще стояла на прежнем месте, в ярких лучах солнца. — Мы сядем немного подальше в лесу и отдохнем.

— Я не устала, мама, — ответила девочка. — А ты посиди и расскажи мне какую-нибудь историю.

— Историю, дитя мое? — спросила Гестер. — О чем?

— Расскажи мне про Черного человека, — ответила Перл, ухватившись за подол матери и полусерьезно, полушаловливо заглядывая ей в лицо. — Как он бродит по этому лесу и носит с собой книгу — большую, тяжелую книгу с железными застежками. И как этот страшный Черный

человек протягивает свою книгу и железное перо всякому, кто встречается ему на пути, и заставляет его кровью расписаться в этой книге. А потом ставит клеймо ему на грудь. Ты когда-нибудь встречала Черного человека, мама?

— А от кого ты слышала эту историю, Перл? — спросила мать, узнавая в словах дочери суеверие, распространенное в то время.

— От старухи, которая сидела у камина в том доме, где ты ухаживала за больным прошлой ночью, — ответила девочка. — Она думала, что я сплю, когда рассказывала об этом. Она сказала, что тысячи людей встречали его здесь, расписывались в его книге и вот теперь носят клеймо на груди. Гадкая старая миссис Хиббинс тоже встретила его. И еще старуха сказала, что твоя алая буква, мама, — тоже клеймо Черного человека и что она загорается ярким пламенем, когда ты в полночь ходишь к нему сюда в темный лес. Это правда, мама? Ты ходишь к нему по ночам?

— А разве тебе когда-нибудь случалось проснуться и увидеть, что твоя мать ушла?

— Нет, этого я не помню, — ответила девочка. — Но если ты боишься оставить меня дома одну, можешь взять меня с собой. Я бы пошла с удовольствием! А теперь, мама, скажи мне, есть

ли на самом деле такой Черный человек? Ты видела его когда-нибудь? Это его клеймо?

— Оставишь ли ты меня в покое раз и навсегда, если я скажу тебе? — спросила мать.

— Да, если ты скажешь мне все, — ответила Перл.

— Раз в моей жизни я действительно встретила Черного человека! — сказала мать. — Алая буква — его клеймо!

Разговаривая, они зашли в самую глубь леса, где их не мог увидеть случайный прохожий. Здесь они сели на бугре из пышного мха, где столетием раньше высилась гигантская сосна, корни и ствол которой были погружены в мрачную тень, а верхушка поднималась высоко к небу. Место, где они находились, представляло собой лощинку с отлогими склонами, усеянными увядшей листвой; посередине лощины по ложу из опавших и утонувших листьев бежал ручеек. Нависшие над ним деревья местами так низко опускали свои огромные ветви, что преграждали течение и заставляли ручей образовывать водовороты и темные омуты, а там, где вода бежала более стремительно, виднелось русло из гальки и темного искрящегося песка. Следя за течением ручья, мать и дочь еще видели на небольшом

расстоянии отблески света на его поверхности, но дальше он терялся среди переплетавшихся древесных стволов и кустарника, а еще дальше был заслонен огромными валунами, покрытыми серым лишайником. Все эти гигантские деревья и гранитные глыбы, казалось, хотели скрыть от постороннего взора путь маленького ручейка. Вероятно, они боялись, что своим неумолчным журчанием он выболтает многое из того, что старый лес хранил в своем сердце, откуда вытекал этот родник, или отразит на гладкой поверхности заводей его сокровенные тайны. И в самом деле, шумливый ручеек, пробираясь вперед, не умолкая, журчал ласково, тихо, успокаивающе, но вместе с тем меланхолично; его песенка напоминала лепет ребенка, который влачит безрадостное детство и не умеет быть веселым в кругу омраченных печалью людей и событий.

— Ах, ручеек! Глупый и скучный ручеек! — воскликнула Перл, послушав немного его болтовню. — Почему ты так печален? Развеселись и перестань все время вздыхать и бормотать!

Но ручеек за свою короткую жизнь среди лесных деревьев увидел столько суровых картин, что не мог не рассказывать о них, а может быть, он больше ничего и не знал. Перл была схожа с

этим ручейком; поток ее жизни имел такие же таинственные истоки и струился среди мест, осененных таким же мраком. Но, в отличие от ручейка, Перл беззаботно резвилась и сверкала, оживляя свой путь веселой трескотней.

— О чем говорит этот печальный ручеек, мама? — опросила она.

— Будь у тебя свое горе, ручеек поговорил бы с тобой о нем, — ответила мать, — так же, как он говорит со мной о моем горе! А теперь, Перл, я слышу, как кто-то идет по тропинке и раздвигает ветви. Мне хотелось бы, чтобы ты поиграла одна, пока я поговорю с тем, кто идет сюда.

— Это Черный человек? — спросила Перл.

— Иди играй, дитя! — повторила мать. — Но не заходи далеко в лес. Возвращайся, как только я позову тебя.

— Хорошо, мама, — ответила Перл. — Но если это Черный человек, позволь мне остаться на минутку и посмотреть на него и на огромную книгу, которую он носит под мышкой.

— Иди, глупая девчонка! — нетерпеливо перебила ее мать. — Это — не Черный человек! Ты же видишь его сейчас сквозь деревья. Это — пастор!

— Да, это он! — сказала девочка. — Смотри, мама, он прижимает руку к сердцу! Может быть,

пастор вписал свое имя в книгу, и Черный человек поставил клеймо в этом месте? Но почему он не носит это клеймо сверху, как ты, мама?

— Ступай сейчас же, дитя! — воскликнула Гестер Прин. — Успеешь помучить меня в другой раз. Но не заходи далеко. Держись возле ручья, где слышно его журчание.

Девочка, напевая, убежала вниз по течению ручья, стараясь присоединить к его унылому голосу более веселые нотки. Но ручеек трудно было утешить, он по-прежнему невнятно рассказывал какую-то таинственную, очень мрачную историю, а может быть, жалобно предвещал то, что еще должно было случиться в угрюмом лесу. Поэтому Перл, чья недолгая жизнь была уже достаточно омрачена, предпочла порвать знакомство с унылым ручейком. Она принялась собирать фиалки и анемоны, а потом присоединила к ним пурпурные цветы водосбора, которые нашла в расщелинах высокой скалы.

Когда ее похожая на эльфа девочка скрылась из виду, Гестер Прин подошла немного ближе к лесной тропинке, все же оставаясь в глубокой тени деревьев. Она увидела, что священник идет по тропинке совершенно один, опираясь на палку, которую он срезал по дороге. О; выглядел измож-

денным и слабым; его внешний вид выражал такой полный упадок духа, какого никогда нельзя было заметить в этом человеке на улицах поселка и вообще в тех случаях, когда он знал, что его могут увидеть. Здесь, в полном уединении леса, которое само по себе было тяжким испытанием духа, это уныние печально бросалось в глаза. В его походке чувствовалось полнейшее равнодушие, как будто он не видел, зачем ему делать еще хоть шаг вперед, и был бы рад, — если еще мог чему-то радоваться, — броситься к подножью ближайшего дерева, лечь там и застыть навсегда. Его засыпали бы листья, а земля, постепенно скопляясь, образовала бы кочку над его телом, не считаясь с тем, теплится в нем еще жизнь или нет. Смерть была чем-то слишком определенным, чтобы желать ее или избегать.

Как показалось Гестер, преподобный мистер Димсдейл не проявлял признаков какого-либо острого страдания, кроме того, что он, как заметила еще маленькая Перл, прижимал руку к сердцу.

Глава XVII
ПАСТОР И ПРИХОЖАНКА

Как ни медленно шел священник, но он уже почти прошел мимо Гестер Прин, прежде чем она нашла в себе достаточно силы, чтобы к нему обратиться. Наконец это ей удалось.

— Артур Димсдейл! — произнесла она сначала едва слышно, потом громче, но все еще хриплым голосом. — Артур Димсдейл!

— Кто зовет меня? — откликнулся священник. Быстро овладев собой, он выпрямился, как человек, захваченный врасплох в ту минуту, когда ему меньше всего хочется кого-нибудь видеть. Бросив тревожный взгляд в ту сторону, откуда раздавался голос, он разглядел под деревьями неясную фигуру, одетую в такую темную одежду и так мало выделявшуюся среди серых сумерек, в которые облачное небо и густая листва превратили полдень, что не мог понять, женщина это или тень. Не призрак ли, порожденный его мыслями, явился на его пути?

Он шагнул вперед и увидел алую букву.

— Гестер! Гестер Прин! — воскликнул он. — Это

ты? Ты еще жива?

— Да, жива, — ответила она. — Если можно назвать мое существование за эти семь лет жизнью! А ты, Артур Димсдейл, ты еще жив?

Не было ничего удивительного в том, что они спрашивали о земном существовании друг друга и даже сомневались в своем собственном. Их встреча в темном лесу была так необычна, что походила на первую встречу в потустороннем мире двух духов, тесно связанных в своей земной жизни, а ныне с холодным ужасом взирающих один на другого, ибо они еще не привыкли к своему теперешнему состоянию и к обществу бесплотных существ. Каждый из них, хотя сам стал привидением, поражался облику собеседника! Они ужасались и самим себе, ибо потрясшая их встреча напомнила каждому из них его историю и прежний опыт, как бывает в жизни только в такие напряженные минуты. Душа узрела свои черты в зеркале преходящего мгновения. Со страхом и трепетом, как бы подчиняясь настоятельной необходимости, Артур Димсдейл медленно протянул свою руку, холодную как у мертвеца, и коснулся ледяной руки Гестер Прин. Все же, как ни холодно было это пожатие, оно помогло им преодолеть самое тягостное в их свидании.

Теперь они почувствовали себя по крайней мере обитателями одного и того же мира.

Не произнеся больше ни слова, они в молчаливом согласии одновременно шагнули в тень, откуда появилась Гестер, и сели на мшистый бугор, где она прежде сидела с Перл. Когда, наконец, они обрели голос, то завели разговор, как простые знакомые, о мрачном небе, о грозящей буре и затем справились друг у друга о здоровье. Так, несмело, шаг за шагом, они приближались к теме, больше всего волновавшей их сердца. Разлученные на столько лет судьбой и обстоятельствами, они нуждались в том, чтобы случайные, ничего не значащие фразы бежали вперед и распахивали двери беседы, помогая их сокровенным мыслям переступить через порог.

Спустя некоторое время священник посмотрел в глаза Гестер Прин.

— Гестер, — спросил он, — обрела ли ты покой? Она печально улыбнулась, опустив глаза на грудь.

— А ты? — спросила она.

— Нет! Ничего, кроме отчаяния, — ответил он. — Но на что еще я мог надеяться, будучи тем, чем я стал, и ведя такую жизнь, как моя? Будь я безбожником, человеком, лишенным совести,

негодяем с низменными животными инстинктами, возможно, я уже давно обрел бы покой. Более того, я бы и не терял его! Но моя душа такова, что все добрые свойства, какие были заложены во мне, все лучшие дары господни сделались орудиями духовных мук. Гестер, я бесконечно несчастен!

— Люди уважают тебя, — сказала Гестер. — И ты, конечно, делаешь им много добра! Разве это не приносит тебе утешения?

— Нет, только увеличивает мое несчастье, Гестер, да, увеличивает! — ответил священник с горькой улыбкой. — Что касается добра, которое я как будто творю, я не верю в него. Это самообман. Способна ли моя гибнущая душа спасти чужие души? Способна ли запятнанная душа очистить чужие? А уважение людей… Лучше бы оно превратилось в презрение и ненависть! Неужели, Гестер, ты видишь мое утешение в том, что я должен стоять на своей кафедре и встречать сотни взоров, устремленных мне в лицо с таким восторгом, будто от него исходит небесный свет, должен видеть, как моя паства жаждет истины и прислушивается к моим словам, как к глаголу божию, — а затем заглядывать в свою душу и видеть, как черно то, перед чем они благоговеют!

Преисполненный горя и муки, я смеялся над разницей между тем, кем я кажусь и кто я на самом деле! И сатана тоже смеется!

— Ты несправедлив к себе, — мягко сказала Гестер. — Ты каялся тяжко и глубоко. Твой грех остался позади в давно минувших днях. Теперь твоя жизнь действительно не менее свята, чем это кажется людям. Разве это не истинное раскаяние, скрепленное и засвидетельствованное добрыми делами? И почему же оно не могло бы принести тебе покой?

— Нет, Гестер, нет! — ответил священник. — Мое раскаяние не настоящее. Оно холодно и мертво и ничем не может помочь мне! Покаяния у меня было довольно, но раскаяния не было! Иначе я должен был бы давно уже сбросить личину ложной святости и предстать перед людьми таким, каким меня увидят когда-нибудь в день Суда. Ты, Гестер, счастливая: ты открыто носишь алую букву на груди своей! Моя же пылает тайно! Ты не знаешь, как отрадно после семилетних мук лжи взглянуть в глаза, которые видят меня таким, каков я в действительности! Будь у меня хоть один друг или даже самый заклятый враг, к которому я, устав от похвал всех прочих людей, мог бы ежедневно приходить, и который знал бы

меня как самого низкого из всех грешников, мне кажется, тогда душа моя могла бы жить. Даже такая малая доля правды спасла бы меня! Но кругом ложь! Пустота! Смерть!

Гестер Прин взглянула ему в лицо, но говорить не решалась. Однако такое страстное излияние долго сдерживаемых чувств дало ей возможность высказать то, ради чего она пришла. Она преодолела свой страх и начала:

— Такого друга, о котором ты только что мечтал, друга, с которым ты мог бы оплакивать свой грех, ты имеешь во мне, твоей соучастнице! — Она снова поколебалась, но, сделав над собой усилие, продолжала: — У тебя давно есть также враг, и ты живешь с ним под одной крышей!

— Что? Что ты сказала? — воскликнул он. — Враг? И под моей крышей? Что это значит?

Гестер Прин теперь ясно сознавала, какой глубокий ущерб она причинила этому несчастному человеку, допустив, чтобы в течение стольких лет он лгал, а также — чтобы он хоть одно мгновение находился во власти того, чьи намерения могли быть только враждебными. Одного соприкосновения с врагом, под какой бы маской он ни скрывался, было достаточно, чтобы расстроить магнитную сферу существа столь впечатлитель-

ного, как Артур Димсдейл. Было время, когда эта мысль не так волновала Гестер, или, может быть, ожесточенная собственным горем, она предоставила священника его судьбе, которая казалась ей не такой уж тяжелой. Но с недавних пор, после той ночи бодрствования, ее чувства к нему стали мягче и сильнее. Теперь она более правильно читала в его сердце. Она не сомневалась, что постоянное присутствие Роджера Чиллингуорса, тайный яд его злобы, отравивший даже воздух вокруг, его властное вмешательство, в качестве врача, в область физических и духовных страданий священника, — все эти неблагоприятные для мистера Димсдейла обстоятельства были использованы с жестокой целью. Злоупотребляя своим положением, Роджер Чиллингуорс непрестанно будоражил совесть страдальца, стремясь не излечить с помощью благотворной боли, а подорвать и искалечить вконец его духовное бытие. Результатом этого, несомненно, явилось бы умопомешательство в земной жизни, а после — то вечное отчуждение от бога и истины, земным признаком которого является, пожалуй, безумие.

Такой была бездна, в которую она, Гестер, ввергла человека, когда-то, — нет, зачем таить? — еще и теперь страстно любимого ею! Гестер чувство-

вала, что священнику несравненно легче было бы расстаться со своим добрым именем или даже умереть, — как она и говорила Роджеру Чиллингуорсу, — чем переносить тот удел, который она выбрала для него. И теперь она предпочла бы упасть на сухую листву и умереть у ног Артура Димсдейла, чем признаться ему в своей роковой ошибке.

— О Артур, — воскликнула она, — прости меня! Я всегда старалась быть честной! Правда была единственной добродетелью, за которую я крепко держалась и продолжала держаться до последней возможности, до той минуты, когда твоему благополучию, твоей жизни и твоей доброй славе стала грозить опасность! Тогда я согласилась на обман. Но ложь никогда не приводит к добру, даже если это — ложь во спасение! Неужели ты не догадываешься, что я хочу сказать? Этот старик… врач… тот, кого зовут Роджером Чиллингуорсом, он… мой муж!

Мгновение священник смотрел на нее взглядом, исполненным ярости, которая, мешаясь с его более высокими, более чистыми, более человечными качествами, была именно той частью его натуры, к которой взывал дьявол, когда пытался завладеть всей его душой. Никогда Гестер

не встречала более мрачного и гневного взгляда, чем тот, который он теперь устремил на нее. Этот взгляд длился лишь миг, но как преобразил он священника! Однако страдания настолько ослабили волю мистера Димсдейла, что даже в низменных побуждениях он был способен лишь на короткую вспышку. Опустившись на землю, он закрыл руками лицо.

— Я должен был знать это, — прошептал он. — Да, я знал! Разве естественное отвращение к нему не открыло мне эту тайну при первом взгляде на него? Разве я не испытывал того же при каждой встрече с ним? Как же я не понял? О Гестер Прин, ты не можешь представить себе весь ужас этого! Как стыдно, как больно, как страшно подумать, что я обнажал свою немощную и преступную душу пред взором того, кто тайно глумился над ней! Женщина, женщина, велика твоя вина! Я не могу простить тебя!

— Ты должен простить меня! — закричала Гестер, бросаясь на опавшие листья рядом с ним. — Пусть бог карает! А ты должен простить!

В порыве отчаяния и нежности она обхватила его голову и прижала к своей груди, не думая о том, что щека его прижалась к алой букве. Он силился освободиться из ее объятий, но не мог. Ге-

стер не отпускала его, чтобы не встретить вновь его сурового взгляда. Семь долгих лет весь мир с гневом смотрел в лицо этой одинокой женщине, и она вынесла это, ни разу не опустив свой твердый, печальный взор. Небо тоже хмурилось при взгляде на нее, однако она не умерла. Но гневный взгляд этого бледного, немощного, сраженного горем грешника Гестер не могла вынести и остаться в живых!

— Простишь ли ты меня? — повторяла она. — Не смотри так сурово! Простишь ли ты меня?

— Я прощаю тебя, Гестер, — наконец ответил священник глухим голосом, исходившим из бездны скорби, но не гнева. — Я с радостью прощаю тебя. Да простит господь нас обоих! Мы с тобой, Гестер, не самые большие грешники на земле. Есть человек еще хуже, чем согрешивший священник! Месть этого старика чернее, чем мой грех. Он хладнокровно посягнул на святыню человеческого сердца. Ни ты, ни я, Гестер, никогда не совершали подобного греха!

— Никогда! Никогда! — прошептала она. — То, что мы совершили, было по-своему священно. Мы это чувствовали! Мы говорили об этом друг другу! Разве ты забыл?

— Тсс, Гестер! — сказал Артур Димсдейл, подни-

маясь с земли. — Нет, я ничего не забыл!

Держась за руки, они снова сели рядом на замшелом стволе упавшего дерева. Это был самый мрачный час в их жизни; они достигли того места, к которому так давно устремлялись их пути, становившиеся все темнее и темнее. Но этот час таил в себе очарование и заставлял их желать его продления еще хоть на миг, потом еще на миг, и еще и еще. Стеною стоял вокруг них темный лес; деревья скрипели от порывов ветра, сотрясавших их. Ветви тяжело качались над головами, а одно величавое старое дерево издавало скорбные стоны, словно рассказывая другому грустную историю той пары, что сидела под ними, или предвещая ей недоброе.



А они все медлили. Какой тоскливой казалась им лесная тропинка, которая вела обратно в город, где Гестер Прин должна была снова нести бремя своего позора, а священник бессмысленную издевку и гнет своего доброго имени!

Поэтому они не спешили. Никогда еще золотой солнечный свет не был так драгоценен, как мрак этого темного леса. Здесь, доступная только взору священника, алая буква не жгла огнем грудь павшей женщины! Здесь, доступный только ее взору, Артур Димсдейл, лицемер перед богом и людьми, мог быть на мгновение искренним!

Внезапно он содрогнулся при мысли, которая пришла ему в голову.

— Гестер, — воскликнул он, — какой ужас! Роджер Чиллингуорс знает о твоем намерении открыть мне, кто он. Будет ли он и теперь хранить нашу тайну? Какую новую месть готовит он?

— Ему свойственна какая-то странная скрытность, — задумчиво ответила Гестер, — она появилась у него с тех пор, как тайная месть стала для него повседневной привычкой. Мне кажется, что едва ли он выдаст тебя. Но, конечно, он станет искать иного способа утолить свою темную страсть.

— А я?.. Как же мне жить и дышать одним воздухом с этим смертельным врагом? — воскликнул Артур Димсдейл, содрогаясь и прижимая руку к сердцу — этот жест стал у него невольным. — Подумай за меня, Гестер! Ты сильна! Реши за меня!

— Ты не должен дольше жить вместе с этим

человеком, — медленно, но твердо сказала Гестер. — Твое сердце не должно более быть открыто его дурному глазу!

— Это было бы страшнее смерти! — подтвердил священник. — Но как избежать этого? Что я могу сделать? Я в силах лишь упасть на эти иссохшие листья, как тогда, когда ты рассказала мне, кто он, и умереть!

— Увы, каким слабым ты стал! — сказала Гестер, и слезы хлынули из ее глаз. — Неужели ты можешь умереть от одного малодушия? Другой причины нет!

— На мне гнев божий, — ответил священник, пристыженный. — Он слишком могуществен, чтобы я мог бороться с ним!

— Небо оказало бы тебе милосердие, — ответила Гестер, — если бы у тебя была сила им воспользоваться!

— Будь ты сильной за меня! — сказал он. — Научи, что мне делать.

— Разве свет так тесен? — воскликнула Гестер Прин, вперив глубокий взор в священника и бессознательно оказывая магнетическое воздействие на его подорванную и угнетенную волю. — Разве вселенная кончается пределами этого города, который еще недавно был лишь

усыпанной листьями пустыней, как та, что нас окружает? Куда ведет эта лесная тропинка? Назад, в город, скажешь ты! Да, но также и вперед! Глубже и глубже уходит она в чащу, с каждым шагом становится все менее видимой, а через несколько миль отсюда на желтых листьях ты не найдешь и следа ног белого человека. Там ты будешь свободен! Такое короткое путешествие увело бы тебя из мира, где ты так несчастен, в мир, где ты еще можешь обрести счастье! Неужели во всем этом огромном лесу нет достаточно тени, чтобы укрыть твое сердце от взора Роджера Чиллингуорса?

— Тень есть, Гестер, но только под опавшими листьями! — ответил священник с грустной улыбкой.

— Тогда есть еще широкий морской путь! — продолжала Гестер. — Он привел тебя сюда. Если ты решишься, он же уведет тебя обратно. Там, на нашей далекой родине, в какой-нибудь деревушке или в огромном Лондоне, и уж, конечно, в Германии, во Франции, в благословенной Италии, ты был бы вне власти твоего врага, укрыт от него! И что тебе за дело до всех этих жестоких людей и до их мнений? Они и так столько времени держат в плену то, что есть лучшего в тебе!

— Нет, этому не бывать! — ответил священник, слушая так, будто его призывали осуществить мечту. — У меня нет сил уйти! Несчастный грешник, я думаю лишь о том, как мне влачить земное существование в месте, определенном мне провидением. Погубив свою душу, я все же пытаюсь делать, что в моих силах, для опасения других душ! Неверный часовой, я все же не решаюсь покинуть свой пост, хотя знаю, что в час окончания моей печальной стражи меня ждут лишь смерть и бесчестье!

— За эти семь лет ты изнемог под бременем горя, — возразила Гестер, твердо решившая поддержать его своей собственной энергией. — Но ты оставишь его позади! Оно не будет затруднять твои шаги, если ты пойдешь по лесной тропинке, и не взойдет с тобой на корабль, если ты решишь переплыть море. Оставь обломки своего крушения там, где оно произошло. Не думай больше о нем! Начни все заново! Неужели ты истощил свои силы в первом же испытании? Нет! В будущем тебя ждут новые испытания, но также и успех. Будет еще счастье, которым ты насладишься! Будут еще добрые дела, которые ты совершишь! Смени свою лживую жизнь на жизнь честную. Будь, если тебя влечет к этому сердце, учителем

и проповедником среди краснокожих. Или — что более подходит к твоей натуре — стань ученым и мудрецом среди самых глубоких и известных умов образованного мира. Проповедуй! Пиши! Действуй! Делай что угодно, только не помышляй о смерти! Забудь имя Артура Димсдейла, создай себе другое, прославь его и носи без страха и стыда. Зачем тебе еще хоть один день жить в муках, которые так подтачивают твою жизнь, которые лишили тебя воли и бодрости, которые не оставят тебе даже силы на раскаяние? Встань и иди!

— О, Гестер! — воскликнул Артур Димсдейл, и в его глазах на мгновение сверкнул яркий огонек, зажженный ее энтузиазмом. — Ты предлагаешь бежать человеку, у которого подгибаются колени! Мне суждено умереть здесь! У меня не осталось ни силы, ни смелости, чтобы одному пуститься в широкий, чуждый, трудный мир!

Это было последнее выражение отчаяния сокрушенного духа. У него и вправду не было сил перешагнуть в то светлое будущее, которое, казалось, было так близко.

— Одному, Гестер! — повторил он.

— Ты уйдешь не один! — глухо прошептала она.

Этим было сказано все!

Глава XVIII
ПОТОК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Артур Димсдейл смотрел на Гестер с явной надеждой и радостью, но во взгляде его чувствовался также страх перед смелостью этой женщины, высказавшей то, на что он сам лишь смутно намекал, но чего не осмеливался сказать.

Но Гестер Прин, наделенная от природы мужеством и энергией и в течение столь продолжительного времени не просто отчужденная от общества, а изгнанная из него, усвоила себе такую свободу мысли, какая была вообще чужда священнику. Долго блуждала она, без всякого руководства, в дебрях вопросов нравственности, дебрях столь же беспредельных, непроходимых и мрачных, как тот дремучий лес, в чаще которого они теперь вели разговор, решавший их судьбу. Ее уму и сердцу было привольно в пустынных местах, где она чувствовала себя так, как дикий индеец в родных лесах. Все семь прошедших лет она смотрела с этой обособленной точки зрения на людские учреждения, на порядки, которые устанавливали церковники и законодатели,

питая ко всему этому едва ли больше почтения, чем то, которое питает индеец к воротнику священника, судейской мантии, позорному столбу, виселице, домашнему очагу или церкви. Весь ход ее судьбы сделал ее свободной. Алая буква была для нее пропуском в области, запретные для других женщин. Стыд, отчаяние, одиночество! Таковы были ее суровые и ожесточенные учители. Они сделали ее сильной, но вместе с тем научили и дурному.

Пастору же не пришлось пройти через такой жизненный опыт, который вывел бы его за черту общепринятых законов, хотя однажды он грубо нарушил один из самых священных. Но то было увлечение страсти, а не сознательный или преднамеренный грех. С тех пор он с болезненным рвением и мелочностью следил не только за своими поступками — ими управлять было легко, — но за каждым движением чувства и мысли. Как все священники того времени, он стоял на одной из верхних ступеней общественной лестницы и поэтому был особенно сильно окован законами общества, его принципами и даже его предрассудками. Духовный сан неизбежно налагал на него свои узы. Как человек, раз согрешивший, но не утративший чувства

совести, болезненно чувствительный из-за своей незажившей раны, он, казалось, мог меньше опасаться нового греха, чем если бы вообще никогда не грешил.

Итак, мы как будто видим, что для Гестер Прин семь лет изгнания и позора были лишь подготовкой к этому часу. А для Артура Димсдейла!.. Если подобному человеку суждено было пасть еще раз, что могло оправдать его преступление? Ничто! Впрочем, быть может, ему все же можно было бы зачесть то, что долгое и сильное страдание надломило его; что его разум был омрачен и сбит с пути самим терзавшим его раскаянием; что совести трудно сделать выбор между бегством, равносильным признанию, и жизнью, полной лицемерия; что человеку свойственно укрываться от смерти, бесчестья и тайных козней врага; и что, наконец, на мрачном и пустынном пути этого бедного странника, изможденного, больного и несчастного, появился проблеск человеческой привязанности и участия, надежда на новую, правдивую жизнь взамен тяжкой судьбы, ниспосланной ему во искупление. Но здесь следует напомнить суровую и печальную истину: брешь, пробитая виною в человеческой душе, не может быть заделана в земной жизни. Можно следить

за ней и охранять ее, не допуская неприятеля снова внутрь крепости, чтобы ему в последующих атаках пришлось искать иных путей и отказаться от того, где прежде его ждал успех. И все же разрушенная стена существует, а за ней чуть слышен крадущийся шаг врата, который жаждет повторения не забытого им торжества.

Нам незачем описывать борьбу, если таковая и происходила в душе пастора. Удовлетворимся тем, что священник решился бежать, и не один.

«Будь у меня за все эти семь лет хоть одно мгновение покоя или надежды, — подумал он, — я продолжал бы терпеть ради того, чтобы заслужить прощение господа. Но если я безвозвратно обречен, почему бы мне не принять утешение, посланное осужденному преступнику перед казнью? Если же это действительно путь к лучшей жизни, как убеждает меня Гестер, я, конечно, ничего не потеряю, последовав ее совету! И я не могу больше жить без дружбы этой женщины: ее поддержка так сильна, а утешение так нежно! О ты, к кому я не осмеливаюсь поднять взор, даруешь ли ты мне прощение?»

— Ты должен уйти! — спокойно сказала Гестер, встретив его взгляд.

Как только решение было принято, внезапная

радость озарила мерцающим светом мрак его души. Живительно было ее влияние на пленника, освободившегося из темницы своего собственного сердца и вдохнувшего вольный, свежий воздух неискупленных, некрещенных, беззаконных просторов. Дух его воспрянул и вознесся ближе к небу, чем за все эти годы несчастья, пригибавшего его к земле. Но глубокая религиозность его характера не могла не вносить оттенка благочестия и в новое настроение.

— Неужели я вновь чувствую радость? — воскликнул он, дивясь самому себе. — Я думал, что даже зародыш ее погиб во мне! О Гестер, ты мой добрый гений! Больной, осквернённый грехом, изъеденный горем, я упал на эти листья лесные, а встал обновленный; я обрел новые силы прославлять того, кто был так милосерд ко мне! Это уже счастье! Почему мы не познали его раньше?

— Не будем оглядываться на прошлое, — ответила Гестер Прин. — Оно ушло безвозвратно. Зачем же нам размышлять о нем теперь? Смотри! Вместе с этим символом я отбрасываю прошлое, словно его никогда и не было!

С этими словами она расстегнула застежку, которая прикрепляла алую букву, и, сорвав знак с груди, бросила далеко в кучу засохших листьев.

Символический знак упал на самом берегу ручья. Упади он чуть дальше, он очутился бы в воде, и ручеек понес бы вдаль еще одну печальную историю вдобавок к тем, о которых он продолжал невнятно рассказывать. Но вышитая буква, сверкавшая как потерянная драгоценность, лежала на берегу; ее мог поднять какой-нибудь злополучный путник, которого с тех пор стали бы преследовать непонятные призраки вины, замирания сердца и необъяснимая тоска.

Сорвав с себя клеймо, Гестер глубоко вздохнула, и вместе с этим вздохом бремя стыда и муки спало с ее души. О, какое блаженство! Она не знала всей силы гнета, пока не ощутила свободы! В новом порыве она сбросила чепец, прикрывавший волосы, и они рассыпались по ее плечам; темные и необыкновенно густые, с переливами света и тени, они придавали мягкое очарование чертам ее лица. Нежная и светлая улыбка заиграла на ее губах, засияла в глазах; казалось, она исходит из самого сердца ее женственности. Яркий румянец разлился по щекам, которые так долго были бледны. Чувства женщины, молодость, пышная красота вернулись к ней из безвозвратного — как сказали бы люди — прошлого и сплелись с зародившейся надеждой и дотоле неизведанным

счастьем в магическом кругу этого часа. И, словно мрачность земли и неба исходила только из этих двух смертных сердец, она исчезла вместе с их горем. Сразу, как от внезапной улыбки неба, прорвались солнечные лучи, изливаясь целым потоком на темный лес, веселя каждый зеленый листок, превращая желтые опавшие листья в золотые, блистая на серых стволах величественных деревьев. Все, что до сих пор лишь усиливало тьму, теперь источало свет. Теперь по веселому блеску можно было проследить весь путь ручейка, уходивший вдаль, в самую глубь лесной тайны, которая стала тайной радости.

Так сочувствовала природа — дикая, языческая природа леса, еще не подвластная человеческим законам и не озаренная высшей истиной, — блаженству этих двух сердец! Любовь, впервые зародившаяся или пробужденная от смертельного сна, всегда так пронизывает сердце солнечным сиянием, что оно невольно выплескивает часть его на окружающий мир. Даже если бы лес по-прежнему был мрачным, глазам Гестер и Артура Димсдейла он казался бы наполненным светом!

Гестер взглянула на него с новым радостным волнением.

— Ты должен познакомиться с Перл! — сказала

она. — С нашей маленькой Перл! Ты видел ее, я знаю, но теперь ты будешь смотреть на нее совсем другими глазами. Она странный ребенок! Я сама не совсем понимаю ее. Но ты полюбишь ее так же горячо, как я, и посоветуешь мне, как ее воспитывать.

— Ты думаешь, девочка захочет познакомиться со мной? — не без тревоги спросил священник. — Я давно избегаю детей, потому что они не доверяют мне и не хотят сближаться со мной. Я даже боюсь маленькой Перл!

— Как это грустно! — ответила мать. — Но она горячо полюбит тебя, а ты — ее. Она где-то поблизости. Я позову ее. Перл! Перл!

— Я вижу ее, — заметил священник. — Вон она стоит, в полосе солнечного света, далеко отсюда, на том берегу ручья. Так ты думаешь, что она полюбит меня?

Гестер улыбнулась и снова окликнула Перл, которая, как сказал священник, была видна вдалеке, озаренная солнечным лучом, падавшим на нее сквозь свод ветвей. Луч дрожал, и фигурка Перл то становилась расплывчатой, то снова четкой. Когда свет делался ярче, она казалась настоящим ребенком, а когда он тускнел — лишь призраком девочки. Она медленно шла по лесу

на зов матери.

Час, пока ее мать разговаривала со священником, пришел, по мнению Перл, не скучно. Огромный темный лес, суровый к тем, кто нес в его чащу свои грехи и обиды, постарался стать, насколько мог, товарищем игр одинокого ребенка. Всегда угрюмый, ее он встретил необыкновенно приветливо. Он предложил ей красные ягоды зимолюбки, которые появились осенью, но созрели только весной и теперь напоминали капли крови на опавших листьях. Перл попробовала их; ей понравился их кислый вкус. Маленькие обитатели леса не торопились уходить с ее пути. Куропатка со своими десятью птенцами сначала угрожающе подступила к Перл, но вскоре раскаялась в своей свирепости и прокудахтала малышам, чтобы они не боялись. Голубь, сидевший на нижней ветке, позволил Перл подойти совсем близко и издал звук, выражавший не то приветствие, но то тревогу. Белка из таинственных глубин своего родного дерева болтала что-то сердитое, а может быть, и веселое, ибо настроение этого раздражительного и в то же время забавного маленького существа понять довольно трудно. Не переставая верещать, она сбросила на голову Перл орех; это был прошлогодний орех, уже разгрызенный ее

острыми зубами. Лисица, пробужденная от сна шелестом шагов по сухим листьям, вопросительно взглянула на Перл, как будто раздумывая, скрыться или снова заснуть на том же месте. Говорят, волк… но тут наша история, безусловно, становится неправдоподобной, — подошел к Перл, обнюхал ее платье и наклонил свою страшную голову, чтобы его погладили. Истина же заключается в том, что старый лес и дикие существа, вскормленные им, признали родственно дикую душу в человеческом детеныше.

И девочка здесь вела себя гораздо лучше, чем на окаймленных травой улицах поселка или в домике матери. Цветы, по-видимому, знали это; когда она проходила мимо, то один, то другой из них шептал: «Укрась себя мною, прелестное дитя, укрась себя мною!» И чтобы порадовать их, Перл собирала фиалки, анемоны, водосбор и ярко-зеленые веточки, которые протягивали ей старые деревья. Украсив этими цветами и зеленью свои волосы и детскую фигурку, она превратилась в малютку-нимфу, крошечную дриаду, словом — в одно из тех существ, которые так гармонировали с античным лесом. Услышав, что мать зовет ее, Перл в этом необычном наряде медленно пошла обратно. Медленно — ибо она

увидела священника.

Глава XIX
РЕБЕНОК У РУЧЬЯ

— Ты горячо полюбишь ее, — повторяла Гестер Прин, следившая издали вместе со священником за маленькой Перл. — Правда, она красивая? А посмотри, с каким вкусом и как умело она украсила себя этими простыми цветами! Собери она в лесу жемчуг, алмазы и рубины, они ничего не прибавили бы к ней! Это чудесный ребенок! Но, знаешь, у нее твой лоб!

— Известно ли тебе, Гестер, — с беспокойной улыбкой сказал Артур Димсдейл, — что эта милая крошка, всегда семенящая рядом с тобой, доставила мне немало тревоги? Я боялся… О Гестер, как ужасно — бояться такой мысли!.. Я боялся, что весь мир узнает мои черты, отчасти запечатленные на ее лице! Но она больше похожа на тебя!

— Нет, нет! Не больше, — ответила мать с ложной улыбкой. — Пройдет немного времени, и ты не будешь бояться, узнавая в ней свое дитя. Но взгляни, как она необычна и хороша с лесными цветами в волосах! Словно одна из тех фей, которых мы оставили в нашей доброй старой Англии,

нарядила ее для встречи с нами.

С чувством, никогда еще ими не испытанным, сидели они, следя за медленным приближением Перл. Она воплощала в себе соединявшие их узы и была подарена миру семь лет назад как живой иероглиф, раскрывавший ту тайну, которую они так старались скрыть. Если бы существовал прорицатель или волшебник, способный прочитать этот пламенный характер, он узнал бы все! Перл воплощала единство их бытия. Какова бы ни была их прежняя вина, могли ли они, глядя на существо, олицетворяющее их духовный и материальный союз, сомневаться в том, что земное их существование и дальнейшая судьба были соединены и что они будут пребывать вместе в вечности? Эти мысли и другие, подобные им, в которых они, быть может, не признавались себе или не отдавали ясного отчета, внушали им благоговейное волнение перед приближавшимся ребенком.

— Когда ты заговоришь с ней, — шепнула Гестер, — не дай ей заметить ничего особенного — ни чрезмерной любви, ни радости. Наша Перл бывает очень порывиста и чудит, как маленький эльф. Она не терпит проявления чувств, если не знает всех «отчего» и «почему». Но она очень

привязчива! Она любит меня и полюбит тебя!

— Ты не можешь представить себе, — сказал священник, искоса глядя на Гестер Прин, — как мое сердце страшится разговора с ней и как оно, вместе с тем, стремится к нему! Я уже сказал тебе, что дети неохотно дружат со мной. Они не взбираются ко мне на колени, не лепечут мне на ухо, не отвечают на мою улыбку, а стоят в сторонке и недоверчиво рассматривают меня. Даже совсем маленькие, когда я беру их на руки, начинают горько плакать. Однако Перл за свою короткую жизнь дважды была добра ко мне! Первый раз — ты знаешь, когда! А второй раз — когда ты привела ее в дом сурового старого губернатора.

— Где ты так смело выступил в нашу защиту! — ответила мать. — Я помню это, и маленькая Перл тоже, наверно, помнит. Не бойся ничего! Возможно, сначала она будет дичиться и стесняться, но потом полюбит тебя!

К этому времени Перл дошла до ручья и остановилась на берегу, молча разглядывая Гестер и священника, все еще сидевших, в ожидании ее, на обросшем мхом стволе дерева. Как раз в том месте, где она стояла, ручей разлился лужицей, такой зеркально-гладкой, что в ней четко отражалась маленькая фигурка во всем блеске своей

живописной красоты, в уборе из цветов и сухой листвы; однако отражение казалось еще более тонким и одухотворенным, чем действительный образ. И в свою очередь повторяя живую Перл, оно придавало какую-то призрачность и неосязаемость самому ребенку. Было что-то необычное в том, что Перл смотрит на них сквозь густой сумрак леса, сама же озарена лучами солнечного света, словно привлеченными к ней какой-то симпатией. А в глубине ручья стояла другая девочка — другая и одновременно та же, — озаренная такими же золотыми лучами. У Гестер возникло неясное и мучительное ощущение, будто Перл сделалась для нее чужой, будто дитя во время своего одинокого блуждания по лесу вышло из той среды, в которой пребывало вместе с матерью, и теперь тщетно искало пути обратно.

Это ощущение было и верным и в то же время ошибочным; мать и дочь действительно взаимно отдалились, но по вине Гестер, а не Перл. С тех пор как девочка рассталась с матерью, другой человек был допущен в круг чувств Гестер, и это настолько изменило отношения между всеми тремя, что Перл, возвратившись, не нашла своего привычного места и совсем не знала, как ей быть.

— Мне чудится, — заметил чуткий священник, — будто этот ручей — граница между двумя мирами и ты никогда не сможешь снова встретиться с твоей Перл. А может быть, она — маленький эльф, которому, как нам рассказывали в детстве, запрещено переступать текущие воды? Пожалуйста, поторопи ее, потому что это ожидание уже наполнило меня трепетом.

— Иди скорей, дитя мое! — ласково сказала Гестер и протянула к ней руки. — Что ты медлишь? Раньше ты никогда так не мешкала! Вот мой друг, он должен стать и твоим другом. Раньше тебя любила только твоя мама, а теперь тебя будет любить еще один человек! Прыгай через ручеек и иди к нам. Ведь ты умеешь прыгать, как козочка!

Перл, не обращая никакого внимания на эти медовые речи, по-прежнему стояла на противоположном берегу ручья. Она устремляла свои блестящие, загадочные глаза то на мать, то на священника, то на обоих вместе, словно силясь уловить и уяснить себе их отношения. По какой-то необъяснимой причине в тот миг, когда Артур Димсдейл почувствовал на себе взгляд ребенка, его рука невольным жестом, уже вошедшим у него в привычку, легла на сердце. Наконец Перл

властно протянула вперед руку и пальчиком указала на грудь матеря. А внизу, в зеркале ручья, увитое цветами и освещенное солнцем отражение маленькой Перл тоже указывало пальчиком на Гестер.

— Ах ты, странное дитя, почему ты не подходишь ко мне? — воскликнула Гестер.

Но Перл, продолжая указывать пальцем на грудь матери, нахмурила лоб. При ее детских, почти младенческих чертах это производило особенно сильное впечатление. И так как мать продолжала манить ее и наряжать свое лицо в непривычную праздничную улыбку, девочка досадливо и высокомерно топнула ножкой. А в ручье сказочно красивая девочка тоже нахмурилась и, вытянув пальчик, повторила этот высокомерный жест, еще усилив выразительность образа живой Перл.

— Иди сюда скорей, Перл, не то я рассержусь! — закричала Гестер, которой, хотя она и привыкла к подобным капризам своей дочки-шалуньи, сейчас, конечно, хотелось, чтобы та вела себя лучше. — Прыгай через ручей, непослушная девочка, и беги сюда! Иначе я сама пойду за тобой!

Но Перл, нисколько не испугавшись материнских угроз и не смягчившись от ее просьб,

внезапно разразилась припадком гнева; она неистово размахивала руками и самым причудливым образом изгибала свою маленькую фигурку. Эти дикие движения сопровождались пронзительными криками, которым со всех сторон вторило эхо, так что казалось, будто она не одинока в своем детском неразумном гневе и множество невидимых существ сочувствуют ей и поощряют ее. А в воде гневалось отражение Перл, увенчанной и опоясанной цветами; девочка в ручье также топала ножками, возбужденно размахивала руками и продолжала указывать пальчиком на грудь матери.

— Я знаю, что́ ее так взволновало, — шепнула священнику Гестер, невольно побледнев, несмотря на все свои усилия скрыть волнение и досаду. — Дети не терпят никаких перемен во внешнем виде тех, к кому они привыкли и кого ежедневно видят. У Перл перед глазами нет того, что она привыкла видеть на мне!

— Умоляю тебя, — отозвался священник, — если ты способна ее успокоить, сделай это немедленно! На свете нет ничего более гнетущего, чем ярость ребенка, разве что мерзкая злоба старой ведьмы, вроде миссис Хиббинс, — добавил он, пытаясь улыбнуться. — Как на прелестном дет-

ском личике, так и на покрытой морщинами физиономии старухи это одинаково чудовищно. Молю тебя, во имя любви ко мне, успокой ее!

Бросив выразительный взгляд на священника и тяжело вздохнув, Гестер с пылающим лицом снова повернулась к Перл, но прежде чем она произнесла первое слово, краска на ее щеках сменилась смертельной бледностью.

— Перл, — печально сказала она, — посмотри себе под ноги! Вон туда! Перед собой! На этот берег ручья!

Девочка посмотрела туда, куда указывала мать: там, так близко к воде, что в ней отражалась золотая вышивка, лежала алая буква.

— Принеси ее сюда! — сказала Гестер.

— Подойди сама и возьми! — ответила Перл.

— Что за ребенок! — прошептала Гестер, обращаясь к священнику. — О, мне еще многое придется рассказать тебе о ней! Но, по правде говоря, она права насчет этого ужасного знака. Я должна терпеть эту пытку еще несколько дней, покуда мы не покинем этих мест и не станем вспоминать о них лишь как о дурном сне. Лес не может спрятать алую букву! Океан примет ее из моих рук и поглотит навсегда!

С этими словами она подошла к ручью, подня-

ла алую букву и снова прикрепила ее к себе на грудь. Минуту назад, говоря о том, что утопит мрачную эмблему в пучине морской, Гестер была полна надежд, а теперь, принимая ее обратно из рук судьбы, она поддалась чувству обреченности. Сняв букву, казалось бы навсегда, она всего лишь час дышала свободно, и вот снова алый символ страдания заблистал на прежнем месте! По-видимому, раз содеянное зло всегда так или иначе становится нашим роком. Гестер подобрала густые пряди своих волос и спрятала их под чепец. И сразу, словно эта печальная буква таила в себе иссушающие чары, красота, молодость, женственность исчезли, как угасает солнечный свет; казалось, серая тень снова нависла над Гестер.

Когда это мрачное превращение свершилось, она протянула руку к Перл.

— Теперь ты узнаешь свою маму, детка? — мягко, но с оттенком упрека спросила она. — Теперь, когда твоя мама снова печальна и знак позора на ее груди, ты перейдешь через ручей и признаешь ее?

— Теперь да! — ответила девочка, перепрыгивая через ручей и обвивая ручками Гестер. — Теперь ты вправду моя мама, а я твоя маленькая Перл!

В порыве нежности, мало обычном для нее, она обхватила голову матери и поцеловала ее в лоб и щеки. А затем, словно повинуясь какой-то неизбежности, всегда побуждавшей этого ребенка примешивать мучительную боль к утешению, которое она могла подарить, Перл вытянула губки и поцеловала алую букву!

— Нехорошо, Перл! — сказала Гестер. — Только что ты как будто показала, что немного любишь меня, и тут же начала смеяться надо мной!

— А зачем здесь сидит священник? — спросила Перл.

— Он хочет поздороваться с тобой, — ответила мать. — Подойди и попроси у него благословения! Он любит тебя, моя маленькая Перл, и любит твою маму. Полюби и ты его. Подойди к нему! Он хочет поговорить с тобой!

— Он любит нас? — спросила Перл, подняв на мать проницательный взор. — Значит, он пойдет в город рука об руку с нами? Мы пойдем все вместе?

— Не теперь, дитя мое, — ответила Гестер. — Но через несколько дней он пойдет вместе с нами. У нас будет свой дом и свой очаг, и ты будешь сидеть у мистера Димсдейла на коленях; он научит тебя многим интересным вещам и будет горячо

тебя любить. И ты полюбишь его, не так ли?

— А он всегда будет прижимать руку к сердцу? — спросила Перл.

— Глупышка, что за вопрос! — воскликнула мать. — Подойди и попроси у него благословения!

Но то ли под влиянием ревности, которую испытывает каждый избалованный ребенок к опасному сопернику, то ли под влиянием очередного каприза. Перл не хотела проявить никакой благосклонности к священнику. И только силой мать подвела ее к нему. Перл упиралась и выражала свое нежелание странными гримасами. Их у нее с младенческих лет было в запасе великое множество, и она умела придавать своей подвижной мордочке всевозможные злые и неприятные выражения. В мучительном смущении священник все же надеялся, что поцелуй послужит залогом его добрых отношений с ребенком. Он наклонился и поцеловал девочку в лоб. Тогда Перл вырвалась из рук матери и подбежала к ручью. Нагнувшись, она окунула в него лоб и ждала, пока скользящая вода не унесла вдаль нежеланный поцелуй. Затем она издали стала молча следить за матерью и священником, которые, продолжая свою беседу, уславливались о том, что нужно

сделать прежде всего, чтобы можно было начать новую жизнь.

И вот это знаменательное свидание пришло к концу. Пора было предоставить одиночеству лесную ложбинку под старыми, темными деревьями, которые долго еще будут шелестеть своими многочисленными языками, рассказывая о том, что там произошло, но ни один смертный не поймет их слов. И меланхоличный ручей прибавит эту новую историю к тем тайнам, которые уже и так переполняют его маленькое сердце; он будет продолжать своя невнятный лепет, и голос его останется таким же печальным, как и много столетий назад.

Глава XX
ПАСТОР В СМЯТЕНИИ

Расставшись с Гестер Прин и маленькой Перл, священник зашагал по тропинке; вскоре он обернулся и посмотрел назад, ожидая, что увидит лишь едва различимые черты или контуры матери и ребенка, медленно тающие в сумраке леса. Ему трудно было сразу поверить в такую разительную перемену своей судьбы. Но Гестер в своем обычном сером платье все еще стояла у дерева, много лет назад поваленного сильной бурей и с тех пор постепенно обраставшего мхом, для того чтобы эти двое обреченных, влачащих самую тяжкую земную ношу, могли посидеть на нем и провести вместе единственный час покоя и утешения. А от берега ручья вприпрыжку бежала Перл: навязчивый третий ушел, и она, как прежде, могла занять привычное место рядом с матерью. Значит, священник не грезил — все это было явью!

Желая освободиться от такой неясности и двойственности впечатлений, вызывавшей в нем странное чувство тревоги, он начал вспоминать

и глубже продумывать планы отъезда, намеченные им и Гестер. Они решили, что Старый Свет с его многочисленными и многолюдными городами будет для них более подходящим убежищем и даст более надежный кров, чем дикие леса Новой Англии и вся Америка, где нужно было выбирать между индейским вигвамом[87] и редкими поселениями европейцев, разбросанными по побережью. Не говоря уж о здоровье священника, не допускавшем тягот лесной жизни, его природная одаренность, образование и культура могли обеспечить ему приют только в гуще цивилизованной и утонченной жизни; чем выше ступень развития государства, тем легче устроиться в нем такому человеку. Этому выбору также способствовало то обстоятельство, что в гавани Бостона в это время стоял корабль; одно из многочисленных в те дни судов с сомнительной репутацией, которые хотя и не занимались морским разбоем в прямом смысле слова, все же смело бороздили просторы океана, не признавая никаких законов. Корабль этот, только что прибывший из Караибского моря, должен был

[87] Примечания: 87

Вигвам — куполообразная хижина индейцев из племени алгонкинов. Европейцы называли вигвамом всякую индейскую хижину, в том числе и коническую «типи».

через три дня отплыть в Бристоль. Гестер Прин, благодаря добровольно принятым на себя обязанностям сестры милосердия, уже познакомилась со шкипером и командой судна и могла заранее договориться о проезде двух взрослых и ребенка с обещанием полного соблюдения тайны, как того требовали обстоятельства.

Священник очень интересовался точным временем отплытия судна. Гестер объяснила, что корабль отплывет дня через три. «Исключительно удачно!» — заметил про себя священник. Мы не хотели бы говорить о том, почему преподобный мистер Димсдейл счел это обстоятельство исключительно удачным. Тем не менее, — чтобы ничего не скрывать от читателя, — поведаем, что эта мысль была связана с намерением через два дня произнести проповедь в честь дня выборов, а поскольку подобное событие составляло целую эпоху в жизни священника Новой Англии, оно, естественно, представляло самый подходящий случай для завершения профессиональной карьеры мистера Димсдейла. «По крайней мере, — думал этот образцовый человек, — никто не скажет, что я не выполнил до конца своего общественного долга!» Как грустно, что столь глубокий и чуткий к своим душевным

движениям ум мог быть так ужасно обманут! Нам уже приходилось и придется еще говорить худшие вещи о бедном священнике, но едва ли — о такой жалкой слабости, о таком признаке, и мелком и неоспоримом, коварной болезни, уже давно подтачивавшей его истинную натуру. Ни один человек не может так долго быть двуликим: иметь одно лицо для себя, а другое — для толпы; в конце концов он сам перестанет понимать, какое из них подлинное.

Возбуждение чувств, которое испытывал мистер Димсдейл, возвращаясь домой после разговора с Гестер, придало ему необычную телесную бодрость, и он быстро шел по направлению к городу. Тропинка в лесу казалась ему более дикой, более обильной естественными препятствиями и менее истоптанной ногами человека, чем она запомнилась ему, когда он шел из города. Но он перепрыгивал через лужи, протискивался сквозь цеплявшийся за его плащ кустарник, взбирался на крутые склоны, спускался в лощины, словом преодолевал все трудности пути с неутомимой энергией, удивлявшей его самого. Он вспомнил, с каким трудом, с какими частыми остановками из-за одышки пробирался он той же дорогой только два дня назад. Когда он приблизился к городу,

ему показалось, что многие знакомые предметы изменились, словно он расстался с ними не вчера, не позавчера, а много дней или даже лет назад. Он прекрасно узнавал эти улицы и дома, увенчанные множеством остроконечных фронтонов и флюгеров, которые, по-видимому, все находились на своих местах. Однако навязчивое чувство перемены не покидало его. То же самое происходило, когда он встречал знакомых и сталкивался со всеми привычными ему картинами жизни городка. Люди не выглядели ни старше, ни моложе; бороды стариков не стали белее, а ползавшие на четвереньках малыши и сегодня еще не могли стоять на ногах; трудно было сказать, чем отдельные люди отличались от тех, которых он еще так недавно видел, уходя из города, и все-таки священник был твердо убежден, что они чем-то изменились. Подобное ощущение, но еще более сильное, овладело им, когда он проходил под стенами своей же церкви. Здание показалось ему каким-то необычным и одновременно таким знакомым, что мысль мистера Димсдейла заколебалась между двумя возможностями: либо он раньше видел эту церковь только во сне, либо она снится ему теперь.

Это явление в тех различных формах, кото-

рые оно принимало, указывало не на внешнюю перемену, а на внезапный и глубокий внутренний переворот в человеке, созерцавшем все эти знакомые предметы; человек этот за один короткий день изменился так, как люди меняются за целые годы. Воля самого священника, воля Гестер и предвестия новой общей судьбы явились причинами этого превращения. Город не изменился, изменился вернувшийся из леса священник. Он мог бы сказать своим друзьям, приветствовавшим его: «Я не тот, за кого вы меня принимаете! Его я оставил в лесу, в глухой ложбине, возле поросшего мхом упавшего дерева и меланхоличного ручья! Ступайте, поищите своего священника! Посмотрите, не найдете ли вы там его исхудавшей фигуры, его впалых щек, его бледного лба, изборожденного морщинами горя, — брошенными наземь, как бросают обветшалое платье!» Его друзья, безусловно, начали бы спорить с ним: «Да ведь ты и есть тот самый человек!», но они были бы неправы.

Прежде чем мистер Димсдейл дошел до дому, внутреннее «я» еще и еще раз подтвердило, что в его мыслях и чувствах произошел переворот. И действительно, только полной переменой династии и кодекса нравственности в этом внутрен-

нем царстве можно было бы объяснить порывы, овладевавшие теперь несчастным растерявшимся священником. Ежеминутно он испытывал искушение совершать странные, безрассудные, дурные поступки, казавшиеся ему одновременно непроизвольными и умышленными, неприемлемыми для него и шедшими из более глубоких недр его натуры, чем сопротивление этим побуждениям. Он встретил, например, одного из своих дьяконов. Добрый старик обратился к нему с отеческой приветливостью, говоря несколько покровительственным тоном, оправданным его почтенным возрастом, прямотой характера и благочестием, а также положением в церкви; это сочеталось с глубокой, почти благоговейной почтительностью к сану пастора и его доброй славе. Дьякон представлял собою прекрасный образец того, как старость и мудрость могут уважать и почитать младшего по летам, но старшего по званию, положению в обществе и способностям. Во время двухминутной или трехминутной беседы с этим достойным седовласым дьяконом о готовящемся празднестве преподобный мистер Димсдейл, только призвав на помощь всю свою волю, удерживался от того, чтобы не произносить богохульства, которые приходили ему в голову.

Он задрожал и смертельно побледнел, боясь, как бы его язык самовольно не наболтал ужасных вещей. Но даже испытывая страх, он едва удерживался от смеха, представляя себе, как был бы поражен набожный старик, услышав такие нечестивые слова из уст пастора.

Был и такой случай. Быстро шагая по улице, преподобный мистер Димсдейл встретил старейшую прихожанку своей церкви, очень набожную и примерную старушку, бедную вдову, сердце которой было так полно воспоминаниями о покойном муже, детях и давно скончавшихся подругах, как кладбище — надгробными памятниками. Но подобные воспоминания, которые были бы тяжким горем для других, наполняли торжественной радостью ее благочестивую душу, ибо она уже более тридцати лет непрестанно вкушала религиозное утешение в истинах священного писания. А с тех пор, как мистер Димсдейл стал ее духовником, добрая старушка считала первейшей земной отрадой (а также и небесной, иначе та ничего бы не стоила) случайную или намеренную встречу с пастором, во время которой ее глуховатое, но внимательное ухо могло с восторгом прислушиваться к благоуханным словам небесного поучения из боготворимых уст.

Однако на этот раз, уже приблизив губы к ее уху, мистер Димсдейл — на потеху лукавому — не мог припомнить ни одного изречения из священного писания, а на ум ему пришел только короткий, сильный и, как ему тогда показалось, неопровержимый довод против бессмертия человеческой души. Если бы такие речи проникли в сознание престарелой сестры, она, вероятно, умерла бы на месте, как от впрыскивания сильнодействующего яда. Что же пастор действительно прошептал ей на ухо, он потом так и не сумел вспомнить. Может быть, к счастью, он говорил так путанно, что добрая вдова ничего не поняла, а может быть, провидение по-своему растолковало его слова. Но только когда священник оглянулся на старушку, он увидел на ее пепельно-бледном и покрытом морщинами лице выражение благоговейного восторга и благодарности, которые казались отблеском небесного сияния.

И, наконец, еще один случай. Расставшись с самой старой прихожанкой, священник встретил самую молодую. На эту девушку огромное впечатление произвела проповедь преподобного мистера Димсдейла, произнесенная им в воскресенье после ночного бдения, в которой он призывал своих прихожан забыть о преходящих

благах мирских ради радостей небесных, которые будут тем светлее, чем гуще мгла вокруг, и позолотят мрак земной юдоли блеском вечной славы. Девушка была прекрасна и чиста, как райская лилия. Священник хорошо знал, что в святыне своего непорочного сердца она лелеяла его образ, окружив его белоснежной завесой, что к ее религиозному чувству примешивался жар любви, а к любви — религиозная чистота. Конечно, только сатана в этот день увел бедную девушку от матери и направил навстречу этому тяжко искушаемому или — не лучше ли будет сказать? — этому погибшему и отчаявшемуся человеку. Когда она приблизилась, нечистый дух подсказал ему мысль тайно заронить в ее нежную грудь крохотное зерно зла, которое, наверное, вскоре расцвело бы темным цветом, а потом принесло бы и черные плоды. Священник знал, как могущественна его власть над этой невинной душой, знал, что одним лишь взглядом он может совратить ее с пути истинного, что одного лишь слова его достаточно, чтобы пробудить в ней все темное и дурное. Величайшим усилием поборов в себе эту преступную мысль, он закутался в плащ и поспешил прочь, словно не узнав ее и предоставив ей понимать как угодно его грубое

поведение. Бедняжка стала копаться в своей совести, полной безобидных мелочей, какими полны были ее карманы и рабочий мешочек, корила себя за тысячу воображаемых грехов и на следующее утро выполняла свои домашние обязанности с опухшими веками.

Но прежде чем священнику удалось отпраздновать свою победу над искушением, он почувствовал новый порыв, еще более нелепый и столь же греховный. Ему внезапно захотелось — нам стыдно даже рассказывать об этом — захотелось остановиться для того, чтобы научить дурным словам нескольких маленьких пуритан, игравших на дороге и едва только начинавших говорить. Затем он встретил пьяного матроса с корабля, приплывшего из Караибского моря. И поскольку ему с таким трудом все же удалось воздержаться от ряда других безнравственных поступков, на сей раз бедный мистер Димсдейл пожелал по крайней мере хоть пожать руку этому просмоленному негодяю и потешиться его непристойными шутками и потоком добрых, крепких, сочных богохульств, которые в таком ходу у беспутных мореходов. Однако врожденный вкус и особенно церковная чопорность, обратившаяся уже в привычку, удержали его и от

этого малоприличного поступка.

— Что преследует и искушает меня? — воскликнул про себя священник, останавливаясь и проводя рукой по лбу. — Не сошел ли я с ума? Не предался ли дьяволу? Не скрепил ли я кровью договор с ним там, в лесу? И не призывает ли он меня теперь выполнить условия, подстрекая совершать все мерзости, которые в состоянии измыслить его гнусное воображение?

Говорят, что в ту минуту, когда преподобный мистер Димсдейл, приложив руку ко лбу, вел сам с собой эту беседу, мимо проходила старая миссис Хиббинс, известная всем ведьма в образе леди. Она была величественна в своем высоком головном уборе и богатом бархатном платье с брыжами, накрахмаленными тем знаменитым желтым крахмалом, секрет приготовления которого ей поведала ее задушевная подруга Энн Тэрнер,[88] прежде чем эту добрую леди повесили за убийство сэра Томаса Овербери. Прочла ли ведьма мысли священника или нет, но она остановилась, хитро заглянула ему в лицо, лукаво улыбнулась и хотя не очень любила беседовать со священниками, тем не менее начала разговор.

---

[88] Примечания: 88

Энн Тэрнер (1576–1615) — доверенное лицо графини Эссекс. Казнена за соучастие в убийстве Томаса Овербери (см. примечания к стр. 113).

— Наконец-то вы, преподобный сэр, побывали в лесу, — заметила старая леди-ведьма, кивая ему высоким головным убором. — Когда вы в следующий раз пойдете туда, дайте мне знать, и я почту за честь составить вам компанию. Не хвалясь, скажу, что мое доброе слово очень поможет любому джентльмену быть хорошо принятым у тамошнего владыки!

— Уверяю вас, сударыня, — ответил священник с той церемонной вежливостью, которой требовали положение этой леди и его собственная воспитанность, — уверяю вас по чести и совести, что я совершенно не понимаю смысла ваших слов. Я ходил в лес не для того, чтобы искать там его владыку, и в дальнейшем также не намерен идти туда с тем, чтобы снискать благосклонность такой персоны. Моей единственной целью было навестить моего благочестивого друга — пастора Элиота и вместе с ним порадоваться освобождению многих драгоценных душ из плена язычества!

— Кхе, кхе, кхе! — закудахтала старая ведьма, продолжая кивать священнику своим высоким убором. — Хорошо, хорошо, нам приходится так говорить об этом днем. Вы, я вижу, стреляная птица! Но в полночь, в лесу мы заговорим по-

другому!

Она пошла дальше своей величавой старческой поступью, но часто оборачивалась и улыбалась ему, словно желая напомнить о соединявшей их тайне.

«Неужели я продался дьяволу, — подумал священник, — которого, если люди говорят правду, эта накрахмаленная и одетая в бархат старая карга избрала своим государем и повелителем?»

Несчастный священник! Он действительно совершил похожую сделку! Искушаемый мечтой о счастье, он добровольно предался, — чего никогда не делал прежде, — тому, что считал смертным грехом. И заразительный яд этого греха мгновенно проник в его нравственность. Он притупил все его благородные порывы и пробудил к оживленной деятельности все дурные стремления. Презрение, горечь, беспричинная озлобленность, неутолимое желание губить все доброе и смеяться над всем святым — все пробудилось, все искушало и одновременно пугало его. Встреча со старой миссис Хиббинс, если такое происшествие действительно было, подтверждала его родственную близость к злым людям и миру погибших душ.

К этому времени он дошел до своего дома,

стоявшего у кладбищенской ограды, и, поспешно поднявшись по лестнице, укрылся в своем кабинете. Священник был рад, что добрался до этого убежища, не совершив на виду у всего света тех странных и безнравственных поступков, к которым его все время что-то побуждало, пока он шел по улицам. Он вошел в комнату, окинул взглядом книги, окна, камин и украшенные гобеленами стены, весь свой домашний уют, и снова испытал то же чувство отчужденности, которое преследовало его на пути от лесной ложбинки до города и по городу до самого дома. Здесь он погружался в чтение и писал; здесь проводил дни и ночи в посте и бдениях, изнурявших его до полного упадка сил; здесь пытался молиться; здесь перенес тысячи мук! Вот его библия на выразительном древнееврейском языке, со страниц которой с ним беседовали Моисей[89] и пророки, в чьих словах он слышал глас божий! Вот на столе рядом с запачканным чернилами пером лежала его неоконченная проповедь, прерванная на середине фразы два дня назад, когда его мысли

[89] Примечания: 89

Моисей — согласно религиозным преданиям, якобы вывел евреев из египетского рабства в обетованную землю и основал — иудейскую религию. Считалось, что библия — священная книга евреев — написана Моисеем и другими пророками.

перестали ложиться на бумагу. Мистер Димсдейл знал, что все это сделал и выстрадал, равно как и написал часть проповеди в честь дня выборов, он сам, чахлый и бледный пастор! Но ему казалось, что он стоит в стороне и смотрит на прежнего себя с презрением и жалостью, к которым примешивается почти завистливое любопытство. Тот человек исчез. Из лесу пришел другой, более мудрый, знающий скрытые тайны, которых не мог постигнуть прежний бесхитростный священник. Это была горькая истина!

В ту минуту, когда он предавался размышлениям, послышался стук в дверь кабинета.

— Войдите! — сказал священник, и у него мелькнула мысль, что он сейчас увидит злого духа.

Так это и было! Вошел старый Роджер Чиллингуорс. Священник стоял бледный и безмолвный, положив одну руку на еврейскую библию, а другую на грудь.

— С благополучным возвращением, достопочтенный сэр, — сказал врач. — Как чувствует себя благочестивый пастор Элиот? Но мне кажется, дорогой сэр, что вы несколько бледны; эта лесная дорога вас утомила. Может быть, вам требуется моя помощь? Вы должны запастись силой и бод-

ростью для предстоящей проповеди.

— Нет, благодарю вас, — ответил преподобный мистер Димсдейл. — Ходьба, встреча со святым пастором и свежий воздух, которым я дышал после столь длительного затворничества в моем кабинете, принесли мне большую пользу. Думаю, что мне больше не понадобятся ваши лекарства, мой добрый доктор, хотя они очень хороши и приготовлены дружеской рукой.

Все это время Роджер Чиллингуорс смотрел на священника тем серьезным и пристальным взглядом, каким врач смотрит на пациента. Однако несмотря на внешнее спокойствие старика, пастор был убежден, что тот знает или по крайней мере догадывается о свидании с Гестер Прин. Значит, врач должен чувствовать, что священник теперь видит в нем не друга, а самого заклятого врага. Раз оба это знали, было бы естественно, если бы между ними произошло хотя бы частичное объяснение. Однако удивительно, сколько времени проходит иногда, прежде чем чувства воплотятся в слова, и с какой уверенностью два человека, предпочитающих осторожно обходить определенную тему, иногда приближаются к самому ее краю, а потом отдаляются, не затронув ее. Поэтому священник не опасался, что Роджер

Чиллингуорс заговорит об их действительных отношениях. Да и старик предпочитал подкрадываться к тайне своим темным, извилистым путем.

— Не лучше ли будет все же, — сказал Роджер Чиллингуорс, — если вы сегодня воспользуетесь моими скромными знаниями? Поистине, дорогой сэр, мы должны сделать все что возможно, чтобы укрепить вас и влить в вас силы для проповеди в день выборов. Люди ждут от вас великих слов, предчувствуя, что, быть может, и года не минет, как их пастор уйдет.

— Да, в мир иной, — с набожным смирением ответил священник. — Дай бог, чтобы это был лучший мир. Я не думаю, чтобы мне пришлось прожить с моей паствой весь следующий год! Что же касается ваших лекарств, добрый сэр, то при теперешнем состоянии моего здоровья в них нет нужды.

— Рад слышать это, — ответил врач. — Может быть, мои лекарства, которые столь долго не приносили никакой пользы, теперь начинают проявлять свое действие. Я был бы счастливым человеком и заслужил бы благодарность всей Новой Англии, если бы сумел вылечить вас!

— Благодарю вас от всего сердца, мой бди-

тельный друг, — сказал преподобный мистер Димсдейл с многозначительной улыбкой. — Благодарю вас, но за ваши добрые дела могу воздать вам только молитвами.

— Молитвы праведника дороже золота! — ответил старый Роджер Чиллингуорс, уходя. — Да, они дороже золотых монет Нового Иерусалима, чеканки самого господа бога!

Оставшись один, священник позвал служанку и велел принести ему ужин, который он съел с жадным аппетитом. Затем, бросив уже готовые страницы проповеди в огонь, он тотчас принялся за новые листы, с таким приливом чувств и мыслей, что вообразил себя осененным небесным откровением; его удивляло лишь то, что небо избрало такой недостойный орган для передачи величественной и торжественной гармонии своих святых истин, Однако так и не разгадав этой тайны, он торопливо продолжал свою работу с благоговением и восторгом. Ночь промчалась как крылатый конь, на котором скакал он сам; пришло утро и заглянуло, краснея, сквозь занавеси; и, наконец, солнце бросило свой золотой луч в кабинет, прямо в утомленные глаза пастора. А он, держа в руке перо, все еще сидел перед огромной грудой исписанной бумаги.

Глава XXI
ПРАЗДНИК В НОВОЙ АНГЛИИ

Утром того дня, когда новый губернатор должен был принять свой пост из рук народа, Гестер Прин и маленькая Перл заблаговременно пришли на рыночную площадь. Площадь уже была заполнена ремесленниками и прочим простым людом, и здесь же мелькали косматые фигуры в нарядах из оленьих шкур, которые выдавали в них обитателей лесных поселков, окружавших маленькую столицу колонии.

В этот праздничный день Гестер была одета так же, как она одевалась все эти семь лет: на ней было платье из грубой серой ткани. Как его блеклый цвет, так и какая-то необъяснимая особенность покроя делали ее малозаметной, контуры фигуры как бы расплывались, в то время как алая буква своим блеском вновь выводила ее из этой сумеречной неопределенности и напоминала о моральном значении клейма. Лицо Гестер, уже достаточно примелькавшееся жителям города, выражало мраморное спокойствие, к которому они также давно привыкли. Оно было подобно

маске, или, пожалуй, черты его напоминали застывшее лицо мертвой женщины; причина этого ужасного сходства таилась в том, что в сознании всех этих людей Гестер действительно была мертва и отрешилась от мира, с которым внешне еще общалась.

Но, пожалуй, в этот день на ее лице было еще какое-то выражение, не виданное прежде, но, правда, и недостаточно явственное, чтобы его могли заметить; разве что какой-нибудь сверхъестественно проницательный наблюдатель сперва прочел бы тайну в ее сердце, а потом уже поискал отражения на ее лице и во взгляде. Столь тонкий наблюдатель, возможно, понял бы, что, выдерживая взгляды толпы в течение семи мучительных лет как неизбежность, как кару, как нечто предписанное суровой религией, она теперь в первый и последний раз встречала их свободно и охотно, превращая то, что столько лет было для нее пыткой, в своего рода торжество. «Смотрите в последний раз на алую букву и на ту, которая носит ее! — могла бы сказать им эта пожизненная жертва и раба, какой они ее считали. — Еще немного, и она будет вне вашей власти! Еще несколько часов, и бездонный, таинственный океан погасит и навсегда скроет

знак, который вы зажгли на ее груди!» Но мы не припишем человеческой натуре чрезмерной противоречивости, если предположим, что в душе Гестер в тот миг, когда она уже почти праздновала свое избавление от боли, жившей в глубине ее существа, зародилось и чувство сожаления. Не было ли у нее непреодолимого желания в последний раз осушить до дна, не переводя дыхания, чашу полыни, отравлявшей годы ее молодости? Нектар жизни, который будет теперь поднесен к ее губам в чеканном золотом кубке, должен быть поистине крепким, сладостным и живительным, иначе он неизбежно возбудит в ней, привыкшей к дурманной горечи, лишь бессильное томление.

Перл искрилась грацией и была очень оживлена. Никто не поверил бы, что это сверкающее, солнечное создание обязано своим существованием кому-то в сером и мрачном или что одна и та же фантазия, одновременно столь богатая и столь изящная, придумала и наряд ребенка и простое одеяние Гестер, решив, быть может, в последнем случае более сложную задачу, чтобы придать платью достоинство и своеобразие. Платье, которое так шло к маленькой Перл, казалось излучением или дальнейшим развитием и внешним проявлением ее характера и было

неотъемлемо от нее, как радужный блеск — от крыла бабочки, а красочный рисунок лепестка — от яркого цветка. Как у бабочки и цветка, так и у девочки наряд вполне гармонировал с ее природой. В этот знаменательный день в поведении Перл более чем обычно заметна была странная порывистая подвижность, напоминавшая игру брильянта, который сверкает и переливается искрами при каждом движении и вздохе женской груди. Дети всегда разделяют тревогу своих близких, чувствуют любую беду и надвигающийся переворот в их доме, а поэтому Перл — брильянт на груди матери, самими колебаниями своего настроения выдавала то волнение, которое трудно было подметить на мраморно неподвижном лице Гестер.

От возбуждения Перл не шла, а порхала, как птичка, рядом с матерью. Время от времени она издавала какие-то дикие, нечленораздельные и иногда пронзительные звуки, должно быть изображавшие музыку. Когда мать и дочь дошли до рынка, Перл, заметив оживление и суету на площади, обычно более похожей на заросший травой тихий луг перед молитвенным домом сельской общины, чем на деловой центр города, стала еще более беспокойной.

— Что это значит, мама? — воскликнула ока. — Почему люди сегодня бросили работу? Это праздник для всех? Посмотри, вот кузнец! Он смыл сажу с лица, надел воскресный костюм и готов повеселиться, если только какая-нибудь добрая душа научит его, как это делается. А вот и мистер Брэкет, старик тюремщик; он кивает мне и улыбается. Зачем это он, мама?

— Он знал тебя еще совсем крошкой, дитя мое, — ответила Гестер.

— И только поэтому такой черный, страшный и уродливый старик будет кивать мне и улыбаться? — возразила Перл. — Пусть он, если хочет, здоровается с тобой; ведь ты одета в серое и носишь алую букву. Но взгляни, мама, как много незнакомых лиц: тут и индейцы и моряки! Зачем все они пришли на рыночную площадь?

— Им хочется посмотреть на торжественное шествие, — ответила Гестер. — В нем примут участие и губернатор, и судьи, и священники, и все именитые граждане, и просто горожане, а впереди пойдут музыканты и солдаты.

— А пастор будет там? — спросила Перл. — Он протянет ко мне руки, как тогда, когда ты вела меня к нему от ручья?

— Он будет там, — ответила мать. — Но он

не поздоровается с тобой сегодня, и ты тоже не должна здороваться с ним.

— Какой он странный и скучный человек! — сказала девочка, как бы говоря сама с собой. — Темной ночью он зовет нас к себе и держит меня и тебя за руку, и мы стоим с ним вон там, на помосте. И в темном лесу, где нас могут слышать и видеть только старые деревья и кусочек неба, он сидит возле тебя на куче мха и разговаривает! Он целует меня в лоб так, что ручейку никак не смыть этого поцелуя! А здесь, солнечным днем, на глазах у всего народа, он знать нас не знает, и мы не должны его знать! Он странный и скучный человек и всегда держит руку на сердце!

— Успокойся, Перл! Ты ничего не понимаешь, — ответила мать. — Не думай сейчас о священнике, оглянись и посмотри, какие сегодня веселые у всех лица. Дети ушли из школ, а взрослые — с полей и из мастерских и собрались здесь повеселиться. Сегодня новый человек начинает править ими, а поэтому — как повелось у людей, с тех пор как они начали жить вместе, — все веселятся и радуются, словно в жалком старом мире наступил, наконец, долгожданный золотой век!

И действительно, как заметила Гестер, непривычная веселость освещала лица людей. В это

праздничное время года пуритане, соблюдая обычай, который в наши дни насчитывает около двух столетий, радовались и веселились в той степени, в какой считали это допустимым для греховной человеческой природы; тем самым они настолько рассеивали тучи, обычно их обволакивавшие, что в течение этого единственного празднества выглядели, пожалуй, не мрачнее представителей других человеческих сообществ во время народных бедствий.

Но, может быть, мы несколько сгустили серые и черные тона, несомненно характерные для настроения и нравов эпохи. Люди, собравшиеся на рыночной площади Бостона, не унаследовали пуританскую мрачность от рождения. Они были уроженцами Англии, и отцы их знали солнечное богатство елизаветинской эпохи, когда жизнь всей Англии отличалась таким ярким великолепием и весельем, каких никогда не видел мир. Если бы обитатели Новой Англии следовали своим врожденным склонностям, они должны были бы ознаменовывать все события общественного значения кострами, пирами, роскошными зрелищами и торжественными шествиями. Во время праздничных церемоний они могли бы сочетать мирные развлечения с торжественностью,

украсив сверкающей фантастической вышивкой пышную мантию, в которую нация облачается по случаю таких событий. В том, как праздновался первый день политического года в пуританской колонии, можно было уловить тень подобной попытки. Бледным отражением еще не забытого великолепия, бесцветным и слабым подражанием тому, что наши предки видели в гордом древнем Лондоне не только во время коронации, но и при въезде лорд-мэра, было ежегодное торжество, которым они отмечали избрание судей на должности. Отцы и основатели государства — сановник, священник и воин — считали своей обязанностью в день торжества принять важный и величественный вид, какой с древних времен считался подобающим лицам высокого положения в обществе. Все они явились для участия в процессии, которая должна была пройти перед народом, желая придать таким образом необходимое достоинство правительству, столь недавно созданному и еще не возвышенному традицией.

В этот день простому люду разрешалось отдыхать от тяжелых и упорных занятий ремеслами, занятий, в иное время казавшихся неразрывно слитыми с религией. Однако пуританские празднества мало походили на народные гулянья в

Англии царствования Елизаветы[90] или Иакова: здесь не было ни грубых забав в виде балаганных представлений, ни бродячего певца с арфой, исполнителя старинных баллад, ни скомороха с танцевавшей под музыку обезьяной, ни фокусника с трюками, похожими на колдовство, ни веселого петрушки, потешавшего толпу своими прибаутками, может быть столетней давности, но все еще не утратившими своей силы, так как они проникали до самых истоков безобидного веселья. Против всех таких мастеров увеселения были бы приняты суровые меры по воле не только закона, но и общественного мнения, которое придает закону его жизненность. Тем не менее на большом честном лице народа играла, правда суровая, но широкая улыбка. Не было недостатка в спортивных состязаниях, в которых поселенцы когда-то принимали участие на сельских ярмарках и лужайках Англии и которые считали

[90] Примечания: 90

Елизавета (1533–1603) — английская королева из династии Тюдоров. Годы ее правления — 1558–1603 — характеризуются бурным развитием английского капитализма, разгромом Испании, потерявшей господство на море после гибели «Непобедимой армады», восстановлением англиканской церкви и расцветом литературы и театра, в частности — театра Шекспира. Во времена Елизаветы часто устраивались пышные празднества, в которых участвовали не только двор, но и жители Лондона. Противники пуританизма идеализировали эту эпоху, называя ее «старой веселой Англией», в противовес аскетической эпохе Кромвеля.

необходимым сохранить на новой земле, потому что эти игры развивают храбрость и мужество. То тут, то там на рыночной площади происходила борьба по корнуэлским и по девонширским[91] правилам. В одном углу шла дружеская схватка на дубинках. Но наибольший интерес привлек бой, начавшийся на помосте у позорного столба, уже не раз упоминавшемся на наших страницах. Противники сражались, имея в руках щит и палаш. Однако, к большому разочарованию толпы, это зрелище было прервано вмешательством судебного пристава, который не мог допустить такое посягательство на величие закона, как осквернение одного из посвященных ему мест.

В общем не будет преувеличением утверждать, что если сравнить пуритан, в смысле умения устраивать праздники (они ведь тогда проходили лишь первую стадию безрадостного бытия, а отцы их еще умели веселиться), с их потомками, даже столь далекими, как мы, это сравнение будет в их пользу. Их непосредственное потомство, поколение, следовавшее за первыми иммигрантами, отличалось самым черным оттенком пуританизма и так омрачило лик нации, что всех

---

[91] Примечания: 91
Корнуэлл и *Девоншир* — графства на юго-западе Великобритании.

дальнейших лет не хватило на то, чтобы он мог проясниться. Нам еще предстоит вновь обучиться забытому искусству веселья.

Картина рыночной площади, хотя здесь преобладали унылые серые, коричневые и черные тона одежды выселенцев из Англии, все же оживлялась некоторым разнообразием оттенков. Индейцы в размалеванных красной и желтой краской странных нарядах из искусно вышитых оленьих шкур, с ожерельями из раковин, украшенные перьями и вооруженные луками, стрелами и копьями с каменными наконечниками, стояли группой в стороне, и лица их выражали такую непоколебимую угрюмость, какой не могли достигнуть даже пуритане. Но какими странными ни казались эти дикари, все же не они были самыми дикими на празднике. Первенство, по справедливости, принадлежало матросам прибывшего из Караибского моря корабля, которые сошли на берег, чтобы посмотреть торжества в честь дня выборов. Это были отчаянные головорезы с опаленными солнцем лицами и огромными бородами; их широкие короткие штаны закреплялись на талии поясом с золотой, но грубо сделанной пряжкой, за которым всегда торчал длинный нож, а иногда и

шпага. Из-под широкополых шляп, сплетенных из пальмовых листьев, сверкали глаза, которые даже при благодушном и веселом настроении их обладателя сохраняли зверское выражение. Без страха и совести они нарушали все правила приличия, которым подчинялись остальные; они курили табак под самым носом у судебного пристава, хотя каждая затяжка обошлась бы горожанину в целый шиллинг, и в свое удовольствие попивали вино и водку из карманных фляг, которые охотно предлагали глазевшей на них толпе. Подобные послабления замечательно характеризуют несовершенную мораль того века, который мы называем суровым: морякам прощали не только их выходки на берету, но и гораздо более отчаянные дела в их родной стихии. Моряка того времени сейчас признали бы пиратом. Нет никаких сомнений, что, например, матросы корабля, о котором идет речь, хотя их и нельзя было назвать худшими образцами этого класса, говоря современным языком, были виновны в подрыве торговли с Испанией, за что им пришлось бы поплатиться головой в нынешнем суде.

Но море в те далекие времена вздымалось, бурлило и пенилось как ему хотелось, повинуясь только буйному ветру, и законы человека почти

не имели силы на его просторах. Морской разбойник, при желании, мог бросить свой промысел и тотчас стать на берегу честным и набожным человеком, да и в самый разгар его удалой жизни никто не считал предосудительным вести с ним торговые дела или поддерживать знакомство. Поэтому пуританские старшины в черных плащах, накрахмаленных воротниках и остроконечных шляпах лишь снисходительно улыбались, замечая шумное и грубое поведение веселых моряков; а когда такой почтенный гражданин, как старый Роджер Чиллингуорс, появился на рыночной площади, дружески беседуя со шкипером сомнительного судна, это не вызвало ни удивления, ни осуждения.

Пышно разодетый шкипер, несомненно, был самой заметной и самой блестящей фигурой в собравшейся толпе. Его одежда была украшена множеством лент, а шляпу, сверкавшую золотым галуном и окаймленную золотой цепочкой, увенчивало перо. На боку висела сабля, а на лбу горел сабельный шрам, который, судя по прическе шкипера, он скорее выставлял напоказ, чем скрывал. Житель колонии вряд ли посмел бы показаться на людях в таком наряде и с таким самоуверенным видом: судьи подвергли бы его

суровому допросу и, наверно, присудили к штрафу или тюремному заключению, а может быть, и посадили в колодки. Что же касается шкипера, то для него этот наряд казался таким же естественным, как для рыбы — ее блестящая чешуя.

Расставшись с лекарем и бесцельно шатаясь по площади, шкипер бристольского судна приблизился к тому месту, где стояла Гестер Прин, и, узнав ее, не преминул к ней обратиться. Как обычно, возле Гестер образовалось небольшое пустое пространство — нечто вроде волшебного круга, за черту которого никто не отваживался переступить, — хотя совсем рядом люди теснились, толкая друг друга локтями. Это было наглядным проявлением того нравственного одиночества, на которое алая буква обрекла эту женщину частью по ее собственной сдержанности, а частью — вследствие инстинктивной, хотя теперь уже не такой враждебной отчужденности людей. На этот раз такая отчужденность оказалась весьма кстати: она позволила Гестер и моряку поговорить без риска быть услышанными; а репутация Гестер Прин в глазах общества настолько изменилась, что даже самая уважаемая а городе за свое целомудренное поведение матрона не могла бы вести подобный разговор с меньшей опасностью

стать предметом сплетен.

— Знаете, миссис, — сказал моряк, — мне придется приказать помощнику, чтобы он приготовил еще одну койку, кроме заказанных вами! На этот раз нам не страшны ни цинга, ни морская болезнь. Вот только боюсь, как бы наш корабельный лекарь вместе с этим доктором не обкормили нас лекарствами да пилюлями, тем более что на борту у нас полно аптечной дряни, которую я выменял на испанском судне.

— О чем вы говорите? — спросила Гестер, которая была поражена, но постаралась скрыть свое волнение. — Вы берете еще одного пассажира?

— Неужто вы не знаете, — воскликнул шкипер, — что здешний врач… Чиллингуорс, что ли, его звать… намерен тоже плыть с нами? Да вы должны знать об этом: он сказал мне, что едет вместе с вами, что он близкий друг того джентльмена, о котором вы говорили… того, которого преследуют постные пуританские заправилы!

— Они действительно хорошо знакомы, — ответила Гестер внешне спокойно, но с великим смятением в душе. — Они долго жили вместе.

На этом и закончился разговор между моряком и Гестер. И в то же мгновение она увидела самого старого Роджера Чиллингуорса, который стоял на

другом конце рыночной площади. Он улыбался ей, и эта улыбка через всю широкую, заполненную народом площадь, сквозь все разговоры и смех, сквозь все мысли, настроения и интересы множества людей была понятна Гестер во всем своем тайном и зловещем значении.

Глава XXII
ШЕСТВИЕ

Прежде чем Гестер Прин успела собраться с мыслями и решить, что следует предпринять при этом новом и тревожном обороте дел, послышались звуки приближавшейся военной музыки. Они возвещали о том, что торжественная процессия судей и именитых граждан двинулась к молитвенному дому, где по давно установившемуся обычаю преподобный мистер Димсдейл должен был произнести проповедь в честь дня выборов.

Вскоре из-за угла показалась голова шествия, вступившего на площадь медленно и в стройном порядке. Впереди шел оркестр. Он состоял из различных инструментов, возможно не совсем подходивших друг к другу; да и играли на них без большого умения. Все же его музыка достигала главной цели, ради которой барабан и рожок обращаются к толпе: их звуки придавали более возвышенный, более героический оттенок сцене, разыгрывавшейся на глазах у зрителей. Маленькая Перл сначала захлопала в ладоши,

но затем вдруг присмирела, на мгновение утратив ту неугомонность, которая владела ею все утро; с широко открытыми глазами она, подобно парящей чайке, как бы поднималась на волнах нарастающих звуков. Однако прежнее настроение снова вернулось к ней, когда она увидела игру солнечного света на оружии и блестящих доспехах военных, которые шли вслед за музыкантами, образуя почетный эскорт процессии. Этот отряд солдат, — который до сих пор сохранился как военная единица и марширует из прошлых веков, увенчанный древней и честной славой, — состоял не из наемников. Его ряды пополнялись гражданами, испытывавшими призвание к ратному делу и жаждавшими учредить нечто вроде специального учебного заведения, где, наподобие рыцарей-храмовников, они могли бы изучать военную науку и — насколько это возможно путем упражнений в мирной обстановке — также и практику войны. О том, какое высокое уважение в те годы питали к военным, свидетельствовала горделивая осанка каждого из членов этого отряда. Некоторые из них, подлинные участники сражений в Нидерландах или в других частях Европы, честно завоевали право носить звание и мундир солдата. Весь отряд,

закованный в сверкающую сталь, в блестящих шлемах с развевающимися плюмажами, производил то яркое впечатление, с которым не может сравниться зрелище современного парада.

Но гражданские чиновники, которые следовали непосредственно за воинским эскортом, еще более заслуживали внимания вдумчивого наблюдателя. Даже внешние их манеры были отмечены такой величественностью, что надменный шаг воинов казался грубым и почти смешным. Это был век, когда то, что мы называем талантом, ценили значительно меньше, чем сейчас, а уравновешенность и достоинства характера — гораздо больше. В те времена люди обладали, по праву наследования, потребностью кого-либо почитать, которая если и свойственна еще их потомкам, то в гораздо меньшей степени и весьма слабо проявляется при выборах общественных деятелей и при их оценке. Эта перемена может быть и к добру и не к добру, а вернее — она и хороша и плоха. В те далекие дни поселенец, прибыв из Англии на эти дикие берега, оставил позади короля, дворян и все внушительные звания; однако, сохранив стремление и потребность к благоговейному уважению, он перенес его на седины и почтенное чело старости, на испытанную честность,

на трезвую мудрость и тяжелый житейский опыт, то есть на те суровые и существенные качества, которые связаны с мыслью о постоянстве и называются порядочностью. Поэтому первые государственные деятели — Брэдстрит,[92] Эндикот,[93] Дадли,[94] Беллингхем и их товарищи, которые раньше других были облечены властью по воле народа, отличались тяжеловесным здравомыслием, но не блистали ярким умом. Они обладали силой воли и уверенностью в себе и, в трудные или опасные для страны дни стояли несокрушимо, как утесы, о которые разбивается бурный прибой. Эти свойства характера были ясно выражены в крупных чертах лица и могучем телосложении выборных судей колонии. Что же касается естественной властности их манер, то

---

[92] Примечания: 92

Брэдстрит, Саймон (1603–1697) — политический деятель. Прибыл в Новую Англию в 1630 году вместе с группой Уинтропа. В 1679–1686 годах был губернатором Массачусетса. Его жена Анна Брэдсгрит (1612–1672) была известной пуританской писательницей.

[93] Примечания: 93

Эндикот, Джон (1585–1665) — один из главных организаторов колонии Массачусетс. С небольшой группой спутников прибыл в Новую Англию на «Эбигейл» в 1629 году, осуществлял руководство колонией до приезда основной партии колонистов во главе с Джоном Уинтропом. Впоследствии был губернатором Массачусетса в 1644, 1649, 1651–1653 и 1655–1664 годах. Готорн нарисовал его образ в новеллах «Эндикот и красный крест» и «Майский шест на Веселой горе», в которых подчеркивал железную волю и смелость Эндикота и вместе с тем его ригористскую ограниченность и фанатизм.

[94] Примечания: 94

Дадли, Томас (1576–1653) — губернатор колонии Массачусетс в 1634, 1640, 1645 и 1650 годах.

отчизне нечего было бы стыдиться, увидев этих выдающихся людей истинной демократии среди членов палаты лордов[95] или в составе тайного совета при монархе.[96]

Следом за судьями шел талантливый молодой богослов, от которого сегодня ожидали проповеди в честь ежегодного события. В те времена люди его профессии чаще проявляли свою одаренность, чем участники политической жизни, ибо — оставляя в стороне высшую побудительную причину — сама почтительность толпы, доходившая до благоговения, уже была стимулом, вдохновлявшим священников на высшее напряжение своих духовных сил. Даже политическая власть, как показывает пример Инкриса Мэзера,[97] не была недосягаемой для способного

---

[95] Примечания: 95

Палата лордов — верхняя палата английского парламента. В XVII веке играла решающую роль в управлении страной. В настоящее время обладает лишь правом откладывать обсуждение законопроектов, принятых палатой общин.

[96] Примечания: 96

Тайный совет при монархе — формально считается высшим органом королевского управления в Великобритании. Состоит из министров и других лиц, назначаемых королем. Однако в настоящее время, в отличие от эпохи, описываемой Готорном фактическая власть находится в руках кабинета министров, состоящего лидеров партии парламентского большинства.

[97] Примечания: 97

Инкрис Мэзер (1639–1723) — священник в Бостоне, ректор Гарвардского

университета и один из наиболее влиятельных политических деятелей в Массачусетсе. Начиная с 1692 года, его репутация была сильно подорвана салемеким «ведовским» процессом, проводившимся при ближайшем участии его сына Котона Мэзера.

пастыря.

Однако тем, кто видел, как мистер Димсдейл шел теперь в рядах процессии, казалось, что, ступив на берег Новой Англии, он никогда не проявлял такой энергии в походке и осанке, как сейчас. Его шаг был тверд, стан выпрямлен, а рука не покоилась зловеще на сердце. Все же если бы на священника взглянули более внимательно, то могли бы заметить, что эта энергия проистекала не от бодрости тела. Ее источником была бодрость духа, которую он обрел с помощью ангелов. А может быть, ее породило то могучее сердечное лекарство, которое готовится только в горниле серьезного и долгого раздумья. Или, возможно, на его чувствительную натуру благотворно действовали громкие и пронзительные звуки музыки, которые, поднимаясь ввысь, вздымали его на своих волнах. Однако мистер Димсдейл смотрел перед собой таким отрешенным взглядом, что можно было усомниться даже в том, слышит ли он вообще эту музыку. Его тело двигалось вперед с необычной энергией. Но где был его разум? Од был далеко, и глубоко погружен в себя, ибо производил смотр тем величественным мыслям, которые готовился поведать. Поэтому пастор ничего не видел, ничего не слышал, ничего не за-

мечал из того, что творилось вокруг него; только дух поддерживал слабое тело и нес, не чувствуя тяжести и превращая его в такой же дух, как он сам. Люди большого ума, но болезненные и слабые, обладают этой способностью к мгновенному и могучему напряжению: они вкладывают в него всю жизненную силу многих дней, а потом столько же дней лежат в изнеможении.

Гестер Прин, не сводившая глаз с пастора, почувствовала, что ею овладевает мрачное предчувствие. Она сама не могла бы объяснить его причину, но видела, что пастор теперь бесконечно далек, недосягаем для нее. А ведь ей нужен был лишь один его взгляд! Она вспоминала темный лес с маленькой уединенной лощиной любви и страданий, заросший мхом ствол дерева, на котором они сидели рука об руку, их печальные и страстные речи, сливавшиеся с меланхоличным журчанием ручья. Как хорошо они тогда понимали друг друга! И это тот самый человек? Она с трудом узнавала его! Он, гордо прошедший мимо под громкие звуки музыки вслед за почтенными и именитыми гражданами; он, такой далекий и недоступный, особенно теперь, когда между ними была вереница чуждых ей мыслей, волновавших его! Она с тоской поняла, что все

было миражем и что, как бы она о том ни мечтала, между ней и священником не могло быть настоящей душевной близости. И так много от женщины было в Гестер, что она не могла простить пастору, — особенно в эту минуту, когда тяжелая поступь их судьбы слышалась ближе, и ближе, и ближе, — что он ушел из их общего мира, в то время как она ощупью брела во тьме, протягивая холодные руки и не находя друга.

Перл, по-видимому, заметила волнение матери или сама почувствовала ту отчужденность и неприкосновенность, которые окружали священника. Когда процессия проходила мимо, девочка не могла устоять на месте и трепетала, как птица перед полетом. Когда все прошли, она подняла глаза на Гестер.

— Мама, — сказала она, — это был тот же самый священник, который поцеловал меня в лесу у ручья?

— Тише, моя дорогая Перл! — зашептала мать. — На рыночной площади не место говорить о том, что случилось с нами в лесу.

— Мне кажется, это не он; этот человек показался мне очень странным, — продолжала девочка. — Не то я подбежала бы к нему и попросила поцеловать меня сейчас на глазах у всех, как

он это сделал в темном старом лесу. Что ответил бы священник, мама? Прижал бы руку к сердцу, рассердился и прогнал меня?

— Он ответил бы тебе, — сказала мать, — что теперь не время целоваться и что поцелуи не раздают на рыночной площади. Счастье твое, глупышка, что ты не заговорила с ним!

Такое же впечатление, но с несколько иным оттенком, произвел мистер Димсдейл на особу, чьи странности — или, лучше сказать, чье безумие — позволили ей сделать то, на что решились бы немногие жители города: на глазах у всего народа она заговорила с носительницей алой буквы. Это была миссис Хиббинс, одетая в великолепное платье из дорогого бархата с тройными брыжами и вышитым корсажем; опираясь на трость с золотым набалдашником, она пришла посмотреть на торжественное шествие. Поскольку престарелая леди была известна (эта известность впоследствии стоила ей жизни) своим непременным участием во всех деяниях черной магии,[98] процветавшей в то время, тол-

[98] Примечания: 98

Черная магия — согласно распространенному в средние века суеверию, возможность вступить в общение с дьяволом и с его помощью добыть себе богатство и успех. Отличается от белой магии, при которой человеку помогают не злые, а добрые духи.

па расступилась перед ней, боясь, казалось, даже прикосновения к ее платью, словно в его пышных складках таилась чума. Когда ее увидели рядом с Гестер Прин, — как ни благосклонно смотрели многие на последнюю, — ужас, внушаемый миссис Хиббинс, удвоился, и все отхлынули с той части площади, где стояли эти две женщины.

— Нет, вы только подумайте! — доверительно зашептала старуха. — Такой благочестивый человек! Люди считают его святым, и, должна признаться, он действительно похож на святого! Разве можно подумать, глядя на него, когда он идет в рядах процессии, что лишь недавно он отправился из своего кабинета, — наверно, вспоминая какой-нибудь древнееврейский библейский текст, — на прогулку в лес. Ха-ха! Мы-то знаем, что это означает, Гестер Прин! Но, честно говоря, я не уверена, что это тот самый человек. Многих почтенных прихожан, идущих сейчас за музыкантами, видела я, когда они плясали со мной под скрипку, на которой играл сама знаешь кто, а рука об руку с нами кружился индейский колдун или лапландский шаман! Этим не удивишь женщину, которая знает свет. Но священник! Ты уверена, Гестер, что он тот самый человек, который встретился с тобой на лесной

тропинке?

— Сударыня, я не понимаю, о чем вы говорите, — ответила Гестер Прин, видя, что миссис Хиббинс не в своем уме, но все же смущенная и напуганная ее уверенностью в существовании связи между многими людьми (в том числе и ею самой) и дьяволом. — Мне не подобает непочтительно отзываться о таком ученом и набожном проповеднике слова божьего, как преподобный мистер Димсдейл!

— Стыдно, милая, стыдно! — закричала старуха, грозя Гестер пальцем. — Неужели ты думаешь, что я, так часто бывая в лесу, не знаю о том, кто еще ходит туда? Я все знаю, хотя ни одного лепестка из венков, в которых они пляшут, не остается в их волосах! Я знаю и тебя, Гестер, ибо ты носишь клеймо. Оно видно при солнечном свете, а в темноте горит ярким пламенем. Ты носишь его открыто, поэтому незачем говорить о тебе. Но священник! Позволь мне шепнуть тебе на ушко! Когда Черный человек замечает, что его слуга, который скрепил с ним договор подписью и печатью, стыдится своей связи с ним, как стыдится мистер Димсдейл, он устраивает так, что клеймо само предстает перед глазами всего мира при дневном свете! Ты знаешь, что священник

прикрывает рукой, которую он всегда держит на сердце? А, Гестер Прин?

— Что, добрая миссис Хиббинс? — с жадным любопытством спросила маленькая Перл. — Ты видела?

— Это неважно, дорогая! — ответила миссис Хиббинс, низко приседая перед Перл. — Ты сама увидишь не сегодня, так завтра. Говорят, дитя, что твой отец — князь воздуха! Полетишь ли ты со мной как-нибудь ночью навестить своего отца? Тогда ты узнаешь, почему священник держит руку на сердце!

С пронзительным смехом, огласившим всю рыночную площадь, жуткая старуха удалилась.

К этому времени в церкви закончилось предварительное моление, и послышался голос преподобного мистера Димсдейла, начавшего свою проповедь. Непреодолимое влечение заставило Гестер подойти ближе. Но так как в церкви и без нее было полно народу, она остановилась у помоста с позорным столбом. Отсюда можно было услышать всю проповедь; правда, слова были неясны, но своеобразный, богатый оттенками, журчащий и льющийся голос священника доносился отчетливо.

Этот голос сам по себе был богатейшим даром,

и слушатель, даже не понимая языка проповедника, все же бывал захвачен тембром и ритмом. Подобно всякой музыке, он дышал страстью и пафосом, чувствами высокими и нежными. Это был родной язык для человеческого сердца, где бы оно ни было воспитано. Гестер Прин так жадно внимала этим звукам, хотя и заглушенным церковными стенами, и так была полна ответного чувства, что сама проповедь, независимо от слов, которых она не различала, все время была ей понятна. Возможно даже, что если бы слова были слышны более отчетливо, они могли бы явиться только преградой, мешающей духовному восприятию. Звуки, которые она ловила, то понижались, как будто это стихал ветер, ложась на покой, то повышались, сладостные и мощные, пока не окутали ее атмосферой благоговейного и торжественного величия. И все же, несмотря на стихийную силу, которую иногда приобретал этот голос, в нем все время таилась невыразимая грусть. Громок он был или тих, был ли то шепот или вопль страждущего человечества, — он будил чувство в каждом сердце! Временами можно было уловить только эту глубокую ноту отчаяния, подобную вздоху в безмолвной тишине. Но даже когда голос священника становился твердым и

властным, когда он неудержимо устремлялся ввысь, когда он достигал наибольшей широты и мощи, наполняя церковь так, что, казалось, готов был прорваться сквозь толстые стены и рассеяться в воздухе, — даже тогда, если внимательно прислушаться, можно было уловить тот же мучительный стон. Что же это было? Это был вопль человеческой души, удрученной горем, быть может виновной, раскрывающей тайну своей тоски — своего греха или горя — перед великой душой человечества, каждым словом и звуком молящей об участии или прощении — и не напрасно! Именно эти глубокие, едва уловимые ноты в голосе священника и придавали ему такую могучую власть над людьми.

Неподвижно, как статуя, стояла Гестер у подножья эшафота. Если бы голос священника и не удерживал ее там, все равно какая-то магическая сила приковывала ее к месту, где она перенесла первые часы своего позора. В ней жило какое-то ощущение — слишком неопределенное, чтобы назвать его мыслью, но непрерывно сверлившее мозг, — что вся орбита ее жизни — и прежней и дальнейшей — связана с этим местом, которое одно придает ей единство.

Тем временем маленькая Перл отошла от ма-

тери и развлекалась по-своему на рыночной площади. Мелькая светлым, игривым лучом, она оживляла мрачную толпу, подобно тому как птичка с ярким оперением, то скрываясь в гуще темной листвы, то появляясь из нее, освещает все дерево. Ее быстрые движения были то плавны, то порывисты и причудливы. Они указывали на непоседливую живость натуры, а сегодня девочка была особенно неутомима; она то поднималась на цыпочки, то приплясывала, ибо тревога матери заражала ее. Как только что-нибудь возбуждало ее всегда живое, но мимолетное любопытство, она, можно сказать, летела к занимавшему ее человеку или вещи и немедленно овладевала ими как своей собственностью, но даже при этом ни на минуту не допускала хотя бы малейшего притязания на свои чувства. Пуритане глядели на нее и если улыбались, то все же были склонны считать ее дьявольским отродьем: уж слишком она была хороша, слишком необычна — ее сиявшая и сверкавшая маленькая фигурка, слишком неожиданны — ее поступки. Она подбежала к дикарю индейцу, заглянула ему прямо в лицо, и он почувствовал, что перед ним натура еще более дикая, чем он сам. Затем, смелая от природы, — хотя умевшая быть и сдержанной, — она влетела

в толпу матросов, загорелых дикарей океана, подобно тому как индейцы были дикарями суши. Смуглолицые моряки не отрывали удивленных и восхищенных глаз от Перл; им казалось, будто эта девочка соткана из брызг пены, а душа ее сотворена из того блеска, которым море сверкает за кормой по ночам.

Один из этих мореходов — шкипер, который разговаривал с Гестер Прин, — был так восхищен наружностью Перл, что попытался поймать ее и поцеловать. Убедившись, что дотронуться до нее так же трудно, как поймать на лету колибри, он снял с шляпы золотую цепочку и бросил девочке. Перл тотчас же так искусно расположила ее на шее и груди, что цепочка вдруг сделалась ее неотъемлемой принадлежностью и потом уже трудно было представить себе девочку без этого украшения.

— Та женщина с алой буквой твоя мать? — спросил моряк. — Ты можешь передать ей несколько слов от меня?

— Если эти слова понравятся мне, передам, — ответила Перл.

— Тогда скажи ей, — продолжал он, — что я снова разговаривал с этим угрюмым кривобоким стариком врачом; он берется сам привести на ко-

рабль своего приятеля, джентльмена, о котором она хлопочет. Так пусть твоя мать позаботится только о себе и о тебе. Ты передашь ей это, маленькая колдунья?

— Миссис Хиббинс сказала, что мой папа — князь воздуха! — крикнула Перл с недоброй улыбкой. — Если ты будешь называть меня таким гадким именем, я расскажу ему про тебя, и он нашлет бурю на твой корабль!

Девочка зигзагами пробралась через площадь и, вернувшись к матери, передала ей слова моряка. Твердый, спокойный, закаленный в страданиях дух Гестер, наконец, почти изнемог, ибо она увидела перед собой темный и мрачный лик неизбежного рока, который в тот самый день, когда, казалось, священник и Гестер нашли выход из тупика бедствий, с жестокой улыбкой встал на их пути.

Потрясенная ужасным сообщением шкипера, не зная на что решиться, она изнывала еще и от другой пытки. На праздник явилось много народу из ближней округи: до этих людей доходили ложные и преувеличенные слухи о страшной алой букве, но они никогда не видели ее своими глазами. Исчерпав все другие забавы, они теперь грубо и назойливо толпились вокруг Гестер Прин,

однако при всей своей беззастенчивости все же держались на расстоянии нескольких шагов. Так они стояли, удерживаемые центробежной силой боязни, которую внушал всем таинственный знак. Матросы, заметив толпу зрителей и узнав о значении алой буквы, тоже подошли ближе, просунув в круг загорелые разбойничьи лица. Даже на индейцев пала холодная тень любопытства белых, и, проскользнув в толпу, они уставились своими змеиными черными глазами на грудь Гестер, вероятно принимая ту, которая носила такое чудесно вышитое украшение, за особу, занимавшую важное положение среди своего народа. Наконец и жители города от нечего делать (их собственный интерес к этой старой истории отчасти пробудился вновь при виде любопытства посторонних) тоже присоединились к толпе, причиняя Гестер своими равнодушными, давно привычными взглядами, пожалуй, больше мучений, чем все остальные. Гестер узнавала в толпе тех самых женщин, которые семь лет назад ожидали ее выхода из дверей тюрьмы; не было лишь одной, самой молодой и единственной сострадательной: Гестер сама сшила для нее саван. Как странно, что именно в этот последний час, когда она уже готова была сбросить с себя

горящую букву, та внезапно стала предметом особенного внимания и поэтому терзала ей грудь не менее мучительно, чем в тот день, когда она впервые надела ее.

А пока Гестер стояла в этом магическом кругу позора, на который, казалось, навсегда обрек ее коварный приговор, замечательный проповедник взирал с высоты священной кафедры на своих слушателей, чьи самые сокровенные думы подчинялись его власти. Священнослужитель во храме! Женщина с алой буквой на рыночной площади! Чье воображение осмелилось бы предположить, что на них было одинаковое жгучее клеймо!

Глава XXIII
ТАЙНА АЛОЙ БУКВЫ

Проникновенный голос, звуки которого возносили души слушателей, как вздымающиеся морские волны, наконец умолк. На миг воцарилось молчание, такое глубокое, словно толпа услышала вещания прорицателя. Затем послышался шепот и заглушенный гул, как будто люди освободились из-под власти высоких чар, перенесших их в область чужого духа, и пришли в себя, все еще исполненные чувства благоговейного страха. А через минуту толпа хлынула из дверей церкви. Теперь, когда все закончилось, людям нужен был иной воздух, более подходящий для того, чтобы поддерживать бренное земное существование, к которому они вновь возвратились, чем та атмосфера, которую проповедник превратил в пламенные слова и напоил богатым ароматом своей мысли.

На свежем воздухе восторг толпы разрядился общим говором. Рыночная площадь и улица от края до края буквально кипели похвалами священнику. Его слушатели не могли успоко-

иться, пока не поделились друг с другом тем, что каждый из них чувствовал лучше, чем был в состоянии высказать. По общему мнению, никогда еще ни один человек не говорил так мудро, так возвышенно и так благочестиво, как мистер Димсдейл, и никогда еще более вдохновенные слова не слетали с человеческих уст. Влияние этого вдохновения было очевидно: оно осеняло его, нисходило на него, охватывало его всего, заставляя забывать о той написанной проповеди, что лежала перед ним, и внушая ему мысли, должно быть не менее удивительные для него самого, чем для его слушателей. Он говорил о союзе божества с христианскими общинами, особенно с общинами Новой Англии, которые ее обитатели основывали здесь, в пустыне. И когда он заканчивал проповедь, им овладел дух пророчества с не меньшей силой, чем он овладевал древними пророками Израиля, с той разницей, что еврейские провидцы возвещали суд над своей отчизной и ее гибель, он же предсказывал высокую и славную судьбу нации, только что созданной богом. Но и в этих торжественных словах и во всей его проповеди слышался глубоко печальный пафос; его можно было истолковать только как естественную грусть человека, кото-

рый вскоре покинет этот мир. Да, священник, которого они так любили и который так любил их, что не мог вознестись на небо без вздоха сожаления, предчувствовал свою безвременную кончину и вскоре должен был покинуть своих скорбящих прихожан! Эта мысль о скорой смерти придавала особую силу впечатлению, производимому проповедником; казалось, ангел, воспаряя в небеса, потряс на мгновение светлыми крылами, одновременно даруя и тень и блеск, и обронил ливень золотых истин.

Так преподобный мистер Димсдейл, подобно большинству людей из самых различных слоев общества, — хотя они обычно сознают это слишком поздно, когда все уже позади, — вступил в новый период жизни, более блистательный и наполненный торжеством, чем все пройденные в прошлом и возможные в будущем. В эту минуту он достиг высочайшей вершины гордого превосходства над людьми, на которую дар глубокого ума, обильные знания, убедительное красноречие и слава безупречной святости могли вознести священника ранних дней Новой Англии, когда духовный сан сам по себе был достаточно высоким пьедесталом. В таком положении находился пастор, когда он склонял голову к подушкам

кафедры, заканчивая проповедь в честь дня выборов. А Гестер Прин в это же время стояла у помоста с позорным столбом, и алая буква горела у нее на груди!

Вновь загремела музыка, и послышались мерные шаги воинского отряда, выходившего из дверей церкви. Отсюда процессии предстояло проследовать в ратушу, где торжественный банкет должен был завершить все церемонии дня.

И вновь шествие почтенных и величественных старцев, во главе с губернатором, судьями, священнослужителями и всеми именитыми и известными людьми, двинулось по широкому проходу, образованному почтительно расступавшейся толпой. Когда они вступили на рыночную площадь, их появление было встречено громкими приветственными возгласами. Хотя громогласность этих возгласов усиливалась детской преданностью, которой тот век награждал своих правителей, однако здесь не мог не сказаться неудержимый взрыв энтузиазма, возбужденный высоким красноречием, все еще звеневшим в ушах слушателей. Каждый ощущал в себе какой-то порыв и улавливал его в соседе. В церкви этот порыв еще сдерживался, но под открытым небом он рвался вверх. Здесь было

достаточно человеческих существ и достаточно разгоряченных и созвучных чувств, чтобы издать крик более внушительный, чем органные ноты бури, или гром, или рев моря, — могучий глас всеобщего восторга, который сливал воедино все сердца и все голоса. Никогда еще с земли Новой Англии не возносился подобный возглас! Никогда еще на земле Новой Англии не стоял человек, чтимый своими согражданами так, как этот проповедник!

А как же сам священник? Не сверкали ли в воздухе частицы нимба вокруг его головы? Неужели шаги его еще оставляли след в земной пыли, когда он, столь вознесенный устремлением своего духа и столь обожествляемый почитателями, шел вместе с процессией?

Ряды воинов и отцов города проходили по площади, и взоры всех устремились туда, где среди других шествовал священник. Но по мере того как стоявшие в толпе успевали одни за другими разглядеть его, восторженный крик замирал, сменяясь шепотом. Каким слабым и бледным качался он в час своего триумфа! Энергия, нет, скорее вдохновение, которое черпало свою силу в небесах и поддерживало его, пока он не передал священную весть, теперь, так достойно выпол-

нив свою задачу, покинуло его. Жар, еще недавно пылавший на его щеках, угас, как безвозвратно гаснет пламя среди остывающего пепла. Глядя на его мертвенно-бледное лицо, трудно было поверить, что это лицо живого человека; видя, с каким трудом он передвигал ноги, едва не падая, трудно было поверить, что это человек, в котором еще теплится жизнь!

Его духовный собрат, преподобный Джон Уилсон, заметив состояние, в котором находился мистер Димсдейл, после того как прилив вдохновения и энергии покинул его, поспешил к нему на помощь. Священник неверным жестом, ко решительно отклонил руку старика. Он все еще шел вперед, если можно так сказать о его движениях, больше напоминавших первые неуверенные шаги ребенка, которого манят вперед протянутые руки матери. Пройдя еще немного, он поравнялся с тем памятным ему, потемневшим от ненастья помостом, где много лет назад — лет, полных горьких страданий, — Гестер Прин выдерживала презрительные взоры толпы. И снова Гестер стояла там, держа за руку маленькую Перл! И алая буква сверкала у нее на груди! Музыка все еще играла величественный и веселый марш, под звуки которого двигалась процессия, но священник

остановился. Эти звуки звали его вперед, вперед на праздник! Но он стоял неподвижно.

Уже несколько минут Беллингхем с тревогой следил за ним. Покинув свое место в процессии, он приблизился, чтобы помочь мистеру Димсдейлу, который, казалось, вот-вот упадет. Однако что-то во взгляде священника остановило судью, хотя он нелегко поддавался смутным токам, передающимся от одного человека к другому. Толпа между тем продолжала смотреть на священника с благоговением и трепетом. Эта земная слабость казалась ей лишь новым выражением его духовной силы, и никто не был бы поражен, если бы такой святой человек на глазах у всех вознесся ввысь, становясь все прозрачнее и светлее, пока, наконец, не слился бы с сиянием неба.

Пастор повернулся к помосту и простер руки.

— Гестер, — сказал он, — подойди сюда! Подойди, моя маленькая Перл!

В его взоре, устремленном на них, было что-то страдальческое и вместе с тем что-то нежное и странно торжествующее. Девочка, всегда легкая, как птичка, подбежала к нему и обхватила руками его колени. Гестер Прин — медленно, словно побуждаемая неизбежным роком, которому не могла противиться даже ее сильная воля, сде-

лала несколько шагов и остановилась. В то же мгновение старый Роджер Чиллингуорс, видя, что жертва готова ускользнуть из его рук, протиснулся сквозь толпу, а может быть, поднялся из преисподней, — настолько мрачным, тревожным и злобным был его взгляд! Собрав все свои силы, старик бросился вперед и схватил священника за руку.

— Остановись, безумный! Что ты делаешь? — зашептал он. — Удали эту женщину! Прогони ребенка! Все еще уладится! Не губи своей славы, сохрани свою честь перед смертью! Я еще могу спасти тебя! Неужели ты хочешь навлечь позор на свой священный сан?

— А, искуситель! Ты опоздал! — ответил священник, глядя на него со страхом и все же не отводя глаз. — Ты потерял власть надо мной! Милосердие божие спасет меня!

Он снова простер руку к женщине с алой буквой на груди.

— Гестер Прин, — воскликнул он, и в его голосе звучала глубокая искренность, — именем всеблагого и всемогущего, дарующего мне в последние минуты силы искупить мой тяжкий грех, семь лет тяготевший надо мной, заклинаю тебя подойти сюда и помочь мне! Поделись со мной

своей силой, Гестер, но пусть ею руководит воля, которую мне ниспослал господь! Этот жалкий, обиженный человек противится моему намерению всей силой — всей своей силой и силой дьявола! Подойди ко мне, Гестер! Помоги мне взойти на помост!

Толпа пришла в смятение. Сановники и старейшины, стоявшие ближе других к священнику, были захвачены врасплох; их так потрясла происходившая на их глазах сцена, что они не могли ни принять напрашивавшееся объяснение, ни придумать иное и оставались безмолвными и бездеятельными свидетелями правосудия, которое готовилось свершить провидение. Они видели, как священник, опираясь на плечо Гестер и поддерживаемый ее рукою, приблизился к помосту и с помощью женщины поднялся по его ступеням, все еще держа в своей руке ручку рожденного в грехе ребенка. Старый Роджер Чиллингуорс последовал за ними, как человек, неразрывно связанный с этой драмой греха и горя и поэтому имевший право присутствовать при ее финале.

— Во всем мире, — сказал он, мрачно глядя на священника, — не существует такого тайника ни на вершинах гор, ни в недрах земли, где ты мог бы скрыться от меня, кроме этого эшафота!

— И я благодарю бога за то, что он привел меня сюда! — ответил священник.

И хотя он весь дрожал и смотрел на Гестер с сомнением и тревогой во взоре, на губах его играла легкая улыбка.

— Разве это не лучше, — прошептал он, — чем то, о чем мы мечтали в лесу?

— Не знаю! Не знаю! — быстро ответила она. — Лучше? Так мы, наверно, оба умрем, и маленькая Перл умрет вместе с нами.

— Ты и Перл должны ждать веленья божьего, — сказал священник, — а господь милосерд! Теперь дай мне выполнить его святую волю, которую он мне открыл. Ибо час мой пробил, Гестер! Я должен поспешить и принять свой позор на себя!

Опираясь на Гестер Прин и держа за руку маленькую Перл, преподобный мистер Димсдейл обратился к уважаемым и почтенным правителям, к благочестивым священникам — своим собратьям, к народу, чье великое сердце, хотя и сжималось от ужаса, все же было полно горячего сочувствия, словно уже знало, что сейчас перед ним раскроется глубокая тайна жизни, исполненной греха, но также — страданий и раскаяния. Солнце, едва перейдя за полдень, ярко освещало священника, придавая четкость его фигуре, когда

он, отделяясь от всего земного, предавал себя в руки вечного судии.

— Народ Новой Англии, — воскликнул он, и голос его взлетел ввысь, высокий, торжественный и величественный, хотя в нем слышался трепет, а иногда стон, прорывавшийся из бездонной глубины раскаяния и тоски, — народ, любивший меня! Ты, считавший меня праведником, взгляни на меня — величайшего грешника на земле! Наконец, наконец я стою на том месте, где должен был стоять семь лет назад вместе с женщиной, рука которой помогла мне взойти сюда и в эту страшную минуту удерживает меня от падения! Взгляните, вот алая буква, которую носит Гестер! Вы все содрогались при виде ее! Куда бы Гестер ни шла, сгибаясь под бременем этой страшной ноши, куда бы она ни обращалась в надежде найти покой, везде зловеще светилась алая буква, сея страх и отвращение. Но среди вас стоял человек, тоже с клеймом позора на груди, и вы не содрогались.

В это мгновение могло показаться, что священник уже не сможет раскрыть тайну до конца. Но он поборол свою телесную слабость и духовное изнеможение, которое грозило им овладеть. Он отстранил руку помощи и шагнул вперед, став

перед женщиной и ребенком.

— На этом человеке клеймо! — настойчиво и страстно продолжал священник, ибо он стремился высказать все. — Взор божий видел его! Ангелы всегда указывали на него! Дьявол знал о нем и постоянно растравлял его прикосновением своего палящего перста! Но человек этот искусно скрывал свое клеймо от людей; он ходил среди вас, печальный, потому, считали вы, что ему, такому чистому, не место в грешном мире! Он был грустен, и вы думали, что он тоскует по своим родным небесам! Теперь, в свой смертный час, он предстает перед вами! 0л просит вас снова взглянуть на алую букву Гестер! Он говорит вам, что, несмотря на весь таинственный ужас, внушаемый этой буквой, она — лишь тень того, что он носит на груди своей, но и этот красный знак — лишь слабое подобие того клейма, которое испепелило его сердце! Кто здесь еще сомневается в суде божьем над грешником? Смотрите! Вот страшное доказательство!

Судорожным движением он сорвал с груди свою священническую повязку. Тайна была раскрыта! На мгновение глазам объятой ужасом толпы предстало страшное чудо, а лицо священника светилось торжеством, как у человека, одержавшего

победу, несмотря на невыносимые страдания. Потом он медленно опустился на помост. Гестер приподняла его голову и положила себе на грудь. Старый Роджер Чиллингуорс опустился рядом с ним на колени, и на лице его застыло бессмысленное и безжизненное выражение.

— Ты ускользнул от меня! — повторил он несколько раз. — Ты ускользнул от меня!

— Да простит тебя бог! — сказал священник. — Ты тоже тяжко грешил.

Он отвернулся от старика и устремил свой потухающий взор на женщину и ребенка.

— Моя малютка Перл, — тихо сказал он, и на лице его сияла нежная и кроткая улыбка, отсвет души, готовой уйти на вечный покой; теперь, когда тяжесть спала с него, казалось, что он даже готов шутить с ребенком. — Дорогая моя Перл, может, теперь ты поцелуешь меня? Ты не хотела сделать это в лесу! А теперь?

И Перл поцеловала его в губы. Чары развеялись. Великая сцена горя, в которой девочка принимала участие, разбудила в ней дремавшие чувства; и слезы ее, упавшие на щеку отца, были залогом того, что она будет расти среди человеческих радостей и печалей не затем, чтобы бороться с этим миром, а чтобы стать в нем женщиной.

И миссия Перл как посланницы страданий для матери тоже была теперь выполнена.

— Гестер, — сказал священник, — прощай!

— Неужели мы не встретимся вновь? — прошептала она, склоняя свое лицо к его лицу. — Неужели и в том, лучшем мире мы не будем вместе? Мы искупили своя грех в страданиях! Твой угасающий взор смотрит далеко в вечность! Скажи мне, что ты там видишь?

— Тише, Гестер, тише! — с благоговейным трепетом произнес он. — Мы нарушили закон!.. Наш грех виден всем!.. Пусть только это останется в мыслях твоих! Я боюсь! Боюсь! Мы забыли нашего бога и нарушили святость чужой души, поэтому, может быть, мы напрасно надеемся, что встретимся потом, в непреходящем и чистом союзе. Об этом знает лишь бог, но он милосерд! Он был бесконечно милостив, послав мне мои страдания, послав мне огненную пытку, терзавшую мою грудь. Послав того мрачного, страшного старика, который всегда поддерживал пламя моей пытки! Приведя меня сюда, чтобы я умер перед людьми смертью того, кто торжественно испил чашу позора! Не испытав хотя бы одной из этих пыток, я погиб бы навеки! Да святится имя его! Да будет воля его! Прощай!

Последнее слово слетело с уст священника вместе с последним вздохом. Тысячи людей, дотоле безмолвных, разразились скорбным гулом благоговения и удивления, который тяжело прокатился вслед за отлетевшим духом.

Глава XXIV
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спустя много дней, когда прошло достаточно времени для того, чтобы люди могли осмыслить описанную выше сцену, появились совершенно различные толкования того, что произошло на помосте.

Большинство очевидцев уверяли, что на груди несчастного священника видели алую букву — точное подобие той, которую носила Гестер Прин. Эта буква запечатлелась на его теле. Что же касается ее происхождения, то его объясняли по-разному, конечно лишь предположительно. Некоторые утверждали, что в тот самый день, когда Гестер Прин впервые надела эмблему позора, преподобный мистер Димсдейл приступил к покаянию, которое затем тщетно продолжал в различных формах, подвергая себя ужасным пыткам. Другие говорили, что клеймо появилось лишь через много времени, когда могущественный чернокнижник, старый Роджер Чиллингуорс, вызвал его наружу при помощи волшебных и ядовитых зелий. Третьи, на кото-

рых особенное впечатление произвели высокие чувства священника и удивительное преобладание его духа над телом, шепотом высказывали догадку, что клеймо само появилось на его груди, вследствие постоянных угрызений совести, терзавших изнутри его сердце, пока страшная буква не вышла наружу, как явное свидетельство божьего суда. Читатель может выбрать любое из этих предположений. Мы, со своей стороны, рассказали все, что нам стало известно об этом знамении, и были бы рады теперь, когда оно выполнило свою миссию, изгладить его глубокий след из нашей собственной памяти, где длительное размышление закрепило его с весьма тягостной отчетливостью.

Странным было, однако, то, что некоторые очевидцы всей этой сцены заявляли, будто грудь преподобного мистера Димсдейла была чиста, как грудь новорожденного ребенка, и что хотя они ни на миг не сводили глаз со священника, тем не менее не усмотрели никакого знака на его груди. Они уверяли, что в своих предсмертных словах пастор не только ни в чем не признался, но и ничем не намекнул на свою причастность, пусть даже отдаленную, к проступку, за который Гестер Прин была осуждена пожизненно носить

на груди алую букву. Эти почтенные свидетели утверждали, будто священник, чувствуя приближение смерти и понимая, что благоговеющая толпа уже причислила его к лику святых, пожелал испустить дух на руках падшей женщины, дабы показать миру, насколько сомнительна праведность самого чистого из людей. Посвятив свою жизнь борьбе за духовное благо человечества, он сделал и смерть свою притчей, чтобы преподать своим почитателям великий и печальный урок, гласивший, что перед ликом пречистого все мы равно грешны. Он хотел научить их тому, что самый праведный из нас лишь настолько возвышается над своими братьями, чтобы яснее понять милосердие, взирающее на землю, и увереннее отвергнуть призрак человеческих заслуг, взирающий на небеса, в надежде на воздаяние. Не оспаривая этой важной истины, мы все же позволим себе считать эту версию истории мистера Димсдейла только примером той упрямой преданности, с какой друзья человека, особенно священника, иногда отстаивают его честное имя, хотя доказательства, столь же явные, как сияние солнечного света на алой букве, изобличают его как лживое и греховное дитя праха.

Источник, которого мы в основном придер-

живались, — старинная рукопись, составленная по устным рассказам лиц, часть которых знала Гестер Прин, а другая — слышала эту историю от очевидцев, — полностью подтверждает точку зрения, принятую нами на предшествующих страницах. Среди многих поучительных выводов, которые побуждает нас сделать история несчастного священника, мы отметим только один: «Говори правду! Говори правду! Говори правду! Не скрывай от людей того, что есть в тебе, если и не дурного, то хоть такого, за чем может скрываться дурное!»

Разительна была перемена, происшедшая сразу же после смерти мистера Димсдейла в наружности и поведении старика, которого все знали под именем Роджера Чиллингуорса. Внезапно вся энергия и бодрость, вся физическая и духовная сила покинули его; он сразу одряхлел, съежился, стал каким-то незаметным — так вянет и сохнет на солнце вырванная с корнем сорная трава. Этот несчастный человек сделал единственным содержанием своей жизни последовательное выполнение мести, и теперь, когда его злой умысел полностью восторжествовал, исчерпав себя, и больше не было материала, чтобы его питать, короче говоря, когда у дьявола не осталось больше

на земле работы для этого существа, потерявшего человеческий облик, ему приспело время убираться туда, где его хозяин мог найти для него подходящее занятие с достойной оплатой.

Но не будем слишком жестоки к мрачным фигурам, вроде Роджера Чиллингуорса и его друзей, которые столь долго владели нашим вниманием. Любопытно было бы проследить и проверить, не являются ли любовь и ненависть, в основе своей, одним и тем же чувством? Каждая из них в своем предельном развитии предполагает высокое понимание человеческого сердца; каждая из них питается за счет чувств и духовной жизни другого; каждая из них заставляет и страстно любящего и не менее страстно ненавидящего, лишенных объекта своей любви или ненависти, одинаково страдать от одиночества и тоски. С философской точки зрения обе эти страсти представляются совершенно одинаковыми, с той лишь разницей, что одно чувство сияет небесным светом, а другое — темным и зловещим пламенем. В загробном мире и старый врач и священник — эти две взаимные жертвы — возможно, нежданно обнаружат, что вся их земная ненависть превратилась в драгоценную любовь.

Но оставим эти рассуждения и вновь обратимся

к фактам. После смерти старого Роджера Чиллингуорса (последовавшей в тот же год), согласно его последней воле и завещанию, выполненному душеприказчиками, губернатором Беллингхемом и преподобным мистером Уилсоном, все его значительное состояние и здесь и в Англии перешло к маленькой Перл, дочери Гестер Прин.

Так Перл, девочка-эльф или, по мнению некоторых, дьявольское отродье, стала самой богатой наследницей в Новом Свете. Не лишено вероятия, что это обстоятельство значительно изменило точку зрения общества, и если бы мать и дочь остались в Бостоне, Перл, достигнув совершеннолетия, смешала бы свою буйную кровь с кровью потомка самого благочестивого пуританина. Но вскоре после смерти врача Гестер вместе с дочерью куда-то исчезла. И в течение многих лет, — если не считать смутных слухов, появлявшихся из-за океана, подобно прибиваемому к берегу бесформенному куску дерева с инициалами какого-то имени, — о них не поступало никаких достоверных известий. История об алой букве превратилась в легенду. Однако еще долго позорный помост, на котором умер несчастный священник, и домик на берегу моря, где обитала Гестер Прин, наводили страх на жителей города.

Однажды днем дети, игравшие неподалеку от этого домика, увидели высокую женщину в сером, подошедшую к двери, которая в течение многих лет была наглухо заперта. Но то ли женщина отперла ее, то ли сгнившее дерево и железо уступили ее усилиям, то ли она проскользнула, как тень, сквозь эти препятствия, — во всяком случае она вошла внутрь.

На пороге она остановилась и обернулась; наверно, ее испугала мысль одной после стольких событий снова войти в это жилище, где она провела такие тяжелые годы. Ее колебание длилось лишь одно мгновение, но его было достаточно, чтобы обнаружить алую букву на ее груди.

Итак, Гестер Прин вернулась и снова надела давно забытую эмблему позора. Но где же была маленькая Перл? Если она была жива, то сейчас находилась в самом расцвете юной женской красоты. Никто не знал и никогда не узнал с полной достоверностью, сошла ли маленькая шалунья в безвременную могилу или, смирив пыл своей дикой натуры, разделила скромное счастье обыкновенных женщин. Известно лишь, что всю остальную часть своей жизни Гестер была предметом любви и заботы каких-то обитателей другой страны. На имя этой затворницы

приходили письма с гербовыми печатями, неизвестными английской геральдике. В домике появлялись предметы уюта и роскоши, которые никогда не купила бы сама Гестер, но приобрести могло только богатство, а подарить могла только любовь. Здесь видели скромные безделушки, маленькие украшения, красивые вещицы, свидетельства постоянной памяти, сделанные, должно быть, искусными пальцами по желанию любящего сердца. А однажды заметили, как Гестер вышивала детское платьице такими чудесными, великолепными узорами, что появление ребенка в подобном одеянии неминуемо вызвало бы гнев нашего слишком трезвого общества.

Словом, если верить слухам. Перл была не только жива, но и счастливо вышла замуж, помнила о матери и была бы рада, если бы ее печальная и одинокая мать согласилась жить у нее в доме. Таможенный инспектор Пью, который интересовался этой историей добрые сто лет спустя, был того же мнения, а один из его недавних преемников был даже твердо убежден в этом.

Но Гестер Прин чувствовала, что должна жить здесь, в Новой Англии, а не в незнакомом месте, где Перл обрела свой дом. Здесь свершился ее грех, здесь она провела много горестных дней,

и здесь должно было свершиться ее искупление. Поэтому она вернулась в Бостон и, никем не понуждаемая, ибо даже в тот железный век не нашлось бы столь сурового судьи, который обязал бы ее сделать это, снова надела эмблему, о которой мы рассказали такую грустную повесть. И с тех пор алая буква уже не покидала груди Гестер. Но в дальнейшие годы, полные для нее труда, размышлений и самопожертвования, эта буква перестала быть клеймом позора, вызывавшим презрение и негодование людей; она стала выражением чего-то достойного глубокого сочувствия, и на все теперь смотрели не только с трепетом, но и с уважением. А так как Гестер была чужда каким-либо личным целям и совсем не стремилась к выгоде и удовольствиям, люди шли к ней со своими горестями и затруднениями и просили у нее совета, как у человека, который сам прошел через тяжелое испытание. Особенно много женщин приходило в домик Гестер, женщин, обуреваемых муками раненой, опустошенной, отвергнутой, оскорбленной или преступной страсти или с тяжкой потребностью любви в сердце, которым никто не стремился обладать, — и все спрашивали, почему они так несчастны и что им делать. Гестер утешала и

успокаивала их, как могла. Она также говорила им, сама твердо в это веря, что настанет светлое будущее, когда мир обретет свою зрелость и когда небеса сочтут нужным открыть новую истину, утверждающую отношения между мужчиной и женщиной на незыблемой основе взаимного счастья. Когда-то Гестер тщеславно воображала, что ей самой суждено стать пророчицей, но с тех пор она давно поняла, что высокая божественная истина не откроется женщине, запятнанной грехом, склонившейся под тяжестью позора и даже обремененной неизбывным горем. Апостолом грядущего откровения должна быть женщина, но женщина благородная, чистая и прекрасная, а также — умудренная, но не мрачным жизненным опытом, а познанием радости; всей своей жизнью она должна доказывать, что священная любовь приносит нам счастье!

Так говорила Гестер Прин, глядя своими печальными глазами на алую букву. А спустя много, много лет возле старой и почти сравнявшейся с землей могилы на том кладбище, где потом была выстроена Королевская церковь, вырыли новую могилу. Ее вырыли возле старой, и все же между ними был оставлен промежуток, словно и после смерти прах этих двоих усопших не имел пра-

ва смешаться. Однако общая надгробная плита служила им обоим. Вокруг стояли памятники, украшенные фамильными гербами, да и на этом простом камне из сланца любитель старины поныне может разобрать следы гербового щита. На нем был начертан на геральдическом языке девиз, который мог бы служить эпиграфом и кратким изложением нашего ныне оконченного рассказа, скорбного и озаренного лишь одной постоянно мерцающей точкой света, более мрачного, чем тень:[99]

«На черном поле алая буква „**A**“».

[99] Примечания: 99

«Таможня» и главы I–XI переведены Э. Л. Линецкой; главы XII–XXIV — Н. Л. Емельяниковой.

